

#ONLINE-БЕСТСЕЛЛЕР

16+

Ксения Хан

#ХОЗЯИН ТЕНЕЙ

САМЫЕ НАШУМЕВШИЕ КНИГИ РУНЕТА

Annotation

Ирландия, начало девятнадцатого века. В лесу, неподалеку от маленького портового городка, среди убитых англичан в сознание приходит человек. Он не помнит своего имени, возраста и ничего не знает о своем прошлом. Его спасает девушка-травница и дает новое имя, с которым он может начать жить заново.

Англия, наши дни. В маленьком городе на берегу гавани держит антикварную лавку человек по имени Теодор Атлас. Его телу больше двухсот лет, но бессмертная душа, похоже, не планирует умирать. Теодор ведет нелюдимый образ жизни, общается только с партнером по бизнесу Беном и никого не хочет впускать в свой мир. Но в его жизнь врывается череда дежавю, от которых он не может отмахнуться.

- [Ксения Хан](#)
 - [1. Кофе из Шалотт и пино-нуар](#)
 - [2. Ирландский виски со льдом](#)
 - [I. Пороховой дым в тумане](#)
 - [II. В сердце Тра-Ли](#)
 - [3. Офелия у пруда](#)
 - [4. Цитрусовый пирог с мятой](#)
 - [III. Базарная площадь в полдень](#)
 - [5. Дьявол в антикварной лавке](#)
 - [6. Племена богини Дану](#)
 - [IV. Гадалка и господин](#)
 - [V. Ведомый](#)
 - [7. Белые стены в серой комнате](#)
 - [8. Леди и мисс](#)
 - [VI. Молчаливый страх](#)
 - [9. Deus ex machina\[14\]](#)
 - [10. Час вепря](#)
 - [VII. Солнце в русых волосах](#)
 - [11. Разбитые сердца](#)
 - [12. Холодные воды Гудзона](#)
 - [13. Биполярное расстройство](#)
 - [VIII. Дочь колдуна](#)

- [14. В дороге](#)
 - [15. Тот Самый](#)
 - [IX. Отойди в сторону, иноземец](#)
 - [X. Каменный оскал и костер на площади](#)
 - [16. Слово бессмертного](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
-

Ксения Хан
Хозяин теней

1. Кофе из Шалотт и пино-нуар

Из-за стены доносится размеренный стук шагов: кто-то спускается по лестнице со второго этажа в лакированных туфлях и бодро стучит невысокими каблуками по деревянным ступеням. Этот кто-то – Бен Паттерсон, молодой человек тридцати трех лет с гладко выбритым точеным подбородком, острыми скулами и бледной кожей, которая сильно контрастирует с его темными кудрявыми волосами. Вот Бен замирает у стола в кухне и наливает себе чашечку свежесваренного кофе – напиток бурлит в его чашке, аромат тянется на веранду. Потом его туфли шаркают по полу – Бен разворачивается и выходит на задний двор через черный ход. Он прихлебывает из чашки и, глядя вдаль, спрашивает:

– Ты сегодня снова не спал, Теодор?

Теодор хмуро наблюдает за полетом чайки над гаванью: под карими глазами – тени, волосы встрепаны. Он с ногами сидит на резном деревянном стуле и упирается коленями в деревянную балюстраду веранды, выкрашенную в белый цвет. Обтянутые мятыми брюками колени торчат из-под длинного халата с китайским узором.

– Поспал минут сорок, – отвечает он спустя некоторое время.

Бен вздыхает, цепляя на нос очки. Сейчас снова будет читать проповеди о здоровье.

– Даже не начинай, юноша, – мотает головой Теодор и тут же тихо охает. Кажется, будто мозг прыгает в черепной коробке, точно мячик.

– Ты не пробовал нормально жить? – тянет Бен.

– Нет. Я пробовал нормально сдохнуть.

Бен снова вздыхает.

– Что-то пока не выходит.

– Да, спасибо, а то я сам не заметил.

Перед глазами Теодора все плывет. На самом деле, сорок минут сна лишь усугубили положение: лучше было вовсе не спать, чем теперь клевать носом и пытаться собрать себя воедино. Он внимательно прислушивается к себе. Сердце стучит быстрее в несколько раз, снаружи жарко, а внутри – холодно. Руки трясутся, если их поднять, да и ноги от такого положения затекли. Его состояние можно описать как удручающее.

Но он явно не умрет от простого недосыпа. Максимум – упадет в обморок и очнется уже где-нибудь в кровати в собственной спальне или на софе в гостиной, а Бен потом будет полдня причитать над ним, как старик.

Жаль, гордость не позволяет Теодору пустить себе пулю в висок. Хотя она, надо признать, тоже не принесет облегчения – разве что головную боль.

– Ну и чего ты добиваешься? – скептически поджимая губы, спрашивает Бен. Он сидит рядом на таком же стуле и раскачивается на его задних ножках. Кошунственное отношение к парному стулу из коллекции двадцатого века, надо сказать.

– Исследую возможности своего организма, – отвечает Теодор. – Пытаюсь понять, сколько продержусь без сна и еды.

– Ты еще и не ел?!

– Пока что выходит около двух суток.

Бен откидывается на спинку и прикрывает рукой глаза.

– Сломаешь его, и я тебя убью, – говорит Теодор, морщась от скрипа половицы. Бен безразлично отпивает еще глоток кофе.

– Тебе надо поесть, – говорит он. – И поспать. Выглядишь хуже смерти.

Теодор угрюмо хмыкает в скрещенные у подбородка пальцы.

– Видел я смерть. Поверь, мне до нее далеко.

Некоторое время они молчат, смотрят на гавань и думают каждый о своем. Теодор крутит серебряное кольцо на мизинце и прикидывает, стоит ли ему выпить кофе сейчас или подождать полного истощения организма и тогда уже залить умирающий желудок звериной дозой кофеина. Интересно, получится ли у него в этот раз выпасть из жизни на месяц или хотя бы пару недель – или Бен откачает его раньше и достанет нравоучениями так, что захочется повеситься?

– Ты меня слышишь? Теодор!

Желание затянуть петлю на шее возникает прямо сейчас.

– Тебе пора на учебу. – Теодор устало прикрывает глаза. Темноту тут же заполняют всполохи белого и желтого цветов – явный признак того, что сознание отключится, если просидеть с закрытыми глазами хотя бы полминуты.

Скрипят ножки стула. Теодор морщится. Бен встает, допивает свой кофе и, возвращаясь в дом, бросает напоследок:

– Поспи, вечером ты должен быть бодрым.

Мысли Теодора вязнут в густом желе из уличного шума, криков чаек с побережья и стука собственной крови в ушах.

– Зачем мне быть бодрым?

Бен недовольно поджимает губы.

– Меня пригласили на аукцион, я говорил тебе. Ты идешь со мной.

Дверь на веранду закрывается, и Теодор устало стонет. Он ненавидит сборище чванливых стариков, от которых пахнет высокомерием ушедшей эпохи роскоши и классового неравенства. Общество малолетних гордецов, слепцов и хвастунов, вот что он о них думает. Жаль только, вслух говорить такие вещи нельзя, ведь ему всего-то тридцать восемь – слишком юный возраст для того, чтобы тягаться в мудрости с шестидесятилетними вершителями судеб на аукционах антиквариата.

Или уже сорок?

Теодор не помнил своего возраста. Последний паспорт, который он выправил себе на имя Теодора Атласа, говорил, что ему около тридцати, но это было лет десять назад. Возможно, стоит проверить документы.

Он вздыхает, с трудом поднимается со стула и уходит в дом с тяжело гудящей головой.

Похоже, придется завязать с очередным экспериментом по умерщвлению себя, раз уж вечером он нужен Бену в приличном виде.

* * *

Они всегда считают себя выше других хотя бы потому, что свою недолгую в шестьдесят с лишним лет прожили в богатстве элитных семей среди ядовитых разговоров о политике, слухов и ненормальных влечений к показной роскоши. Такие люди выставляют себя всезнающими и пытаются указать ему, молодому, на недостатки современного воспитания, образования или опыта. Теодор видит в них лишь малодушие вкупе с чрезмерной гордостью. Он мог бы сказать им, что их недалекий ум вряд ли станет ему примером, но только это бесполезно.

Теодор слишком юн для стариков почтенного возраста, чтобы иметь свое мнение насчет предметов интерьера, возраст которых насчитывает не одно столетие, поэтому ему стоит внимать остальным и не пытаться доказать свое превосходство. По крайней мере, Бен говорит ему это постоянно.

Хотя Теодор никогда его не слушает, и они оба это понимают.

– Это же мистер Стрэйдланд, – тихо охает Бен, глядя за спину своего спутника. Теодор поворачивается, видит лысый затылок высокого худого джентльмена и позволяет себе ядовитый смешок.

– Пришел полакомиться остатками пира, стервятник, – скалитесь он.

Бен молча хватает его за рукав пиджака.

– Не начинай.

Теодор медленно опускает голову, хотя смотреть вниз или вверх ему все еще тяжело – сон не принес желанной бодрости.

– Ты знаешь, что я не люблю, когда ты хватаешь меня за рукава, юноша.

Бен недовольно поджимает губы.

– Ты не любишь, когда тебя хватают за что угодно, и не стоит конкретизировать.

Теодор глубоко вздыхает и выдергивает твидовый локоть из цепких пальцев Бена.

– Напомни мне, почему я все еще здесь и терплю тебя? – спрашивает он, склонив голову, на что получает лаконичный ответ и добавку, приправленную ядом:

– Потому что нам нужен Уотерхаус. А еще потому что ты снова занимаешься бессмысленной чепухой и тебе нужно развеяться.

– Я исследую возможности своего организма, – цокая языком, поправляет его Теодор. – Это не бессмысленная чепуха.

Бен даже не смотрит в его сторону.

– Ты знаешь, что все твои попытки убиться окончатся провалом, и не тем, на который ты рассчитываешь. Поэтому они бессмысленны.

Нацепив на тонкую переносицу очки в черной матовой оправе, Бен осматривает зал, полный тел, рук и ног, упакованных в дорогие костюмы, голов разного цвета, лысых и кудрявых, прилизанных лаком и взъерошенных по последней моде. Теодор ее не понимает. В зале, где долгое время балом правила «Леди из Шалотт», единственная прекрасная женщина города, в зале, полном людей и картин, лиц живых и нарисованных, он чувствует себя как в рыбацком порту.

– Придумай себе более приветливую маску, – говорит Бен вполголоса, подзывая снующего между местными снобами мальчишку-официанта. Он еще моложе Бена: на вид ему лет двадцать с небольшим, и на его лице Теодор еще не видит поцелуев старости. Гладкая кожа без единой морщинки. Только возле светлых, почти бесцветных глаз застыли лучики частых улыбок.

– Зачем? – справедливо вопрошает Теодор, поднимая с подноса бокал темного вина. – Я не собираюсь раздаривать этим высокомерным попугаям свои улыбки только ради их внимания.

Бен вздыхает и делает первый глоток из своего фужера. Он отдал предпочтение белому – голова должна быть ясной. Стекло потеет от его дыхания, вино остается у краешка рта кисловатым о себе напоминанием.

Бен украдкой слизывает каплю и вытирает губы носовым платком, уголок которого до этого торчал из нагрудного кармана его пиджака как простой атрибут и дань моде.

Теодор высматривает в толпе стервятников самого жилистого и сухопарого, мистера Стрэйдланда, и резким движением опрокидывает в себя бокал вина, мимолетно ощущая на языке его вкус, а в горле – терпкое послевкусие.

– Это был бургундский пино-нуар, – замечает Бен, поджимая губы.

– По твоему тону можно подумать, – вторит ему Теодор, – что этот бокал вина чем-то отличался от двух предыдущих.

Бен вспыхивает так, словно его оскорбили в лучших чувствах.

– Ненавижу, когда ты так делаешь.

– Как?

– Запрыгиваешь в товарный вагон летящего мимо попутного поезда, когда у тебя в кармане лежит билет на варшавский экспресс через горы, но тебе не хочется его ждать.

Теодор выгибает бровь такой дугой, что она теряется в его темных волосах.

– Какие метафоры – и все из-за вина?

Бен хмыкает и делает второй глоток из своего бокала.

– А я не о вине говорил, – и отводит взгляд, улыбаясь своим мыслям.

В этот момент двустворчатые высокие двери художественной галереи распахиваются с тихим скрипом, который раздаётся во всеобщем гуле голосов так, словно кто-то разрывает пополам книжную страницу. Теодор оборачивается, следуя за взглядом Бена, и видит улыбающееся широкое лицо устроителя аукционов.

– Генри? – удивленно отзывается Бен.

– Вернулся, значит.

Среди прочих подобных лиц Теодор готов с теплотой относиться только к Генри Карлайлу, которого среди искусствоведов зовут «добряком Генри».

– Добро пожаловать, дамы и господа! – Светловолосый мужчина с улыбкой хлопает в ладоши, и этот глухой звук эхом разлетается по душному залу. – Прошу прощения за задержку. Проходите, присаживайтесь!

Вот, значит, кто будет вести аукцион. Теодор довольно хмыкает, впервые находя весомую причину своего здесь присутствия.

Бен проходит в зал среди прочих и садится поближе к подмосткам. Теодор остается стоять у дверей, прислонившись к мраморной колонне

лбом. Гладкая поверхность холодит кожу и успокаивает гудящую голову, в которой снова возникают навязчивые мысли.

Теодор думает, что причина тут не только в сегодняшнем недосыпе.

– Итак, господа, начнем? – слышит он мягкий, с хрипотцой голос Генри. Неизвестно, виновато ли в этом пристрастие к курению или же этими нотками его наградила природа, но баритон у искусствоведа Генри Карлайла в самом деле приятный.

Еще одна отличительная особенность, благодаря которой он получил свое прозвище среди именитых господ. Такому голосу хочется верить.

Генри улыбается со своего постамента неволью умолкающим гостям и просит внести первый лот.

Фредерик Лейтон, «Этюд головы музыканта из «Празднования Мадонны Чимабуэ»».

Поскольку сегодняшний вечер посвящен прерафаэлитам, небольшая картина англичанина-академиста служит лишь аперитивом. Как, впрочем, и все последующие лоты, несмотря на внушительные размеры некоторых из них.

Теодор следит за настроениями в зале со скучающим видом. Время от времени на него удушливой волной накатывает сон, и выпитое вино бодрости никак не способствует. В воздухе кружит запах денег и пота, так что Теодор с ядовитой ухмылкой думает, что даже элитному обществу никуда не деться от своей человеческой природы, сколько ни чти они себя богами.

Эскиз Габриэля Росетти мелькает перед глазами Атласа вслед за его приятелем Милле. Отчаянные романтики девятнадцатого столетия.

Иногда Теодор ловит себя на мысли, что ему жаль нескольких десятков пропитых впустую лет, которые он мог бы заполнить знакомствами с кем-то более приличным, чем деревенские пьянчуги старой доброй Англии.

– Ну, и наконец... – радостно вздыхает Генри и замирает в ожидании. Его лицо светится не только в лучах ламп неприятного электрического света, направленных на небольшую сцену. Теодор выпрямляется, отталкиваясь от колонны плечом. – Последний лот нашего аукциона. «Леди из Шалотт».

В зал из боковой неприметной двери вносят картину, облаченную в тонкую позолоченную раму из старого дерева. Темные декорации, посеревшие и позеленевшие от времени, окружают девушку в красном платье, навеки застывшую в порыве увидеть мир своими глазами, а не через зеркало теней.

Джон Уильям Уотерхаус. «Леди из Шалотт смотрит на Ланселота». Первый эскиз.

По частоте появления на картинах прерафаэлитов трагичная история Леди из Шалотт уступает только Офелии, и Теодор смотрит на юную женщину как на давнюю знакомую. Ему нравится, какой изобразил ее Уотерхаус. Такой решительной он не видел ее ни на одной из картин других художников.

– Ну, здравствуй, красавица, – шепчет Теодор себе под нос, и его губы растягиваются в невольной улыбке, больше похожей на хитрую усмешку, наискосок прочертившую лицо.

Это не копия, заменяющая оригинал картины в галерее. Это подлинник эскиза, сохранивший первые небрежные мазки художника.

Собравшиеся в зале гости гудят, напоминая пчелиный рой. Теодор раздраженно хмурится, глубоко вздыхает и на миг прикрывает глаза. Надо отвлечься от явного возбуждения толпы, чтобы сохранить ум в спокойствии на время торгов.

Им с Беном нужна эта леди.

– «Леди из Шалотт смотрит на Ланселота», – улыбаясь чуть дрожащими от воодушевления губами, выдыхает Генри. – Джон Уильям Уотерхаус, тысяча восемьсот девяносто четвертый год.

При нем сегодня нет микрофона, и его голос поглощается шумом гостей в малом зале, но эту фразу слышат все и с нетерпением замирают.

– Начнем торги, – продолжает Генри, – с двух тысяч фунтов.

Теодору кажется, что стартовая цена изначально низка, он даже чувствует укол ревности за свою леди, но крики господ быстро поднимают стоимость до ста тысяч, ста пятидесяти, почти до двухсот.

– Двести пять тысяч, – слышится среди размеренного гула тенор Бена. Стервятник Стрэйдланд отвечает ему с другого конца зала:

– Двести пятнадцать.

Теодор следит за ними некоторое время, его пальцы выстукивают на согнутой в локте руке размеренный ритм. В голове повторяющимся бесконечным циклом звенит услышанная от Бена песня, настолько молодежная и непонятная, что даже мутит, но, как и всякая надоедливая мелодия, эта не хочет оставлять его в покое.

– Двести семнадцать! – цедит Стрэйдланд сквозь зубы. По выражению его лица можно понять, что выскочка Паттерсон его уже разозлил.

Бен оборачивается и высматривает Теодора за спинами ценителей искусства. Тот кивает, делая шаг к Генри и картине.

– Предлагаю двести пятьдесят тысяч фунтов, – говорит он глубоким

голосом, рассекающим гудящую толпу, словно острое лезвие ножа. Бледные лица его оппонентов, всех, кто есть в зале, застывают вокруг него неживыми масками.

Они с Беном проворачивают такой ход уже в четвертый раз. Возражений быть не должно.

– Это моя картина, малолетний юнец! – шипит старик Стрэйдланд, меняясь в лице от злости: бледные впалые щеки покрываются неприятными розовыми пятнами, на скулах выступает испарина. Теодор не достаивает его вниманием.

На случай, если у стервеца Стрэйдланда есть ответ, Бен найдет в рукаве последний козырь, но Теодору не хотелось бы его разменивать.

– Как всегда, неизгладимое впечатление, мистер Атлас! – Генри позволяет себе усмехнуться, но тут же возвращается к официальному тону, в котором сквозит легкая радость. Значит ли это, что торги снова закроются последним словом Теодора?

– Есть ли у присутствующих возражения? – спрашивает Генри, окидывая взглядом притихший зал. – Мистер Стрэйдланд?

Старик скрипит зубами так, что Теодор невольно думает, что его вставная челюсть за несколько тысяч фунтов просто вывалится у него изо рта. Какой был бы конфуз, какое приятное окончание вечера!

– Итак, если никто не отвечает...

– Двести семьдесят тысяч фунтов! – рычит вдруг Стрэйдланд, отвратительно краснея. Теодор закатывает глаза. Ох, этот падальщик снова пытается увести даму у него из-под носа!

Генри придерживает на лице вежливость и учтивость, хотя щеки подрагивают в плохо сдерживаемой улыбке.

– Мистер Атлас?

Теодор хмыкает, карие глаза впиваются в прямую, как доска, спину Стрэйдланда.

– Я...

Позади открываются и хлопают двери, чьи-то торопливые шаги приближаются к Теодору со спины, и, обдав его легким ароматом, – смесью пиона и мяты, – мимо проносится девушка.

– Ох, простите! – Звонкий голос сечет его по ушам, так что он застывает, будто вращая ногами в пол. – Прошу прощения, но там...

– Клеменс! – тревожно восклицает Генри.

Клеменс.

Клеменс.

Клеменс.

Имя впивается в Теодора сотнями стрел, усталое сердце застывает и ширится в грудной клетке, мешая вдохнуть. Это не может быть правдой.

Он смотрит в спину вошедшей женщины. Она оборачивается, чтобы мимолетно извиниться за неудобства.

На Теодора глядят зеленые глаза в обрамлении густых темных ресниц.

Мир под его ногами раскалывается на части, пол дрожит и трескается, рушится все, на чем держалось его мироздание.

Клеменс.

2. Ирландский виски со льдом

Ее тонкие губы приоткрываются и складываются буквой «О».

– Простите, что задела вас, – говорит она и снова отворачивается.

– Клеменс, – повторяет Генри. – Ты мешаешь торгам.

– Кое-что случилось в подсобке, у нас небольшой пожар.

Ее высокий голос раздражает. Дыхание перехватывает, дышать становится невыносимо: запах мяты и чего-то тонкого, едва уловимого – он как яд. Теодора мутит.

– Мне не хотелось тревожить почтенных господ, но, боюсь, у нас нет выбора, пап!

Вокруг Теодора растекается сердитое море голосов – тихих, но ворчливых, недовольных. Ему вдруг кажется, что он нырнул в морской прибой, и волны вот-вот кинут его, беспомощного, на острые выступы скал. На одну скалу. На девицу, решившую, что ей все дозволено.

– Клеменс, сейчас не время для твоих шуток. – Голос Карлайла словно вливается Теодору в самую грудь. Ему нужно выйти отсюда. Сейчас же. Сию минуту.

– Теодор? – Бен взволнованно смотрит на своего спутника, но Атлас не слышит. Он разворачивается и уходит, пересекает зал, направляясь к дверям так быстро, как только может. Уйти, сбежать от этого голоса, от этого имени, которого здесь быть не должно – не в этом времени, не в этом месте.

Клеменс. *Клеменс.*

Даже отзвук его – отравы. Оно звенит в ушах, пока Теодор пересекает пустующий банкетный зал, распахивает двустворчатые двери и идет через вестибюль к выходу. Мимо Ханта, Милле, Берн-Джонса и Морриса, чьи полотна – их точные списки с оригиналов, а не сами оригиналы, – украшают этот вечер в честь аукциона «Леди из Шалотт». Мимо обескураженного юноши-официанта и заблудившегося гостя в потрепанном пиджаке явно с чужого плеча. Теодор не может бежать – и хочет сорваться и унести свое тело и мысли из ставшей вдруг душной галереи, в которой сам воздух дрожит, как невольно потревоженная гладь полузабытого озера.

Теодор так долго скрывал его, что оно успело превратиться в болото и затянуться тиной.

Он врзается в тяжелые двери главного входа галереи и замирает,

словно только что пробежал не одну милю. Дыхание сбивается, в горле сухо – Теодору трудно дышать, будто знакомо-незнакомое имя перекрыло ему кислород. Грудь тянет, а сердце колотится в нем, как рыбка в тесном аквариуме. И стук отдается в ушах отголосками прошлого.

Клеменс. Клеменс.

Сегодня никто в Англии не дает таких имен своим детям, мода на Францию прошла еще полтора столетия назад. Либо Теодор сходит с ума, либо Генри Карлайл старше, чем ему казалось.

Чтобы вытравить эти бредни из головы, Теодору понадобится только одно. Виски.

* * *

Если Теодора нет ни в гавани, ни на чердаке, ни в подвале антикварной лавочки среди старого хлама, облюбованного самим же Теодором, то его можно найти лишь в одном месте старого городка с населением чуть больше двадцати тысяч человек.

В баре «У Финна МакКоула-младшего».

Этому бару чуть больше десяти лет, он угловат и приземист, пропах всеми крепкими напитками сразу, а табачным дымом от него разит еще от поворота к Тревентан-роуд. Как и все ирландцы, он встречает гостей шумом и громким смехом, но в будние дни спокоен, и драки обходят его стороной. Пятничным вечером здесь конечно же нет свободных столиков, а спиртное льется рекой чуть ли не с порога. Но мистеру Атласу рады как своему в любое время.

– Виски! Двойную порцию!

Теодор хлопает крепкой ладонью по исцарапанной столешнице из когда-то приличного тиса и не глядя садится на высокий скрипучий стул. Бармен Саймон привычно кивает ему, прикрывая отсутствие левого глаза густой спутанной челкой.

– Бен ведь не велел тебе заходить к нам без должной причины, – хрипло смеется он. В его руках крутятся два рокса, и тусклый свет ламп под старыми жестяными плафонами отражается от их блестящих граней.

– Бен ничего не смыслит в ирландском пойле, – отвечает Теодор. – И в должных причинах посещать питейные заведения.

Саймон хмыкает, пряча в кустистых пшеничных усах кривую ухмылку. Спустя одну шумную минуту, пока Теодор трет рассеченную шрамом бровь

и теребит складку своего черного пальто, перед ним на стойку звонко опускается стакан с двойной порцией виски. Янтарная жидкость плещется в нем, оставляя на стекле неровные разводы.

Атлас не спешит выпивать. Вертит стакан в руках, наблюдает за танцем бликов на поверхности виски. Обычно разговорчивый Саймон, привыкший к угрюмому посетителю, сегодня отчего-то поглядывает на него с большим интересом.

Раз в неделю Теодор стабильно напивается. В остальные дни он не позволяет себе лишнего и, в отличие от многих своих соотечественников, обаятельных, шумных и до безобразия словоохотливых, всегда тих и молчалив. Он приходит по вечерам в пятницу и субботу, иногда заглядывает днем среди недели, садится за барную стойку вечно на один и тот же стул, заказывает стакан виски или бренди, молча выпивает и уходит, оставляя щедрые чаевые. Саймон откладывает эти деньги в отдельный ящик и раз в три месяца устраивает закрытую вечеринку для себя, Бена и самого Теодора, ничуть не скрывая, за чей счет гуляет их троица. В такие вечера Теодор делается разговорчивее обычного и делится с Саймоном парой историй из своих странствий, а бармен запоминает их и тайком от самого рассказчика записывает в небольшой блокнот в кожаном переплете, который хранит под стойкой.

В остальные дни Саймон не видит Теодора и не знает, чем тот занимается, где живет и с кем делит вечера, но остро осознает одно: кроме него и Бена – пусть Бен и англичанин самых английских кровей – у угрюмого Теодора Атласа приятелей нет.

– Сегодня четверг, – замечает Саймон, не глядя на Теодора. Рокс в его руке поскрипывает, когда бармен в который раз проходится по нему грязно-белым полотенцем.

Вместо ответа Теодор делает первый глоток, разом опустошая полстакана, и с силой, будто сердится, бьет им о столешницу. Саймон хмуро окидывает посетителя взглядом и вновь возвращается к полировке стакана.

– Сегодня четверг, а ты здесь, – добавляет он. – Должно быть, веская причина побудила тебя завернуть сюда раньше обычного?

Теодор фыркает, так и не удостоив бармена ни ответом, ни вниманием. Его взгляд прикован к полкам за спиной Саймона – там стоят бутылки столетней давности. Они пусты и больше служат сборщиками пыли, чем украшением интерьера, но Саймон, испытывающий непонятную любовь к старинным этикеткам, не спешит от них избавляться.

Должно быть, благодаря этой странной симпатии к раритетам, редким

витиеватым фразам, несвойственным простому ирландцу двадцать первого века, Теодору и пришелся по вкусу маленький бар и его хозяин.

Вечером четверга в баре «У Финна МакКоула» спокойно: в зале – компания из трех молодых мужчин и пара средних лет, а за барной стойкой – только Теодор и старик, местный завсегдатай. Саймон натирает бокалы и не сводит внимательного глаза со своего чересчур хмурого приятеля, но тот молчит.

Теодору есть о чем подумать, хотя беречь пыльное прошлое совсем не хочется. Он запер его на семь замков в самом дальнем углу памяти, оставил за спиной, в темных покоях своего двухсотлетнего замка, и запретил себе *вспоминать*.

Господь, должно быть, он бредит.

За сорок восемь часов он спал только шесть. Его мозг не справляется с нагрузкой, сознание дает сбой, выдумывает фантастические образы. Должно быть, он спит на ходу и думает, что бодрствует. Должно быть...

Теодор опрокидывает в себя остатки виски, хлопает стеклянным дном стакана о столешницу. Саймон недовольно цокает языком, но Атлас не обращает на него внимания. Его мысли по спирали спускаются все ниже и ниже, прямо в потаенные уголки памяти, в те самые темные бездны, о которых он старался не думать.

Дочь Генри Карлайла не может иметь *это* лицо.

Черты ее лица растекаются по стенкам граненого стакана вместе с каплями янтарной жидкости, бледно-зеленые глаза тают на дне. *Ее тонкие губы приоткрываются и складываются буквой «О».*

У нее может быть такое же имя и даже цвет волос и глаз – мало ли среди миллиардов женщин найдется таких же темноволосых и зеленоглазых? – но те же черты лица эта девица иметь категорически не может. *Не имеет права.*

Ему показалось. Определенно, ему показалось. Мозг слишком устал и добавил к знакомому имени образ, который откопал в пыльных чертогах памяти, вместо того чтобы нарисовать Теодору новый.

Не самая умная мысль, как ни прискорбно, после второго стакана виски становится вполне сносной. Алкоголь все делает проще, запутанные причуды судьбы превращает в повороты, а не узлы на жизненном пути. И Теодор, отдаваясь во власть своему самому преданному другу, расслабляется.

Тогда его наконец находит Бен.

– Атлас!

Молодой человек пересекает полупустой бар, сердито топя своими

черными лакированными туфлями с чересчур громкими каблуками, и замирает рядом. Теодор залпом допивает третий стакан под озадаченные взгляды Саймона.

– Стрэйдланд выкупил нашу «Леди»! – шипит Бен, слишком рассерженный, чтобы позволить себе громкие интонации. Когда Бен злится, он всегда переходит на шепот. – Ты слышишь меня?

– Так вот с какого бала сбежала эта Золушка! Вы были на аукционе? – добродушно хмыкает Саймон. – Помнится, в прошлом месяце вы клялись, что больше не сунетесь в... Как ты там говорил? «Гадюшник чванливой аристократии»?

– Это был крайний случай, – нехотя стонет Бен. – Но все без толку. Мы упустили Уотерхауса!

– Вернем.

Железная уверенность Теодора нервному Бену, увы, не передается.

– Мы ждали этого случая три месяца, а ты взял и слинял, когда она была почти в наших руках!

За злостью Бена кроется беспокойство, но Теодор, погруженный в свои мысли, не может этого уловить. Он не отвечает, жестом требуя очередной стакан. Бен скрипит зубами от праведного гнева и садится на соседний стул. Ножки грубо царапают дощатый пол, сердитый звук тревожит немногочисленных посетителей, но Бен плюет на правила этикета и даже не оборачивается.

– Какого черта, Теодор?

Тот делает вид, что не слышит. Бен вздыхает, сиюсь не хлопнуть себя по лицу ладонью, и просит у Саймона бокал вина.

– Объясни, что ты творишь!

– Смакую четвертый по счету стакан однозернового ирландского виски девятилетней выдержки, – не меняясь в лице, отвечает Теодор. – И, заметь, все еще нахожусь в трезвом уме и твердой памяти.

– Неудивительно – за твоими плечами десятилетия практики! – вспыхивает Бен.

Если в первые минуты после исчезновения Атласа он волновался, то следующий час, проведенный в поисках, лишил его даже толики волнения и оставил лишь злость на вечно угрюмого товарища, понять которого не смог бы никто в этом мире. Теперь он, абсолютно уверенный в своем праве, требует хотя бы самого малого. Ясно как день, что извинений от Теодора не дождешься.

– Что это было, а? Ты же сам из кожи вон лез, чтобы заполучить Уотерхауса, полгода его искал! Старик Стрэйдланд аж помолодел на

десяток лет, когда забирал нашу «Леди» из рук Карлайла!

Теодор едва заметно морщится, и от Бена это не укрывается. Вот только связать реакцию приятеля с именем Генри он никак не может.

Бен хмурится и принимает из рук Саймона свой бокал. Гладкое стекло тут же потеет в ладонях, прикосновения пальцев неровными овалами отпечатываются на его поверхности.

Молодой человек делает первый глоток и наконец выпускает сгорбленную фигуру Теодора из внимания. Его глаза смотрят вниз, на переплетенные тонкие пальцы рук, лежащие на пепельно-бурой поверхности барной стойки.

– Объясни, – хрипло повторяет Бен, не глядя на собеседника. – Тебе придется это сделать, иначе я...

– Иначе – что? – хмыкает Теодор. – Сочтешь меня сумасшедшим?

Бен косится на него, не поднимая головы, и губы его кривятся в скептической ухмылке.

– Не более, чем обычно.

Теодор неспешно делает свой последний глоток.

С наступлением темноты в маленьком неприметном баре появляются еще несколько посетителей. Подозрительно следящий за молчаливым Теодором и нервным Беном Саймон отходит к другому концу стойки, чтобы обслужить постоянных клиентов. Аккуратная официантка, до этого полностью погруженная в свой смартфон, нехотя идет к одиноко сидящему у окна мужчине лет сорока. Когда Теодор и Бен остаются без внимания посторонних, молодой человек звонко отставляет в сторону пузатый бокал.

– Ну и?

Прежде чем удостоиться ответа, ему приходится выждать еще минуту и взглядом просверлить в виске Теодора изрядную дыру.

– У Генри Карлайла есть дочь? – спрашивает Теодор. Толстостенный стакан в его руке крутится, как волчок.

– Серьезно? – вспыхивает Бен. – Тебя волнует какая-то девица, сорвавшая сделку? Мы отдали «Леди» Стрэйдланду – ты отдал! – А тебя волнует какая-то...

Он замирает с приоткрытым ртом, как будто только теперь до него доходит потаенный смысл слов Теодора. Глаза Бена расширяются от удивления.

– погоди, что? У нас увели ценный лот, а тебя интересует *девушка*? О, это становится интересным...

Теодор щелкает языком и косится на беспокойного Бена так, будто видит перед собой надоедливую ребенка. Паттерсон подпрыгивает на

стуле, глаза его горят.

– Я могу разузнать о ней побольше, – хитро улыбается он, едва сдерживая возбуждение, – если тебя так взволновала эта особа...

– Это тебя она взволновала, – припечатывает Теодор, уже жалеющий, что раскрыл рот в присутствии своего любознательного друга. – Смотри, не выпрыгни из собственных брюк.

Бен издевки не замечает вовсе и оборачивается, выискивая глазами бармена.

– Эй, Саймон! Подлей мне еще вина! Кажется, мой одинокий рыцарь нашел себе даму сердца!..

Лицо Саймона удивленно вытягивается. Бен придвигается к барной стойке и барабанит по ней пальцами. Звук отдается в голове Теодора дробью – пять стаканов виски сказались на нем сильнее, чем он полагал.

«Старею», – невольно мелькает в его голове, но мысль тут же исчезает под градом противоречивых суждений, к которым он обращается всякий раз, когда организм, кажется, дает слабину.

Глупости. Старость в конечном счете заканчивается смертью, а ему такой радости, увы, не светит. Он никогда не постареет.

– Прекрати нести чушь, – вполголоса осаживает себя Теодор. Чуткий Бен принимает это на свой счет и тут же пускается в радостные рассуждения:

– Брось, когда ты в последний раз смотрел на женщину? Дочь Генри Карлайла, насколько я знаю, недавно закончила университет, и ты со своими паспортными сорока годами будешь, мягко говоря, староват, но я все равно твой порыв одобряю. Шутка ли, Теодор Атлас поинтересовался девушкой! Мне стоит обвести этот день в своем календаре как знаменательную дату, и праздновать каждый год, пока...

– Пока у тебя язык не отсохнет от чрезмерной болтовни! – огрызается Теодор. Слушать воодушевленного на пустом месте Бена становится невыносимо уже после его «погоди, что?», но он терпит, пока ему не начинает казаться, что его голова вот-вот взорвется.

– Позволь с тобой не согласиться, – цокает Бен, принимая из рук Саймона свой бокал. Его очки, прикрепленные одной дужкой к нагрудному карману пиджака, звонко стучаются о столешницу, но молодой человек не обращает на это никакого внимания.

– Сломаешь, – говорит Теодор. – Сколько очков тебе нужно разбить, чтобы отучиться от этой идиотской привычки?

– Ох, не ворчи, – отмахивается Бен. – Ты хуже старика Стрэйдланда.

Глядя на вино в его бокале, Теодор слегка морщится.

– Так в чем дело? – в который раз спрашивает Бен, очевидно, полагая, что количество вопросов рано или поздно доведет Теодора до сумасшествия, и тот как на духу выложит перед ним все свои тайны.

– Повелся на девицу Генри Карлайла, – передразнивает его Атлас.

– Очень смешно.

Бен фыркает и отставляет бокал.

– Если ты не заметил, я знаю тебя лучше всех в нашем мире, – говорит он, не преминув добавить голосу высокомерные интонации. – И шутки вроде этой со мной не прокатят, иди дури Саймона. Итак?

Глаза Теодора красноречиво намекают Бену, что их хозяин не намерен откровенничать. Возможно, он вообще не собирается рассказывать о причинах сегодняшнего странного поведения, и этот секрет будет похоронен в его личном шкафу среди прочих скелетов. Только Бен, сетуя на свое же упрямство, больше не желает смотреть, как его давний друг превращает себя в кладбище тайн, которые грызут его изнутри подобно болезни.

– Тебе придется рассказать мне все начистоту, – хмурится Бен, – если не хочешь выглядеть идиотом в глазах почтенной публики с аукциона. И если желаешь вернуть «Леди».

– Почтенная публика с аукциона может подавиться своим высокомерием и захлебнуться в собственных соках, – огрызается Теодор. Похоже, его хваленая выдержка наконец-то дает слабину.

– Не расскажешь мне, что тебя так напугало, и я не стану тебе помогать. – Но Теодор не замечает, насколько серьезен взгляд его друга. Он тяжело опускает голову на скрещенные руки и шумно выдыхает.

– Вот ведь проблемный ребенок.

Бен цыкает и отодвигает от мгновенно уснувшего Теодора его стакан. Похоже, разговор откладывается до завтрашнего дня. Эксперименты со сном и четыре двойных порции виски не пошли несносному упрямцу на пользу.

Бен встает со стула и подхватывает обмякшего Теодора под руку.

– Саймон! Поможешь мне впихнуть это тело в такси?

Вдвоем с барменом они вытаскивают Теодора из бара; его ноги волочатся по полу, а сам он что-то бормочет себе под нос. Бен не прислушивается, полагая это очередным бредом про проклятия, ведьм и смерть, но на сей раз Теодор повторяет имя.

– Клеменс... Клеменс...

I. Пороховой дым в тумане

Легкий ветер задувает с запада, гоня перед собой аромат осенних лежалых листьев. У самой земли пахнет прелым, но футом выше начинается слой влажного тумана, в который вплетается тонкими нитями гарь и – сильнее, но урывками, – пороховой дым.

Первое, что он чувствует, – земля, сырая и твердая, влажная от предрассветной мороси. Его затылок лежит в ворохе листьев, перемешанных с грязью, а тело наполовину сползло в яму. В спину болезненно упирается какая-то коряга. Он еле открывает один глаз – веко второго заплыло и отяжелело, его сложно поднять, а лоб над бровью саднит и немеет. Он хрипло втягивает ртом холодный воздух и чувствует, как тяжесть в груди отдается болью в ребрах.

Дышать тоже сложно.

Перед его взором – сплошное серое ничто: дым потухшего недавно костра, низко нависшие сизые облака, частый мелкий дождь, больше похожий на кокон из влажного воздуха, обволакивающий землю. Если бы он мог видеть левым глазом, то заметил бы на востоке пепелище – все, что осталось от той части леса, где вечером ранее прошел бой. Оно тянется уродливым черным пятном от огромной ямы в семь-восемь футов шириной и ползет вверх по склону. Должно быть, здесь был пожар.

Он глубоко вдыхает, заставляя грудную клетку подняться и опуститься, отмечая, как резкая боль молнией стреляет под ребра. Повернуть голову получается с трудом, все вокруг тут же опрокидывается вверх ногами и пляшет туда-сюда. Когда небо перестает крутиться с бешеной скоростью, а земля встает на свое место, он понимает, что встать все равно не сможет: ноги и правая рука не чувствуются вовсе.

Все болит, и кажется, что он прожил с этой болью не один день. Он с трудом открывает рот, чтобы застонать, и тут же осознает, что во рту у него сплошная пустыня, так что даже крик не может продрасться сквозь пересохшее горло.

Ч-черт...

Проходит еще несколько мучительно долгих минут, пока он лежит неподвижно, рассматривая серое небо. Если запрокинуть голову, то можно увидеть темнеющий лес. Черные обгоревшие стволы деревьев тянутся вверх, впиваются в серые облака и теряются в тумане.

Он снова пробует встать и наконец поднимает себя над выгоревшей

землей – она почти сухая, листья стали грязно-бурыми ошметками и смешались с пылью. Он подтягивается одной рукой, разминает вторую, чувствуя, как по телу разливается застоявшаяся кровь. Кажется, будто его мышцы натянули на канаты: каждое движение отзывается болью в руках и ногах, боль проникает в самые кости.

Он садится. Осматривает себя. На нем алый мундир с грязно-белыми обшлагами, измазанными кровью. Его ли? Он хмурится, когда перед глазами снова все плывет и меркнет на несколько беспокойных ударов сердца. Осторожно поднимает здоровую руку, прикасается к опухшему глазу. Похоже, ему изрядно досталось.

Стертые посеребренные пуговицы по борту мундира блестят в слабом утреннем свете, когда он, преодолевая странное натяжение мышц, поворачивается, чтобы оглядеться.

Позади него чернеет дрожащий в тумане лес, справа деревья дугой огибают вытопанную поляну с изрытой землей, черно-серой от сгоревшей листвы и пепла. Влажный воздух шлейфом тянет за собой по ветру что-то... соленое?

Он сидит на краю широкой прямоугольной ямы глубиной в несколько футов, такой, что с его места не видно дна. Онемевшие ноги свисают вниз и пятками упираются во что-то мягкое. Рыхлая земля?

Он с трудом наклоняется, чтобы заглянуть вниз на свой страх и риск, ведь голова все еще кружится, а слабое сознание норовит покинуть тело и сбросить его в эту самую яму. Но он прижимает здоровую руку к ребрам, чтобы ослабить хватку беснующейся внутри боли, и заглядывает за край...

Чтобы тотчас же с ужасом откинуться на спину и, разинув рот, глухо вскрикнуть от страха.

Внизу, прямо под ним, в яме лежат бледно-красные мундиры с грязными обшлагами и затертыми пуговицами в рваных петлицах. Внизу, под ним, тела убитых солдат в такой же, как у него, форме.

Их *много*. Они наполовину присыпаны черной землей, и белые мертвые лица выделяются на ее фоне яркими пятнами, которые отпечатываются на обратной стороне век, когда он от страха закрывает глаза. В его воображении красные мундиры превращаются в кровавые реки.

Он старается взять себя в руки и успокоить бешеное сердцебиение, от которого больно. Дыхание, и без того неровное, сбивается, дышать становится тяжело, и в пересохшем горле он вдруг ощущает солоноватый привкус крови. Ему нужно успокоиться.

Отекшая рука плохо слушается, но он все равно опирается на нее и

вытаскивает онемевшее тело из ямы, в которую, похоже, судьба настойчиво его сбрасывала. Его бьет озноб – от страха ли, от холода или боли, сковывающей ребра и мешающей свободно дышать.

Надо взять себя в руки. Он жив и не покоится на дне общей могилы – несомненно, это солдатская могила, а ему просто повезло не оказаться в числе мертвых. Он жив – и это уже чудо. Осталось только вспомнить, как он тут оказался.

Он сидит на краю погребальной ямы, морщится от боли и силится вернуть себя в момент, который предшествовал его пробуждению. Это была поздняя ночь, в лесу было гораздо темнее, а лица солдат, ныне покойных, подсвечивались пламенем нескольких костров. А он был...

Он был...

Он...

Он старается вспомнить, что делал и где находился, прежде чем очнуться здесь среди мертвецов, но в голову, похоже, проник лесной туман, который не дает теперь заглянуть во вчерашний – *вчерашний ли?* – вечер. Для него все сокрыто, и как он ни силится отогнать серую пелену, она не уходит.

Когда его сердце от страха делает очередной кульбит, и больные ребра на миг сжимаются, он решает оставить убийственные попытки. Если не удастся вспомнить только что минувшие события, надо отойти еще на несколько шагов назад.

Что было до ночи в лесу? Что последнее он помнит?

Он облизывает сухие потрескавшиеся губы, проглатывает соленую от крови слюну. Моргает, уставившись на свои дрожащие руки. Мозоли на костяшках желтыми пятнами выделяются на его бледной коже, под ногти забила земля. Что последнее он помнит?

Это становится невыносимым. Память не поддается ему, она ускользает, едва кажется, что ответ уже найден. Он ловит дым голыми руками и в итоге сам оказывается в дыму. Он ничего не видит, не слышит. Не помнит.

Как он оказался здесь? Он не помнит.

Откуда он пришел? Он не помнит.

Что произошло в этом лесу?

Что с ним случилось?

Какой сейчас год?

Как его зовут?

Сколько ему лет?

Он стискивает руками голову и надрывно сипит, не замечая боли. Его

мысли, его воспоминания скрываются за плотной серой пеленой, похожей на этот день, единственный день, который он узнает.

Внезапно тела солдат в могиле, холод, боль становятся бледными и незначительными отголосками на фоне мрачной неизвестности, что нависает над ним и грозит разрушить само его существование.

Кто он такой?

* * *

Туман рассеивается ближе к полудню. Сквозь облака пробивается неяркий солнечный свет. Когда солнце оказывается в зените, он уже плетется вдоль кромки леса, обходя пугающую поляну. Ноги несут его в ту сторону, откуда дует влажный ветер, и он не сопротивляется.

Хочется пить, хочется есть. Хочется знать, что с ним и кто он.

Он несколько раз спотыкается и падает, прежде чем углубляется в лесную чащу. Странно, что здесь не слышно ни птиц, ни шорохов листвы. Этот лес словно умер днем ранее, когда в самом его сердце неизвестные подождли поляну, обрекая деревья на смерть от огня, и вырыли глубокую яму, чтобы бесчеловечно скинуть в нее многочисленные тела погибших.

Он помнит, как шумели опадающие листья, как в воздухе гремели выстрелы. Они до сих пор эхом звенят в его ушах, когда он поворачивает голову. Если он пытается вспомнить что-то, кроме звуков, то натывается на стену, столь же призрачную, сколь и плотную, сквозь которую нельзя ничего проглядеть.

Если он не помнит своего прошлого, то... Как это называется? Отчаяние?

В его памяти не осталось ни имени, ни лица. Господь, он даже не знает, как выглядит.

Под ноги ему попадает кривая коряга – выступающий из земли корень ясеня. Он запинается и падает. Ребра тут же отзываются резкой болью, которая стискивает грудную клетку и легкие. Из распахнутого рта на выставленную вперед руку падает капля полупрозрачной крови. То ли он прокусил язык, то ли это из горла или легких. Печени. Желудка?

Как хочется есть.

Он с трудом поднимается и, покачнувшись, опирается на ствол дерева. Грубая кора кажется такой же высохшей, как кожа на его пальцах. Он скребет по стволу ногтями, пока в груди унимается бьющееся, как в клетке,

сердце. Еще немного. Осталось потерпеть еще немного, и ноги сами выведут его из леса.

Он даже не знает, куда идет, – просто движется, несомый собственными негнуцимыми ногами. Хорошо, что хотя бы они целы.

Сквозь гулкий стук крови в ушах он вновь слышит мерный шум. Там, впереди, куда он стремится, что-то шумит. И это не лес.

Он делает еще шаг, оттолкнувшись рукой от ствола ясеня. Дерево остается за его спиной. Он идет дальше.

Лес редет спустя полсотни его нетвердых шагов, в глаза бьет резкий луч солнца. Он закрывает лицо одной рукой, другой обнимая себя за ребра, и не замечает небольшого склона, покрытого густой травой. Нога шагает в пустоту, и он валится вперед лицом, выпадает из лесного плена.

В нос тут же бьет резкий запах хвои, лапы можжевельника смягчают удар. Он оказывается на зеленой луговине. С одной стороны высится немой лес, с другой – обрыв. И оттуда он слышит тот самый шум, который чудился ему ранее. словно что-то размеренно приближается и отдаляется.

Сипло дыша, он приподнимается на локтях и проползает несколько футов, сдирая ладони. Земля под можжевеловой подушкой мокрая, сам воздух тоже настолько влажный, что его хочется выпить. С нескольких веток он слизывает некрупные капли, пробует их на язык. Соленые. Если они такие соленые, то он рядом с...

Морем?

Догадка становится ответом, когда он подползает к краю и видит внизу, в десятке футов от себя, серо-зеленый берег. Волны беспокойно наползают на него вместе с пеной, и та шипит, оседая на мелкой гальке.

Он лежит животом на склоне, который заканчивается резким обрывом фута в три высотой. Внизу тонкой светлой полосой раскинулся берег. Туда можно спуститься по тропинке, что виднеется правее, или скатиться прямо здесь и сломать еще пару ребер.

От жажды, голода и усталости у него снова кружится голова – а может, виной тому высота. Он переворачивается на спину, запрокинув голову к небу, и остается лежать неподвижно. У него мало сил, и он готов умереть за глоток пресной воды. Или за знания о себе.

Совершенно ясно, что у берега ответов он не найдет. Возвращаться на обгоревшую поляну ему совсем не хочется. Но лежать здесь, ожидая смерти, он тоже не может.

Если он выжил – один из многих – значит, судьба приготовила ему иной путь.

Знать бы еще какой.

Он вновь садится, игнорируя головокружение; темная кромка леса прыгает перед глазами и поворачивается в разные стороны, так что в какой-то миг оказывается внизу, а бледно-зеленая луговина – вверху. Он раздраженно зажмуривается и моргает.

Нужно привести себя в порядок. Чтобы узнать хоть что-то, ему понадобятся силы. Еда. Вода. И ребра, не грозящие на каждом шагу проткнуть внутренние органы.

Откуда-то он знает, что они сломаны. Единственное, чему он может сейчас доверять, – это его собственное тело, и оно явно вопит о помощи не первый час. Смущает его только то, что он *знает*, что это называется переломом. Откуда ему это известно? Откуда в его голове такое знание?

Когда он поднимается, его пугает и другое. Руки сами все делают. Он стягивает с себя красный мундир – на правом его плече зияет дыра, а воротник заляпан кровью, – обнаруживает под ним тонкую суконную рубаху, заскорузлую от высохшего пота. Ее с трудом удастся снять, чтобы взглянуть на себя и удостовериться: ребра сломаны. На правом боку под грудью разливается красно-фиолетовое пятно, он трогает его пальцами и чуть не взывает от боли. Чтобы наложить повязку, ему не хватит одной только рубахи.

Он стаскивает с себя сапоги и штаны. Плотные, из некогда белого сукна. Их можно порвать на несколько длинных лент.

С этим приходится повозиться. Руки его не слушаются, а рядом не оказывается ничего острого, так что он мучается со штанами около получаса, прежде чем получает из них четыре длинных повязки. Он знает, что наложить самому себе шину будет сложнее, чем пройти еще хотя бы одну милю, но другого выхода у него нет.

Откуда-то ему известно, что бинтовать сломанные ребра нужно на выдохе. Откуда-то знакомы усилия, с которыми он утягивает себя в корсет. Лучше всего перекинуть повязку через плечо, чтобы она не сползла при ходьбе. Сделать узел получается только с третьего раза, он стискивает зубы и стонет, на лбу проступает пот, но в конечном счете он справляется.

Теперь грудь болит не так сильно, и он может дышать ровнее.

Непригодившуюся рубаху он натягивает обратно и хочет уже накинуть сверху мундир, чтобы не так мерзнуть, когда слышит откуда-то справа частый глухой стук. Словно кто-то бежит.

Лошадь.

Он вскидывает голову и щурится в попытке разглядеть приближающихся: на фоне сизого неба темной точкой, которая увеличивается с каждой секундой, появляется лошадь. Она бежит

неспешной рысью, везя за собой телегу и двоих мужчин.

От внезапной радости у него подкашиваются ноги, но он остается стоять и поднимает руку. Боже милостивый, пусть его заметят!

Они видят его, только когда между ними остается всего футов пять. Оба рыжие и вихрастые, в одинаковых серых свитерах с орнаментом на воротниках, похожие друг на друга, но с разницей в десяток лет. Братья? Отец и сын?

Он прикладывает ладонь козырьком ко лбу, чтобы загородить солнце, и поднимает голову. Мужчины хмуро смотрят на него сверху вниз.

– Каким ветром тебя сюда занесло, приятель? – спрашивает тот, что помоложе, гнусавым шипящим голосом. Оглядывает его и присвистывает в темно-рыжую бороду. – До ближайшего селения мили три!

Он хочет ответить, но открывает рот и только сипит – звуки трескаются в сухом горле и осыпаются пылью. Мужчина постарше понимающе фыркает.

– Держи, приятель, выпей-ка!

К нему летит жестяная фляга. Он ловит ее одной рукой, вторую неловко прижимая к раненому боку, и нетерпеливо отвинчивает крышку. Пальцы не слушаются. Скорее, скорее! Наконец он делает один большой жадный глоток из узкого горлышка – во фляге не вода, слишком маслянистая, пахнет спиртом, – но он сглатывает, смачивает горло. И тут же чувствует, как в сухие его трещины заползает настоящий огонь.

– Чт-то это?! – хрипло кашляет он и чуть не роняет флягу. Мужчины в голос смеются.

– Прости, приятель, у нас с собой только забродивший виски! Недалеко собрались, воды не взяли. Но лучше, чем из океана хлебать, а?

– Лучше, – соглашается он. Оказывается, у него низкий голос. И говорит он тихо, но отчетливо, с каким-то надломом. Не так, как эти двое.

Он делает еще глоток. Горячая жидкость стекает по горлу прямо в пустой желудок и обволакивает изнутри теплом. Скорее бы ноги отошли, иначе он заледенеет и умрет от простуды раньше, чем разыщет себе новую пару штанов.

– Ты откуда будешь? – спрашивает тот, что постарше, оглядывая его с головы до пят. Вместо бороды его лицо украшают толстые крученые усы – светло-рыжие, блестящие на солнце редкими седыми прядями.

Он мотает головой.

– Не... – Неокрепший голос ломается в начале фразы, и ее вовсе не хочется договаривать. Но он делает над собой усилие, чтобы продолжить: – Не знаю.

– Да ну? – Младший подозрительно хмыкает и пихает старшего локтем под ребра. – А звать тебя как?

Все вокруг превращается в жалкое зрелище. Фарс. Словно его втянули в глупое представление, не объяснив роли.

– Я не знаю, – отвечает он. И чувствует себя так незащищено, словно стоит совершенно голый у берега моря, названия которого не помнит. Как не помнит себя и своего имени.

– Брешешь все! – восклицает младший. Брат – или отец – осаживает его, вскидывая морщинистую ладонь.

– Полно, будет, – усмехается старик, шевеля усами. – Не видишь разве, человека контузило? Наверняка, и родную мать позабыл после такого... Кто тебя так приложил, приятель?

Он непонимающе хмурится, трогает рукой рассеченный лоб. Ах, это...

– Вы не удивляйтесь, – говорит он, – я не...

– А, не знаешь, ясно, – кивает старик. Младший не сводит с него сомневающегося взгляда, но он прекрасно понимает, что подобной реакции стоило ожидать. Он отдает флягу старику и пытается благодарно улыбнуться или хотя бы сказать доброе слово. Глоток огненной жидкости все же лучше, чем ничего.

– Я Конрад, – заявляет старик. – Это мой сын, Дугал. Мы едем обратно в Тра-Ли. Можем подсобить. Тут пешком еще три часа ходу, а ты, я вижу, без штанов. Так и мальчика потерять недолго. Что смотришь? Между ног у тебя звенеть будет, коль отморозишь на таком ветру!

Конрад смеется хриплым картавым смехом, так что он тоже невольно кривит губы. Дугал молчит.

– Садись-ка с нами. Дорога долгая, по пути вспомнишь свое имя.

Он радостно кивает, все еще не доверяя собственному голосу.

– Сейчас. Спасибо.

Поднять с земли потертый мундир удастся с трудом. Он мог бы и оставить его на берегу, но алое сукно – единственная его связь с прошлым, каким бы оно ни было, и без мундира ему вряд ли удастся отыскать свое имя среди других солдат, живых или мертвых. Откуда-то он помнит, что на пуговицах и галунах должны быть опознавательные знаки его полка.

– Спасибо, – еще раз для верности повторяет он, когда хочет забраться на телегу. Мундир он бросает назад, на дрова, а старик подает ему руку. Дугал вдруг делается бледнее морской пены у берега.

– Отец... – тянет рыжий.

Он невольно вскидывает голову, чтобы заметить, как звереет лицо его младшего спасителя. Глаза Дугала леденеют, пальцы рук сжимаются в

кулаки, и весь он съеживается.

– Отец, этот из мундиров...

И тут старик тоже замечает построй его формы.

II. В сердце Тра-Ли

– Да ты же английская псина! – восклицает Конрад, мгновенно отнимая протянутую руку. Не удержавшись, он падает на землю спиной, и боль от удара простреливает ему грудь. Он кричит, а Конрад и Дугал соскакивают с телеги, и их лица не предвещают ничего хорошего.

Они смотрят на него с ненавистью, будто кто-то в мгновение ока сменил в их мироздании черное на белое, а хорошее – на плохое. Вежливого дружелюбия как не бывало, улыбки пропали, исчезла даже некая настороженность. Алый мундир сдернул с их лиц маски, оставив голую злость.

– Что, думал, мы не заметим? – цедит Дугал. – Думал, ирландцев так легко провести?

Он не может встать – ноги будто отнялись, он их не чувствует. Рыжие и одинаково злые, отец и сын наступают на него, так что ему приходится отползать, сдирая кожу ладоней о колючую щетинистую землю. Неприметная дорога скрыта под сухой травой и тонкой нитью вьется на юг, но сторбленная спина Конрада закрывает последний путь к отступлению. Он не знает, что делать.

– Послушайте!.. – хрипло восклицает он, все еще чувствуя, что говорит с трудом, что голос крошится и сыпается вниз по горлу колким песком. – Я не понимаю, о чем вы...

– Врешь, ублюдок! – шипит Дугал и хватает его за воротник липкой от пота рубахи. Крепкие загорелые руки вздергивают его над землей, и он снова кричит. Боль простреливает ребра и мчится вверх по телу, заполняя собой все нутро. Ему почти нечем дышать. Снова.

– Отвечай! Что ты задумал, английская мразь? – Дугал склоняется над ним и так орет, что закладывает уши. Слова плевками летят ему прямо в лицо. – Вы сожгли наши леса и убили сотни людей, что еще вам нужно от нас?!

В какой-то момент он понимает, что перестал видеть – боль подернула все вокруг красной пеленой, биение крови заглушило звуки.

– Дугал... – Где-то за пределами всего этого шума голос старика кажется ему провидением, потому что Дугал отпускает его, но он падает и снова впивается лопатками в твердую землю. Кажется, сломанные кости разрывают мышцы, и он стонет, не умея совладать с собой.

Он ничего не сжигал. Он никого не убивал.

Господь, ему так плохо, так больно...

– Прошу вас, я ничего не делал... – Первая волна боли стекает к его ногам. Он часто моргает, заслоняясь рукой от солнца. Фигуры Дугала и Конрада темными силуэтами возвышаются прямо над ним. – Прошу вас...

Конрад смотрит ему в глаза.

– Прошу вас!..

И что-то в нем меняется. Старик тянет сына за руку, пытаясь оттащить, но тот снова срывается.

– Ты один из мундиров! Этого достаточно, чтобы тебя камнями забить!

Дугал шагает ближе – перекошенное от злости лицо, ржавая борода скрывает изогнутый кривой дугой рот – и замахивается на него огромным кулаком. Он закрывает лицо одной рукой, пока вторая стискивает рубаху с прорехой на боку, из-под которой торчит сползшая повязка.

– Я не понимаю, о чем вы говорите! – кричит он, не стыдясь своего страха, – как можно его скрывать, когда он, беспомощный, сломанный, не может ответить? Он ничего не понимает и не знает, он не помнит даже собственного имени... В чем он провинился?

Дугал рычит. Его кулак страшен, но ирландец вдруг передумывает.

И с силой опускает на него огромную ногу в тяжелом сапоге. *Прямо на грудную клетку.* Локоть свободной руки впивается в левый бок, ребра ползут вправо, а сапог Дугала давит, давит, и – внутри него что-то оглушительно лопається.

Он захлебывается воплем.

– Английская мразь! – громко повторяет Дугал, но он не слышит его из-за собственного крика, за которым даже шум океанского прибоя кажется незначительным. Где-то вдалеке ему надоедливо вторят чайки.

– Дугал!

Дугал убирает ногу, заносит вновь. Второй удар приходится прямо в бок, и он так кричит, что, кажется, выплевывает легкие прямо на сухую пыльную землю. Крови во рту становится слишком много, он задыхается, кашляет, стонет. Плачет. Слезы текут из его глаз ручьем, он не может их остановить, он не замечает их. Слишком больно, слишком...

Дугал бьет еще раз. И еще.

– Дугал! Остынь!

Старик тянет к себе рассвирепевшего сына, и тот убирает ногу.

Легче не становится. Мысли верещат громче крика: что он сделал?! За что его наказывают?!

– Ты убьешь его, – злобно произносит Конрад. – Хочешь мараить ноги в крови калеки? Посмотри на него, он же еле дышит!

Дугал плюется, и рычит, и дергается из рук отца. Его голос все больше похож на булькающий рев, слова сливаются в единый звук.

Он не разбирает ни странной речи Дугала, ни слов Конрада. Его кости раздроблены, все его тело стало мешком мышц без опоры. Он не может пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже губами. Заплывший глаз щиплет от слез, и ему хочется кричать в голос.

Но он едва открывает рот.

– Я не англ... англичан... нин.

Длинное слово нехотя складывается из рваных звуков, только эту кашу ирландцы не разбирают. Они стоят в стороне и спорят, кричат друг на друга, бурно жестикулируя. Он с трудом поворачивает голову, и горизонт плывет перед его взором. Опять.

Словно кто-то свыше поставил этот день на колесо и спустил с горы – колесо катится, события повторяются одно за другим, одно за другим. С каждым разом ему все больнее, сложнее воспринимать действительность такой, какая она есть.

Может быть, он умер там, в лесу, среди таких же солдат в красных мундирах, и теперь всевышний раз за разом прогоняет его через предсмертную агонию?

Что он сотворил такого, что судьба посылает ему столько боли и неизвестности вместо простых ответов?

– Мы возьмем его в город, – доносится до него последняя фраза Конрада. Старик настаивает на этом решении, а он думает, что ему будет легче, если его убьют прямо сейчас.

– Зачем он нужен в Тра-Ли? – рычит Дугал, выплевывая вопрос как ругательство. От злости его голос делает со звуками что-то странное – стискивает их, выжимает, так что те шипят и беснуются в его рту.

– Пусть честные люди его судят, не мы! Посмотри на него, Дугал, быть может, ты избил невинного!

Они оборачиваются. Отец смотрит на него озадаченно, все больше робея, сын – зло, с ненавистью, и он хочет сказать, что невиновен, что все это ошибка. Он тяжело дышит и сквозь каждый поверхностный вздох цедит из себя по слогу:

– Я не... англ... ли... ча...

– Ты урод! – восклицает Дугал. – Вы все убийцы, марионетки безумного короля!

– Дугал!

Ирландец плюет ему прямо в лицо и, сбросив с плеча руку отца, отходит обратно к телеге. Старик смотрит на него, и по его лицу нельзя

понять, о чем тот думает. Но ему кажется, что Конрад верит.

Он не убийца. Он не убивал солдат в лесу. Он не жег лес.

Дугал возвращается – такой же злой, но в его взгляде теперь сквозит что-то, граничащее с безумием, о котором упоминал ирландец.

Ему становится страшно. Еще страшнее, чем прежде.

– Свяжем его, – бросает Дугал. В его ладонях лежит крученая веревка толщиной с палец. – Отвезем в город. *Как ты хочешь.*

От этих слов его бросает в жар. Он не может пошевелиться, все его тело и без того превратилось в сплошное месиво, он не выдержит связанных рук и ног. Пусть уйдут и оставят его здесь, пусть забудут о нем, пожалуйста...

Молитвы оказываются тщетными – Дугал хватает его за разодранный ворот рубахи, встряхивает – он не издает ни звука, боль отняла все силы, – и поднимает с земли, будто он не весит и двадцати фунтов. Небо и земля прыгают перед его помутневшим взглядом.

И резко сменяются почерневшими дровами в телеге. Колючие, твердые, они упираются ему в щеку, в шею, в криво повернутую грудь, в вывернутый бок. Он лежит лицом вниз, пока Дугал скручивает ему руки.

– Он и без веревки никуда не сбежит, – слышится голос Конрада. Теперь старик точно оставил злобу, в его словах звучит только опасение. – Ты переломал ему все кости, он никуда не сбежит. Оставь его так.

Вместо ответа Дугал затягивает узел на его запястьях, и сквозь стон он слышит очередной хруст. Если он так слаб, зачем его связывают?

– Ты решил, что доставить в город мундира будет *правильно*, – выплевывает Дугал. – Мы доставим мундира. Связанного, как положено.

Ему хочется кричать от боли, обиды, злости, страха – всех обостренных чувств сразу, сплетенных теперь в такой тугой клубок, что его не распутает и время.

Он даже не подозревает, каким предзнаменованием окажется эта мысль.

Все, что он может, это беспомощно лежать в подпрыгивающей на каждой кочке телеге и прятать постылые слезы в алом сукне злосчастного мундира.

* * *

Многообразие звуков Тра-Ли наводняет слух, как океанский прибой.

Треск колес телеги, размеренный стук молотков, ржание лошадей, грубые, низкие, звонкие, яркие, глухие, громкие голоса горожан. Все сливается воедино и становится общим гвалтом, который расслаивается на разные звуки, если оказываешься в самом его центре.

Он приходит в себя, когда совсем рядом раздается удар тяжелого молота – телега Конрада и Дугала остановилась у кузницы. Грузный человек с густой черной бородой ворчит над их лошадью.

– Она у вас все ноги отбила. Нельзя с животиной обращаться так, *амадан*^[11]! Что вы с собой привезли, что она подкову по дороге потеряла?

– Дрова.

Он слышит злой голос Дугала, от которого кровь тут же стынет в жилах. Мгновенно возникает желание сползти с телеги и спрятаться, но он не может пошевелиться, тело его не слушается – оно будто ему не принадлежит. Бок разрывается от боли, трудно дышать.

Он пытается сдвинуть узел на онемевших запястьях, чем только причиняет себе еще больше неудобств, и невольно стонет.

– Что там у вас? – слышит он подозрительный голос кузнеца. Старик Конрад ворчит, Дугал перебивает его раньше.

– Приходи через полчаса на базарную площадь – увидишь.

Его прошибает пот. Он лежит лицом на дровах, высокие борта телеги скрывают его от любопытных взглядов, голых ног снаружи не видно. Никто не увидит его, и даже если он будет звать на помощь – никто не придет.

Телега трогается с места, поленья приходят в движение, стискивая его шею и плечи. Он бережет глаза от мелкого сора, пряча их в мундире. От сукна пахнет дымом, хвоей и грязью, от него самого – потом, слезами, кровью. Что с ним сделают, когда телега остановится? Зачем его везут на площадь?

Странно, но он помнит, что такое площадь. Она для публичных выступлений. Наказаний. Казней. Для всего, чего он бы хотел избежать. От мыслей об этом его бросает в еще большую панику, хотя объяснить ее он не смог бы и после часа раздумий.

Когда телега останавливается, город становится еще громче, словно все его улицы с домами и людьми стекаются на городскую площадь, пахнущую людским потом, пылью, лошадьми и травами из лавки с подветренной стороны. Обостренным от ужаса слухом он подмечает даже скрип дверей таверны и крик продавца рыбой в самом начале улицы, которую Дугал и Конрад угрюмо миновали. А еще – детский смех на углу, где стоит коробка кукольного мастера, завывания торговки, блеяние нескольких овец, идущих на поводу дряхлого старика. Все шумит,

движется и живет отдельным миром, пока Дугал не стаскивает его с телеги, грубо покрикивая:

– Тащи сюда свою голую задницу, *сасеннах*^[21]! Сейчас-то мы посмотрим, как сильно тебе память отшибло!

Он падает с телеги прямо на землю: ноги его не держат, руки занемели, в бок будто вогнали железный крюк. Он почти ничего не соображает – так сильно кружится голова и так все переворачивается перед глазами и тускнеет, несмотря на яркий солнечный свет.

– Вставай! Или я втащу тебя на помост за твои кривые ребра!

Ему приходится подчиниться: встать, преодолевая боль, стиснуть зубы и шагнуть в сторону высокого дома с черной облезлой дверью, над крыльцом которого видна большая серая вывеска. Буквы на ней сливаются с витиеватым узором, и прочесть их он не может.

Прямо перед домом – невысокий деревянный помост с прогнившими досками. На нем чернеет несколько крупных пятен, и он не хочет знать, что это такое.

Дугал сжимает узел на его запястьях и толкает в сгорбленную спину. Он спотыкается и стонет, на вымощенную булыжником улицу капает алая кровь.

Он умрет здесь? Так и не узнав ни своего имени, ни лица?

– Дугал, стой! – кричит старик. Его сын плюет в сторону, ругается и не собирается останавливаться. Вдвоем они поднимаются на помост, ирландец дергает его, как собаку на привязи. Когда его разворачивают лицом к площади, он едва ли понимает, что происходит.

Все вокруг шумят. Весь город гомонит, ругается, смеется, все пульсирует, как живой организм, словно сам город – огромный зверь. Он стоит в самом центре и ждет, что тот вот-вот почует чужака и выплюнет, как заразу.

Несколько пар глаз видят его, несколько людей замирают и ждут... чего? Расправы? Словно все они давно ждали чьей-то нелепой смерти и наконец дождались.

– Слушай, Тра-Ли! – громогласно кричит Дугал, дергая его за руки. Он их не чувствует, да и ноги его не держат – он виснет на ирландце, связавшем его, как собственную добычу.

– Дугал, отведи его в дом судьи, – сердито говорит Конрад. Подняться на помост вместе с сыном он не решился и теперь наставляет его снизу. Дугал не слушает.

– Я привез вам мундира! – кричит ирландец.

К помосту стекается базарный народ, дети перестают забавляться с

куклами и бегут посмотреть на преступника, словно это развлечение лучше прочих.

– Мы перебили всех, пришедших к нам с севера, но этот оказался дезертиром, сбежал из леса и скитался по окраинам!

Он впервые об этом думает. Сквозь боль во всем теле чувствует негодование: у него не было времени даже понять, что он делал в лесу и почему не погиб с остальными!

– Мы с отцом нашли его в таком виде, когда он хотел обманом пробраться в наш родной город! – распинается Дугал. Его крик становится все громче. Он разносится над площадью, и все остальное вскоре стихает: люди стекаются к помосту и смотрят на ирландца и его пленника, как на забаву.

Он опускает голову, чтобы не видеть издевки на лицах, и взгляд впивается в алый мундир – Дугал набросил его ему на плечи, как доказательство. Похоже, красное сукно вызывает в мыслях этих горожан такую ненависть, что ничего другого им и не требуется.

– Что мы с ним сделаем? Закуем в цепи и бросим гнить в тюрьме?

Люди начинают шептаться, кто-то одобрительно вскрикивает. Он стискивает зубы, чтобы не завывать от бессильной злобы на потеху Дугалу и остальным.

Он не сделал ничего плохого, ничего, за что его можно наказать так жестоко!

– Или... – Дугал вздергивает его связанные руки до очередного хруста в костях. – Забьем плетью прямо здесь?

На этот раз горожане шумят громче. Он разбирает в общем гвалте сердитый голос старика Конрада, но тот больше не имеет власти над разбушевавшимся сыном. Дугал тоже слышит возгласы одобрения, и в тот же миг его пленник оседает, потому что его больше никто не держит.

– Прекрасно, – говорит Дугал плоским голосом, не предвещающим ничего хорошего. – Тебя ждет сотня плетей, сасеннах!

Он знает, что это больно. За свою недолгую памятную жизнь – этот нескончаемый день – он и так прочувствовал на себе слишком много, чтобы бояться еще и плети. Но, кажется, их он не выдержит.

– Прошу вас... – стонет он в угоду радующимся горожанам странного города Тра-Ли. Он решил, что не станет кричать и умолять о пощаде, но теперь готов сказать *что угодно*, чтобы избежать еще большей боли. – Пожалуйста, прошу вас...

Дугал возвращается на помост, громыхая тяжелыми сапогами. Ему на миг кажется, что для грузного ирландца держать в руках плеть и избивать

раненных – не впервые.

Были ли все его пленники невиновными?

Он лежит, скрючившись на деревянном помосте под безликим бледным солнцем, и силуэт Дугала вновь загораживает ему небо. Теперь в руках у него не веревка, а тонкая длинная плеть, которая рассекает воздух с противным свистом. Он боится его.

Дугал заносит над ним руку под рокот толпы. Он закрывает глаза.

Пусть он потеряет сознание. Пусть даже *умрет*, не узнав себя, если это избавит его от позорного наказания и боли.

– Сейчас ты поплатишься за все горе, что причинил твой народ моему, – шипит Дугал.

Тонкая плеть рассекает воздух.

Его сердце пропускает удар.

– Стойте!

И тут же снова стучит, норовя вырваться из кривой грудной клетки.

Сперва он чувствует легкий аромат полевых трав – кажется даже, что воздух наполняется влагой и солью, словно он вновь лежит у океанского берега, – а потом слышит легкий перестук каблуков. На помост к нему и Дугалу вскакивает пара ног, скрытых плотной сиреневой юбкой в пол.

– Конноли, прекрати это! – К ногам и юбке добавляется высокий женский голос. Он взвизгивает в напряженном воздухе и рассекает недовольный гомон толпы, как молния – грозовую тучу во время бури.

Смелой женщине кричат:

– Уйди, травница, и без тебя здесь бед не оберешься!

– Ты препятствуешь правосудию!

Он чувствует, как деревянные доски под ним дрожат от сердитого перестука легких ног. Пахнущая травами женщина загораживает его подолом своей широкой юбки.

– Это не правосудие, это варварство! Если он виновен в смертях ирландцев, отведите его к судье Хили!

Ее словам никто не внимлет. Дугал рычит, хватая женщину за локоть и хочет согнать с помоста, но она упирается и визжит. Толпа бунтует вместе с ней – против нее. Сам воздух вокруг помоста дрожит и сгущается, будто стискивая виновника в плотное кольцо негодования и неприязни.

– Что за крики в базарный день! – грохочет откуда-то сверху низкий голос. К нему обращаются сразу несколько горожан.

– Судья Хили! – кричит женщина-травница. – Остановите это безумие!

Голос судьи, незнакомая женщина, Дугал и его отец, вся базарная площадь вместе с ее людьми сливаются в один многоголосый шум.

Он закрывает уцелевший глаз, проваливаясь в темноту, и теперь ему хочется очнуться уже в другом месте, пусть даже по другую сторону жизни.

* * *

Та же судьба, что вынесла его из погребальной ямы в лесу, не дала ему отойти в мир иной и на помосте базарной площади.

Потому что он приходит в себя в комнате с низким косым потолком и протекающей крышей. Пахнет полевыми травами. Где-то рядом, справа от него, трещат в огне сухие ветки. Здесь тепло. Жарко. Солнечный луч пробивается сквозь мутное стекло маленького окна. Слышно, как звенит колокольчик на шее какой-то скотины. Та блеет. Овечка.

Он открывает правый глаз. Дышать сейчас легче, чем было даже с самодельной повязкой – видимо, грудь ему перебинтовали заново. Как и правый глаз. И запястья. И онемевшие ноги. Он слабо видит и почти ничего не понимает, но, похоже, кто-то позаботился о нем так хорошо, что теперь он обязан этому неизвестному жизнью.

В крошечной комнате с низким потолком только одна кровать. Он лежит на ней, не имея возможности ни пошевелиться, ни повернуть голову, и все, что представляется его взору, – потолок, часть стены с окном и ближний левый угол. С другой стороны мелко дрожит огонь.

– Вы очнулись!

Дверь с той стороны, которая ему не видна, скрипит, впуская внутрь прохладный порыв слабого ветра. Его тут же бросает в дрожь, но он не понимает, от сквозняка ли это или же от неожиданного голоса.

Легкий перестук шагов напоминает ему нечто знакомое. Когда женщина подходит ближе, он чувствует сильный аромат трав, и только потом – ее собственный кисловатый запах.

– Я боялась, что не выхожу вас, – говорит она, впервые оказываясь в поле его зрения.

У нее бледное лицо с мягкими скулами и высоким лбом. Пухлые губы, изогнутые в чуть испуганной улыбке. Широко распахнутые серо-зеленые глаза. Русые волосы, собранные в ленивую косу. И тонкие, хрупкие руки, которые теперь тянутся к нему в заботливом жесте.

Если бы он мог, он бы дернулся, отодвинулся от ее узких длинных пальцев.

– Я только проверю, – почти извиняется она и кивает, ожидая его согласия, но трогает его лоб, так и не получив ответа.

Он не может ответить, он думает, что разучился говорить.

Ее пальцы касаются повязки на глазу, проводят по надбровной дуге, стирая испарину. Он задерживает дыхание.

А потом она отстраняется. И ее улыбка становится шире.

– Мне сказали, вы не знаете, кто вы, и не помните своего имени, – говорит она, снова будто извиняясь. Он смотрит на нее и молчит. Сказать ему нечего.

Тогда она смущенно произносит:

– Пока вы спали, я звала вас Серласом.

И он вдруг думает, что знает это имя.

3. Офелия у пруда

Поначалу все кажется вполне сносным. Теодор просыпается и первые несколько мгновений пытается собрать расплывающуюся реальность в единый фокус. Получается с третьего раза.

Он садится на скрипучей софе – видимо, Бен по традиции дотащил его до задней комнаты и бросил, прикрыв стеганым пледом, лет которому столько же, сколько кофейнику времен Первой Мировой, выставленному на торги.

Теодор трет опухшее лицо, спускает ноги на пол и упирается голыми пятками в холодный паркет. Дышать становится немного легче.

В душном воздухе витает стойкий аромат перегара, смешанный с потом и чем-то травяным, пришедшим из полузабытого прошлого, отчего он морщится и фыркает. Чересчур реальный сон? Теодор выбирается из-под пледа и, опираясь на подлокотники софы, медленно встает. Пол не качается, а вид за окном – берег гавани с мутными серо-зелеными волнами – не переворачивается с ног на голову. Что уже довольно неплохо.

Теодор как может подходит к двери – для этого ему приходится сделать восемь трудных шагов, цепляясь попеременно то за заваленный газетами журнальный столик, то за ножку напольной лампы с абажуром в мелкий цветочек, то за стену – и хватается за холодную металлическую ручку. Чтобы попасть к себе в спальню, придется пересечь заставленный коробками коридор и преодолеть пятнадцать крутых ступенек витой лестницы. Черт бы побрал эту лестницу.

Он со вздохом открывает дверь, и ее петли заунывно скрипят, вгрызаясь этим звуком прямо в мозг. Черт бы побрал эту дверь.

Но Теодор не успевает ни добраться до спальни и ванной, ни даже ступить на ненавистную лестницу – из недр лавочки доносится звонкое треньканье телефонного аппарата, от которого сотрясаются едва уцелевшие после попойки и двух суток без сна стенки его черепа.

– Ах, дьявол! – сквозь зубы ругается Теодор и добавляет, едва позволяя себе повисить голос, чтобы самому не оглохнуть: – Бен, телефон!

В лавке стоит гробовая тишина, которую, словно дрель, буравит повторный звонок. Не шумит кофемашина, на плите не кипит чайник, а Бен не отстукивает по полу привычный бодрый ритм. Значит, в это предположительное утро пятницы его нет на месте.

Самостоятельно Теодор к ненавистному аппарату не подойдет – не в

таком состоянии тела и духа. Игнорируя назойливую трель, он направляется к лестнице и брезгливо морщится от каждого «дзынь!». Да, это его магазин, да, на другом конце провода могут быть покупатели, и да, Теодор сам может быть заинтересован в их предложении. Но лучше он приведет себя в порядок, чем в отборных выражениях на двух языках сразу пошлет клиентов в пешее путешествие до самого замка Пенденнис.

Когда он добирается до своей комнаты на втором этаже, оказывается, что на часах уже половина первого после полудня. Были ли у него на сегодня планы? В раздумьях Теодор проводит еще полчаса. Умывается, сбрасывает вчерашний тесный пиджак с удушающим галстуком и принимает душ.

В стерильно чистую, не считая одинокой кофейной чашки в раковине, кухню он входит уже посвежевшим, но таким же угрюмым, как и вчера. Будь здесь Бен, он бросил бы язвительную фразу насчет времяпрепровождения Теодора, обязательно приправив ее своей традиционной поучительной интонацией, – но Бен сегодня отсутствует.

Наслаждаясь полным одиночеством и тишиной – надоедливый телефон умолк после третьей попытки, – Теодор неспешно заваривает себе кофе. В джезве, как полагается, не обращая внимания на полированную кофемашину, гордо выпятившую свои глянцевые бока.

Постепенно стойкий аромат кофе заполняет собой всю маленькую кухню, и из мыслей Теодора улетучивается запах, что встретил его сразу после пробуждения и с тех пор щекотал нервы, как позабытое событие давнего прошлого, о котором напомнило мимолетное дежавю.

Теодор переливает густой напиток в тонкую фарфоровую чашечку и отмахивается от тревожных мыслей. По поверхности полумесяцем растекается кремовая пенка.

На газовой плите поджаривается тост и пара кусочков вчерашнего бекона, в открытое окно призывно задувает прохладный ветер с гавани. Теодор наблюдает за проезжающими по дороге редкими машинами и делает первый глоток танзанийского кофе.

– Мерзость, – недовольно цедит он, сплевывает в раковину и выливает туда же пропахший мешковиной напиток. Качественных поставок с Килиманджаро не было уже три месяца, и это начинает его беспокоить: пить кенийскую подделку, пусть и по словам Бена, «весьма недурную», он не станет. А без кофе каждое его утро превратится в отвратительное бесцветное продолжение жизни.

Он хватает с полки ямайский «Блю Маунтин»^[3]. Рано или поздно Бен заметит, что кто-то таскает из его запасов, но сейчас Теодору наплевать на

злость друга. Ему нужен кофе, а бурда из кофемашины его не устраивает. Так что он ставит джеззу на плиту второй раз и сосредотачивается на варке, позволяя тягучим мыслям спускаться по воронке воспоминаний вчерашнего длинного дня.

Минувшая ночь помогла ему расставить акценты: пригрезившаяся девица была не более чем больной фантазией уставшего подсознания, выглядела совсем не так, как Клеменс, хоть и взяла на себя некоторую наглость носить ее имя. Тем не менее с *той самой* Клеменс ее ничто не роднило, если Теодор хоть сколько-нибудь разбирался в наследовании фамилий. Дочь Генри Карлайла может зваться только Клеменс Карлайл, а эта семья, если верить слухам, никогда ирландской не считалась.

Значит, вчерашняя девица знакомой ему показалась только из-за имени, ни больше ни меньше.

Четвертый по счету звонок телефона застает его уже в зале, сидящим за трехногим кофейным столиком из темного дерева. Теодор с огромным неудовольствием отставляет в сторону чашку. Где Бен, когда он так нужен? Телефон разрывается все утро!

– Антикварная лавка «Паттерсон и Хьюз», – отвечает он, безуспешно пытаясь сделать это приветливо. – Если вы по поводу французского сервиза, то мой ответ не изменился: я не буду продавать его по частям!

На другом конце провода хрипло смеются.

– О вашем дружелюбии можно слагать легенды, мистер Атлас, – раздается мягкий мужской голос.

Теодор недоуменно прерывает свою горячую речь.

– Это Генри Карлайл, – поясняет трубка. – Простите, я набираю вас уже полдня и, видимо, не вовремя.

– Нет, я... – Теодор трет переносицу и вздыхает. – Я не люблю телефоны. Надеюсь, что вам надоест названивать, и вы бросите эту затею.

Генри Карлайл снова смеется.

– Прошу прощения, мистер Атлас! – говорит он радостно. – Я не думал, что потревожу вас настолько сильно.

– По вашему голосу этого не скажешь, – замечает Теодор. И добавляет, мысленно надеясь, что Карлайл оставит его в покое: – Бен гораздо более приятный собеседник.

– Понимаю. Но я хотел поговорить именно с вами.

Надежды Теодора рушатся, как уже упомянутая крепостная стена замка Пенденнис. Сейчас он с радостью отправил бы к ней и зрителя галереи, но правила приличия диктуют другое.

– Хорошо, – отвечает он. – Телефонные разговоры мне тоже не

нравятся, так что будет лучше, если вы приедете в лавку. Или в бар на Камбэлтаун-уэй. В пять вечера.

Генри снова хмыкает, и Теодор раздражается еще больше. Наставительный голос Бена в голове сердито цедит: «Будь вежливым, Теодор! Это не какой-то сноб с выставки, это смотритель художественной галереи, с которым тебе нужно считаться».

– Простите, мистер Атлас. Но я бы хотел пригласить вас в свой дом на частную беседу.

– Что?

– Сегодня, в шесть часов. Это недолгий разговор, и, если вы никуда не спешите, я приглашаю вас на ужин.

Теодор не знает, диктуют ли правила приличия согласиться на эту встречу, но откровенно послать с таким предложением Генри Карлайла он не может. В конце концов, вечерняя беседа в гостях, увы, не считается преступлением, иначе Атлас давно отправил бы к фоморовым чертям всех без исключения дружелюбных англичан города.

– Мистер Атлас? Будем только я, вы и моя дочь. Никого лишнего.

Все хуже и хуже. Теодор скрипит зубами и тут же спохватывается, надеясь, что по телефону его состояние не передается.

– Я слышу вас, Генри. Хорошо, если вы так настаиваете...

– Да, я настаиваю, мистер Атлас, – говорит Генри чуть резче, чем того требует ситуация. И интригует еще больше. – Пенроуз-роуд, дом сорок восемь. В шесть.

Пенроуз-роуд, сорок восемь. Оттуда рукой подать до МакКоула-младшего. Прекрасно.

– Хорошо, Генри. Я приду.

– Спасибо, мистер Атлас. Я буду ждать.

Разговор обрывается короткими гудками. Теодор вешает телефонную трубку на рычаг и устало откидывается на спинку дивана. Определенно, это странный день.

Что вообще могло понадобиться Генри Карлайлу? Их общение всегда сводилось к делам аукционов и выставкам в художественной галерее, хотя смотритель нередко и с удовольствием отмечал ценные знания Теодора. К возмущению многих чванливых любителей искусства, Генри видит в Атласе знатока, о чем без страха говорит остальным. Пожалуй, только из-за этих взаимных симпатий Теодор и согласился на встречу.

Он поговорит с Карлайлом и тут же уйдет за барную стойку к Саймону. И если судьба будет к нему благосклонна, странную девицу Клеменс даже не увидит.

* * *

Дом на Пенроуз-роуд отыскивается не без труда. Привыкший к уединению Теодор с неудовольствием отмечает одинаковые желтовато-серые двухэтажные домики с красной черепицей по обе стороны улицы. Они жмутся друг к другу, что весьма обычно для английских городков, и вызывают чувство клаустрофобии при первом же взгляде.

Дорога лениво поднимается в гору и приводит Теодора к сорок восьмому дому – такому же, как и сорок семь предыдущих его копий. Невысокая каменная ограда, два тонких ствола липы во дворе, выпирающие пятиугольниками эркеры на первом этаже и крыльцо с узкими ступеньками. От остальных домов на этой улице – да и на любой другой в их несчастном городишке – этот отличается лишь темно-зеленой, а не красно-кирпичной крышей и светло-зелеными ставнями окон второго этажа.

На вопрос, который Теодор сам себе задает половину дня, теперь не находится ответа. Какого черта ноги привели его в дом Генри Карлайла, и нельзя ли было засунуть свое любопытство куда-нибудь подальше и позвать зрителя в менее пугающее место?

Проклиная себя, Теодор стучит в деревянную раму зеленой же входной двери.

Жаль, Бена задержала учеба и теперь некому будет вытащить задницу Теодора из этой передраги.

В доме раздаются грузные шаги хозяина, дверь открывается и являет взору хмурого Теодора самого Генри.

– Мистер Атлас! Спасибо, что согласились прийти. Проходите!

Карлайл довольно улыбается, так что Теодору тоже приходится одарить его ответной ухмылкой. На большее он не способен.

– Вы как всегда пунктуальны, – отмечает Генри и пропускает его в узкий коридор, залитый теплым комнатным светом. – Проходите в гостиную, это вперед и направо. Я пока приготовлю вам чашечку чая, если желаете.

– Я не пью чай, – отказывается Теодор. Бен в его голове ворчит и пускается в долгие поучительные наставления насчет пользы чая во время дружеской беседы. – Но от кофе не откажусь.

Генри кивает и снова улыбается. Порой кажется, что этот человек все делает с удовольствием. Теодор не может его понять.

– Разумеется. Покрепче? С сахаром?

– Без него, если можно.

Генри уже идет в кухню – белая дверь в самом конце коридора распахнута, и оттуда тянет ароматом запеченного мяса, – когда Теодор добавляет:

– Спасибо.

Одобрительно хмыкнув, Карлайл скрывается в кухне и гремит там посудой. «Только бы не растворимый!» – думает Теодор, проходя в гостиную. Уставленная мягкими креслами в тон широкому светлому дивану, столиками с торшерами, светло-бирюзовые плафоны которых заставляют серьезно задуматься о любви хозяина дома к зеленому цветку, и залитая закатным светом из широких окон, комната выглядит тесной, под стать дому. Теодор хочет поморщиться, но вместо этого садится на диван и вдруг замирает. Прямо напротив него над каминной полкой висит картина.

Сидящая у пруда рыжеволосая девушка, запрокинув голову, поправляет длинные прямые пряди. Глаза ее закрыты. Вокруг – кувшинки и зелень, даже изогнутый ствол ивы отдает зеленым. У девушки длинное светло-голубое платье с золотой вышивкой и красные цветы в волосах.

«Офелия у пруда», Джон Уильям Уотерхаус.

Теодор встает и подходит к камину. Картина висит немного выше уровня глаз, чтобы смотреть на нее можно было с дивана или кресел, так что вблизи ему приходится поднять голову. Краска на полотне заметно выцвела серо-зеленой вертикальной полоской, а по краям пошла мелкими трещинами.

Несомненно, это копия, срисованная с оригинала чьей-то умелой рукой. С оригиналом Генри Карлайл не стал бы обращаться столь жестоко.

Но, стоит отметить, картина довольно неплоха.

– Вижу, вас заинтересовала леди, – прерывает немой монолог голос Генри. Теодор не оборачивается – слышит лишь, как позвякивают чашки, – и Карлайл подходит к нему.

– Хорошая копия, – невольно признается Теодор. Его мозолистые пальцы скользят вдоль тонкой золоченой рамы и касаются полотна. Облупившаяся краска приятно трогает кожу.

– Оригинал, к сожалению, уже довольно давно никто не видел, – вздыхает Генри. – Три года назад я слышал, что он находится в частной коллекции у какого-то итальянца. Выставлять его на публику он почему-то не желает.

– Могу его понять, – усмехается Теодор.

Его взгляд натывается на инициалы в самом углу картины: «К. К». Это удивляет: копиисты, как правило, не подписывают свои работы столь явно.

– Я не знал, что вы поклонник Уотерхауса, Генри, – тянет Теодор и оборачивается, встречая смеющиеся глаза Карлайла.

– Не я, – качает он головой. – Моя дочь. Увлекается прерафаэлитами, с тех пор как ей исполнилось тринадцать. Но вас, конечно, сложно победить в любви к Милле и его компании.

– Что вы сказали?

Генри спешит объясниться.

– Я полагаю, вы самый большой поклонник прерафаэлитов на моей памяти, спорить не стану...

– Нет, я не об этом, – обрывает Теодор. Курьезность ситуации не забавляет – пугает. – Это написала ваша дочь?

Когда Карлайл кивает, не сдерживая гордой улыбки, Теодор поджимает губы. Он не любит подобный жест, к такому обычно прибегает Бен, когда одолеть Атласа в честном споре у него не выходит. Но сейчас только это может выразить все его раздражение.

Девчонка с именем Клеменс, увлеченная рыжеволосыми женщинами с картин прерафаэлитов – совпадение не из приятных.

Не замечая его угрюмого настроения, Генри пускается в объяснения:

– Раньше я считал, что всему виной образы властных женщин с трагическими судьбами – ну, вы понимаете, максимализм переходного возраста, драмы, крушение идеалов... Но Клеменс прошла художественную школу, а потом подалась в искусствоведы. Эту картину она подарила мне после окончания третьего курса, сказала, что писала ее на конкурс. Выиграла.

Теодор возвращается к дивану и грузно садится. На столике перед ним – дымящиеся чашки с кофе на маленьких круглых блюдцах. Атлас берет одну и делает большой глоток, обжигая язык. Вкуса не чувствуется.

Он недовольно хмурится, отставляет в сторону чашку. Его излишняя раздражительность всем сегодняшним днем только мешает.

– Надеюсь, не слишком крепкий? – участливо спрашивает Генри, присаживаясь в кресло рядом. – Варил на огне, не люблю новомодные кофеварки.

Это заставляет Теодора улыбнуться.

– Вы почти убедили меня в том, что прийти к вам было неплохой идеей, – с усмешкой заявляет он. Послевкусие от кофе Генри терпкое, с оттенком миндаля. Зря он переживал: зритель художественной галереи не может травить свой организм растворимой бурдой.

– Что ж... – тянет Генри. Его голубые глаза лукаво улыбаются, вокруг губ появляются мягкие морщинки. – Надеюсь, индейка в винном соусе

убедит вас окончательно, мистер Атлас.

Расслабленное тело Теодора наливается свинцом.

– Генри, вы пригласили меня поговорить, я не имею намерений...

Его прерывает электронный звонок из кухни, и Карлайл, словно спохватившись, весьма резко вскакивает и выходит из комнаты, оставив Теодора изображать негодующую рыбу в одиночестве. Он открывает рот, чтобы прокричать свое твердое «нет» вслед назойливому – и даже вкусный кофе и копия «Офелии у пруда» не смогут этого изменить! – зрителю.

– Мистер Карлайл, я не могу остаться! – кричит он. Вместо ответа из кухни доносятся грохот и звон посуды.

Что за игры? Теодор с самого начала подозревал, что разговор не сулит ему ничего хорошего. Нужно было дождаться Бена, взять его с собой и оставить на ужин вместо себя.

Вздохнув, Атлас идет на кухню вслед за хозяином дома. И застаёт Генри за разрезанием большого куска ароматного мяса в специях. Завернутое в фольгу, оно приятно хрустит и лопается под лезвием ножа.

– Генри, – повторяет Теодор более настойчиво, – я не могу остаться, тем более нарушать вашу семейную идиллию.

– Нет-нет, в этом все и дело. Моя дочь хочет познакомиться с вами, мистер Атлас.

Генри заканчивает с мясом, ставит блюдо на середину круглого стола, а сам поворачивается к полкам, чтобы взять с них тарелки и столовые приборы. Теодор замирает в дверях, прислонившись плечом к косяку, и не может заставить себя пошевелиться.

Все это хуже некуда.

– Клеменс сейчас пишет работу... Она заканчивает историю искусств в Эколь дю Лувр, – поясняет Генри, ошибочно принимая молчание Теодора за интерес. – Я упомянул вас однажды в нашем с ней разговоре, подумал что вы могли бы помочь ей... Понимаю, это несколько нагло с моей стороны, да еще и принижает мои собственные познания, – добавляет он. – Но я увлечен греческой мифологией, вы знаете, а Клеменс интересуется ирландский фольклор. И, насколько я помню, вы писали большую работу на эту тему...

У Теодора на уме только одно слово. Отвратительно.

Это отвратительное развитие событий.

– Генри, если вы полагаете, что я, как ирландец, об истории своей родины знаю немного больше обычного англичанина... – голос начинает опасно дрожать, недовольство, все это время нарастающее в груди, как снежный ком, теперь булькает где-то в гортани, – то поверьте, в ирландском

фольклоре я понимаю столько же, сколько и вы, а в силу моей раздражительности, скорее всего, еще меньше.

– С этим я согласиться не могу, – настаивает Генри. Теодор невольно понимает, что упертости в зрителе гораздо больше, чем он предполагал. – Я знаю о вашем увлечении мифологией Ирландии, Шотландии и Уэльса. Лет семь-восемь назад, насколько я помню, вы искали книги про ведьм, верно? Смею предположить, вы нашли то, что искали.

Он ошибается. Тогда Теодор не нашел разгадки, только потратил время зря, и теперь под крышей над их с Беном квартирой проживает целый архив из книг, газетных вырезок и журналов столетней давности, посвященный ведьмам и колдунам.

– И тем не менее, – добавляет Генри, виновато качая головой, – я понимаю ваше недовольство. Мне следовало бы сначала попросить вашего согласия. Я надеялся, что мы могли бы поговорить обо всем во время ужина. Если вас не заинтересовало это предложение – в чем ни я, ни моя дочь вас не упрекнем, – вы все равно можете остаться и поужинать с нами.

– Я не заинтересован, – тут же отвечает Теодор. Резко, категорично, сразу же лишив Генри Карлайла возможности пуститься в уговоры. И нехотя договаривает: – Прошу прощения. Из меня плохой наставник и плохой собеседник. Не думаю, что у нас с вашей дочерью выйдет конструктивный диалог.

Он быстро кивает, отрывает себя от дверного косяка и разворачивается, чтобы сбежать из этого тесного дома с его улыбчивым и не в меру гостеприимным хозяином.

И сразу же натывается на серо-зеленые глаза, сердитую морщинку на лбу и сведенные к переносице темные брови.

Ее четко очерченные губы сжимаются в тонкую яркую полоску.

– Вы даже не дадите мне шанса? – спрашивает Клеменс Карлайл, стоя в проеме двери прямо перед Теодором.

4. Цитрусовый пирог с мятой

Теодор сидит напротив девицы Клеменс Карлайл по правую руку от ее отца и совершенно не понимает, как так получилось, что он согласился. Эта странная особа – ведьма, не иначе.

– Вы даже не дадите мне шанса? – спрашивает она, хлопая длинными темными ресницами. От нее пахнет мятой и жасмином, и Теодор хочет защититься от этого запаха, попросту закрыть нос и рот руками, потому что...

Потому что этот аромат возвращает его в портовый городок на берегу океана, где всегда пахло соленой влагой, лесом, полевыми травами и полынью, а в доме почти у самого берега – мятой. Там подавали травяной чай в глиняных чашках и смотрели на него светло-зелеными, почти прозрачными глазами, и улыбались четко очерченными губами, чей цвет контрастировал с бледной кожей и казался нереальным. Там было тихо, спокойно и тепло так, как не бывает нигде на свете, и там он был счастлив, там время замирало и переставало существовать.

Теодор с трудом открывает рот, чтобы ответить совсем молодой девушке – румяное лицо сердечком, мягкие скулы, широко распахнутые наивные глаза, тонкие губы – и не может выдавить из себя ни слова. Звуки застревают в горле, а его самого ведет так сильно, что он хватается рукой за косяк двери, боясь не удержаться на ногах.

Клеменс Карлайл носит имя, которое ей не принадлежит, смотрит на него глазами, похожими на те, которые он не хотел бы вспоминать, и пахнет так, как пахнуть не должна.

– Я понимаю, вы, наверное, обескуражены такой просьбой, – говорит она. Ее голос струится водой, огибающей все преграды. – Но поверьте мне, я не доставлю вам особых хлопот! Я очень быстро все схватываю, у меня отличная память, и мне не нужно повторять дважды, и я умная, правда, мне от вас почти ничего не надо, только чтобы вы немного помогли и направили меня в нужную сторону, и я...

– И вы очень много болтаете, – перебивает Теодор. Он не хочет слушать бессвязные речи этой юной особы и с удовольствием прервал бы ее куда более резкими словами. Но за ними стоит Генри Карлайл, а выглядит в его глазах грубияном Атлас не желает.

– Да, вы правы, – тут же соглашается девушка. Поправляет волосы, прикусывает губу. Смотрит на него, не отводя глаз, и Теодор ничего не

может с этим поделаться – она кажется ему неуловимо знакомой, хотя все утро он отговаривал себя от этой грезы.

– Я не учитель и не наставник, – повторяет Теодор. – За этим лучше обратиться к моему другу, Бену Паттерсону. Но вы, как я понимаю, не интересуетесь медициной и биологией, а ничего другого я предложить вам не могу.

– Знаю, – кивает она и прямолинейно добавляет: – Я уже говорила с мистером Паттерсоном сегодня утром. Он сказал, что вы мне поможете...

Теодор шумно втягивает носом пропахший жареным мясом воздух. О, он убьет Бена!

– ...Но, видимо, ошибся. Да?

– Да.

Ему стоит огромных усилий не раскрошить керамическую чашечку, все еще покоящуюся у него в ладони. Девушка вздыхает и протягивает ему руку.

– Что ж... Позвольте хотя бы угостить вас ужином. Папа приготовил индейку по своему фирменному рецепту, вы не можете от нее отказаться.

И вот он сидит напротив девицы Карлайл и, надо отдать должное Генри, ест потрясающе аппетитную индейку под винным соусом. И уговаривает себя, что согласился только из-за зрителя. Теодор уважает Генри и хочет сохранить с ним дружеские отношения, если их отношения вообще можно назвать таковыми.

А его дочь, сидящая напротив, только раздражает.

– Вы специально встретились с Беном? – спрашивает Теодор, не поднимая головы от своего блюда. Девушка не отвечает, и ему приходится бросить на нее короткий взгляд. – Клем...

Оказывается, произнести это имя труднее, чем он думал. Что ж, значит, девица обойдется без него.

– Нет, мы совершенно случайно пересеклись в фойе университетской библиотеки. Он говорил с кем-то по телефону, упомянул ваше имя, и я подошла спросить про вас.

Теодор медленно опускает вилку и хмурится.

– Папа рассказывал, что вы самый большой знаток ирландской мифологии, а значит, и фольклора, – добавляет она. Теодор замечает, что говорит она все тише и тише – значит, не уверена в себе или своих словах, что ему только на руку. Будь она упертой, как ее отец, хлопот было бы

больше.

– При всем уважении, – кивает он в сторону Генри, – ваш отец забыл упомянуть, что, несмотря на мои личные интересы к кельтской культуре, делиться знаниями с кем бы то ни было я не собираюсь. Повторяю, миледи, я не учитель.

За столом повисает неловкая тишина. Теодор кожей чувствует смущение Генри и недоумение его дочери. Бен бы уже рвал на себе волосы, извинялся всеми возможными способами и предложил бы выпить по чашке чая, будь он неладен. Теодор, слава Морриган, смехотворной любви к «Эрл Грею» не испытывает.

– Миледи? – насмешливо повторяет девушка. Они с Генри переглядываются так, словно читают мысли друг друга, и оба одинаково лукаво улыбаются. – Из какого вы века, мистер?

Теодор делает глоток воды, как вдруг кашляет и проливает на себя полстакана. Генри вскакивает, чтобы принести полотенца, девушка, охнув, отнимает у него тарелку. Ее руки с парой колец на пальцах мельтешат перед глазами Атласа, пока вода медленно стекает с края стола.

– Мы сегодня так уже не говорим... – хмыкнув, улыбается она. Теодор сминает в руке влажную салфетку и молчит.

– Да, – соглашается вернувшийся Генри, – верно, не говорим! Но, может, должны?

Они с дочерью снова смотрят друг на друга, будто находятся здесь вдвоем, а потом девушка оборачивается и смотрит прямо на Теодора, и он не успевает отвести глаз.

– Может, должны... – задумчиво повторяет она. Забирает из его рук промокшую салфетку и наконец отодвигается.

Генри ставит на освободившийся стол горячий пирог. От него пахнет лимоном и корицей. Теодор начинает думать, что слишком задержался в этом гостеприимном доме.

– Прошу прощения, – с неохотой вспоминая уроки Бена, говорит он и в очередной раз мысленно недоумекает, как вообще можно было согласиться на этот вечер. – У меня много дел.

– Но, мистер Атлас!.. – восклицает девица. – А как же...

– Мы уже все разъяснили с вами, мисс, – отрезает Теодор и спешит добавить, предупреждая вопрос: – И я не ем сладкое.

Она поджимает губы. Оборачивается к Генри – видимо, за поддержкой, но тот пожимает плечами и, все еще слабо улыбаясь, прикрывает глаза. Тот же.

– Что ж... – Теодор встает со стула, хлопает себя по коленям,

обтянутым узкими темными брюками, и тут же кривит губы, поймав себя на этом ненужном заправском жесте. – Спасибо за ужин.

Он направляется к выходу, огибая девицу, словно ее тут и нет, и оборачивается уже в дверях.

– Мне жаль, что ваши усилия не оправдались, мисс, но эта затея с самого начала была провальной, так что не корите себя.

Атлас кивает стоящему у раковины Генри, мажет по лицу его дочери косым взглядом и выходит. Клеменс остается стоять на месте и слышит, как сердито хлопает входная дверь.

– Я не понимаю, – кусая губы, произносит она, – я обидела его? Когда я успела ему не понравиться, если мы толком и не поговорили?

Генри качает головой.

– Я говорил тебе, Бэмби, мистер Атлас не из тех, кто с радостью идет на контакт. Он не особо любит...

– Людей? Это видно.

Клеменс скрещивает на груди руки в манерном жесте, который переняла у матери, – она злится. Генри ставит грязные тарелки в раковину, молчит и делает такой вид, будто это был обычный ужин, а Клеменс расстраивается еще больше. Почему только она придает значение тому, что ее отверг, возможно, лучший кандидат на роль наставника? При всем уважении и любви к своему отцу, она не может сказать, что Генри поможет ей так, как мог бы помочь Теодор Атлас.

– Ему понравилась твоя Офелия, – говорит вдруг Генри.

– А?

Он смотрит на дочь, щуря голубые глаза, и улыбается одними уголками губ. Клеменс охает.

– Правда? – спрашивает она, не скрывая радости. – Значит... Пап, я сейчас вернусь!

Она убегает, на ходу хватая ключи от машины с полки в коридоре.

– Не ешь пирог без меня, я скоро!

Клеменс вылетает из дома и оглядывается по сторонам. Если Атлас приехал на машине, ей придется гнаться за ним до самой антикварной лавки, а это уже напоминает преследование. Ей бы не хотелось записаться в сталкеры нелюдимого Теодора, но, черт возьми, ему понравилась Офелия!

К счастью, гость пришел на своих двоих: его темная фигура еще маячит в начале улицы. Клеменс крепче сжимает в руке ключи и срывается с места.

– Мистер Атлас!

Только не это. Теодор ускоряет шаг, молясь всем богам, чтобы

кричащее, наглое и совершенно невоспитанное существо убралось с его пути куда подальше. Его терпение закончилось еще в доме, так что теперь – прости, Бен, – говорить он с девицей будет на том языке, который понимают даже пропойцы старых переулков ирландского Трали.

Теодор оборачивается как раз в тот момент, когда девушка с разбегу врезается ему в грудь.

– Ой! Простите. – Она отскакивает, словно обжегшись, смотрит сначала на свои руки, потом на него. – Это вышло случайно, вы так резко остановились, а я думала, что...

– Вы все еще слишком много болтаете для своих юных лет, – обрывает Атлас. Затем хватает ее за плечи и отодвигает подальше от себя. Так поспешно, как только позволяют ему приличия.

– Нет, я просто... – Она запинается, поддегивает сползший рукав свитера и поднимает глаза. – Я не хотела на вас падать.

Девушка замолкает и смотрит на Теодора.

– Хорошо, – вздохнув, кивает он. – Это все?

Поразительно, но уходить девица по-прежнему не собирается. Вместо этого она качает головой и открывает рот, из которого тут же льются слова, слова складываются в предложения, предложения комкаются в неразборчивый лепет, который сложно понять даже в ином, чем у него, состоянии. Теодор же злится на весь белый свет за то, что судьба свела его с говорливой особой по имени Клеменс, и вникать в ее бред он категорически не желает.

– Мистер Атлас, я понимаю, вам наплевать на меня и мою работу, и даже если я встану на колени – чего я делать точно не собираюсь, не волнуйтесь, – вы можете послать меня ко всем чертям и отказаться. Я знаю, что вы самый недружелюбный и замкнутый человек в этом городе, но, к несчастью, только вы обладаете знаниями, которые мне нужны. Считайте меня зомби-монстром, или каким-нибудь кракеном, или кем-то-еще-неважно-кем, только мне жизненно необходимо получить ваши мозги.

Она запинается, переводит дыхание, а Теодор трет переносицу, чувствуя подступающую мигрень. Фомор бы побрал эту девицу вместе с ее отцом. Симпатия к Генри Карлайлу только что стала для Теодора несущественной и проиграла огромному минусу: наличию у него приставучей дочери.

– Я не буду липнуть к вам на каждом шагу, уверяю! – продолжает она. Теодор готов пустить себе пулю в висок, лишь бы она заткнулась. – Если хотите, мы заключим с вами договор – на ваших условиях, каких пожелаете, – и я буду следовать ему и слушать вас беспрекословно! Я не

буду надоедать вам, обещаю!

– Сомневаюсь, – цедит Теодор, скрипя зубами. – Вы уже наговорили слов больше, чем я готов выслушать от вас за всю вашу жизнь.

Девушка замирает с приоткрытым ртом. Кусает губу, сжимает руками края свитера, ежится на ветру. Оранжевое закатное солнце бьет ей в спину, очерчивая мягкий силуэт. От нее пахнет мятой и цитрусовым пирогом, а сама она похожа на косточку апельсина, противно застрявшую между зубами.

– Вы же меня совсем не знаете... – выдыхает она.

Тело вмиг простреливает судорога боли. Будто все эти годы аккуратно, кропотливо возвращали ее в груди, чтобы одно неловкое упоминание вскрыло затянувшийся шрам и выудило наружу чистую голую злобу.

– Разумеется! – взрывается он. – И совершенно очевидно, что узнавать не собираюсь!

Теодор скидывает руки, словно хочет схватить ее и встряхнуть, задушить или оттолкнуть так далеко, как только возможно, чтобы она больше не смела подходить к нему и напоминать о том, что он поклялся забыть. Но вместо этого сжимает пальцы рук в кулаки, резко выдыхает и отворачивается.

Он идет прямо через дорогу – Пенроуз-роуд спускается на Джубили-роуд с такими же серыми зданиями не выше двух этажей – и не смотрит по сторонам, едва удерживаясь от того, чтобы снести чертовой девице голову со всеми ее пресловутыми мозгами.

– Атлас! – кричит она, и Теодор окончательно свирепеет.

– Вот что, дамочка! – рычит он, оборачиваясь. – Вы самая наглая, невоспитанная и глупая девица из всех, кого я когда-либо встречал, а подобных вам было немало...

Глупая невоспитанная девица вдруг делается бледнее смерти, распахивает и без того широкие глаза и неожиданно несется прямо на него. Снова. Теодор не успевает понять, что происходит: она налетает на него, толкает в грудь, взвизгивают тормоза, и оба они падают. Теодор ударяется спиной и затылком об асфальт. Девица оказывается на нем – тяжело дышит, дрожит и испуганно вскрикивает.

Темно-красный «Ситроен» скрывается за углом Джубили-роуд на повороте к больнице, и Теодор сомневается, что его хозяин великодушно доставил бы туда их обоих, если бы они пострадали.

Девица Карлайл вздыхает так, будто только что вернулась с того света.

– Господи, вы целы? – испуганно спрашивает она.

– Не поминайте Всевышнего всуе, это не Его заслуга, – ворчит Теодор.

От удара затылком мир плывет перед глазами, и ему требуется полминуты, чтобы прийти в себя. Лицо девицы распадается на две, три, четыре копии. Она скатывается с него, пересчитав локтями ребра, и он, чтобы отвести душу, мысленно обзывает ее парой непечатных слов, что несколько не умаляет ни злости на нее, ни раздражения на себя.

Они садятся: Теодор – прямо на тротуаре, она рядом. Выглядит потрепанной и напуганной почти до обморока, но целой, так что он быстро отводит глаза.

– Вы точно в порядке?

Теодор фыркает.

– Был бы в порядке, если бы вы не повалили меня на землю, – огрызается он. Правая лопатка саднит и набухает гематомой, он чувствует это под влажной от пота рубашкой.

– Ну, знаете ли... – возмущенно сопит девица. – Я вам жизнь спасла!

– Ничего подобного! – тут же взрывается Теодор. – Чтобы угробить меня, какого-то пьяного водителя недостаточно.

Она открывает рот, готовая снова разразиться эмоциональным словесным потоком, но почему-то замирает и щурит глаза.

– Вы что, черт возьми, бессмертный?

Теодор закатывает глаза. Как банально...

– Вообще-то да, – плоско объявляет он. Девушка – как и любой другой человек до нее – только недоверчиво качает головой. Теодор привык.

Он поднимается на ноги и стонет: спина раскалывается, он слышит, как хрустят внутри его двухсотлетнего тела кости. Перелом? Для бессмертного он слишком хрупок, если даже такая субтильная особа умудрилась раздробить ему кости об асфальт, всего лишь «спасая жизнь».

Теодор выгибается, растягивая позвоночник, от внезапной боли на его глазах выступают слезы. Девчонка даже не пытается встать на ноги.

– А теперь, – говорит Теодор, не обращая на ее шок никакого внимания, – поговорим о вашем несправедливом обвинении.

– Обвинении?

Приходится снова сесть и затолкать стон подальше в горло, чтобы девица восприняла его слова всерьез.

– Да, насчет спасения моей жизни. На вашем месте я бы не стал разбрасываться такими словами направо и налево.

Она сводит брови к переносице и кусает губу. Переводит взгляд с его лица на сгорбленную спину.

– Мистер Атлас, я думаю, вам нужно в больницу...

– Да черт бы вас побрал, мисс! – выкрикивает Теодор так, что она

вздрагивает. – Если вы еще не поняли, я нисколько не пострадал и ваша помощь мне не нужна. А теперь я попрошу вас забрать назад свои слова и не вспоминать об этом. Никогда.

Не поможет. Теодор знает, что теперь у него нет выбора: даже если от столкновения с «Ситроеном» на нем не осталось бы и царапины, эта наглая самоуверенная девчонка рисковала собой, чтобы его защитить, что означает только одно. И это приводит его в бешенство, какого он не испытывал со времен студенчества Бенджамина.

Черт бы побрал этот неписанный закон. Он бессмертный, он не обязан его соблюдать!

– Ну? – зло выдыхает Теодор, путаясь в своих же умозаклечениях. Девчонка несколько раз моргает, прежде чем выдавить из себя неуверенное:

– Я не понимаю, о чем вы...

Да пропади оно все пропадом! Теодор в долгу перед ней, даже если спасать его не было никакой нужды. А раз так, то...

– Хорошо, черт с вами, *мисс*.

– Простите?

В этот момент он ненавидит себя больше, чем ее.

– Я помогу с вашей работой. Тогда вы будете считать мой долг перед вами исчерпанным, *не так ли?* – Теодор настолько зол, что слова едва ему даются. Он шипит сквозь стиснутые зубы, забывая о всяком акценте.

Ее лицо все еще не выражает ничего, кроме растерянного испуга. Теодор давит, и у нее не остается иного выбора: она кивает, и неизвестно, кто из них двоих сейчас меньше верит в происходящее.

– Это странно, – наконец заявляет девушка, окончательно приходя в себя. Она встает, не сводя с Теодора напряженного взгляда. Тот тоже поднимается на ноги и сосредоточенно отряхивает брюки.

– Все это странно, а ваша реакция – в особенности. И вам явно надо в больницу.

Теодор бросает на нее косой взгляд, моля небеса, чтобы она сейчас же передумала и забрала свои слова назад.

– Вы похожи на сумасшедшего. Но это неважно, если вы согласны помочь, – договаривает она. Надежды Теодора рушатся вместе с его уверенностью в своей адекватности. Он в самом деле сумасшедший, раз идет на поводу у взбалмошной нахалки.

– Приходите в антикварную лавку «Паттерсон и Хьюз» завтра после обеда, – с неохотой говорит он. – Посмотрим, что вы знаете.

Клеменс радостно смотрит ему в глаза и даже не догадывается, что заключила сделку с дьяволом.

III. Базарная площадь в полдень

Дом, пропахший пряными травами и лесом, стоит на окраине города, если не сказать, за его чертой. Вокруг растут полевые цветы, из окон виден берег залива. Влажный ветер трогает вывешенное на заднем дворе белье, в воздухе эхом переливается колокольный звон маленькой городской церквушки. До базарной площади отсюда добрые две мили, и бог знает, кому в прошлом настолько опостылела городская жизнь, что он построил свой дом так далеко. Но Серлас с легкостью привыкает к уединению.

Просыпаясь, он первым делом открывает ставни и подставляет лицо соленому ветру. Заправляет узкую кровать и выходит во двор. Умывается водой из колодца, потом входит в кухню через заднюю дверь и приносит ведро с водой для мытья посуды. Вернувшись к себе, он с трудом стягивает с тела ночную рубаху и, подогнув правую руку, осматривает цветное пятно под повязкой. С каждым днем оно тускнеет, оставляя после себя только рубец шрама. Похожий тянется поперек его левой брови мимо века вниз по виску. Тонкая рваная полоса напоминает о потерянных годах жизни.

Серлас со всех сторон осматривает бок и накладывает смоченную в травяном настое повязку, потому что если этого не сделает он сам, то придет женщина, и обоим будет неловко. После этого, как правило, он слышит звон посуды в смежной с кухней комнате и приходит на помощь.

Женщина, спасшая его от позора и возможной гибели, поет песни. Каждый день новые. Они то звенят в свежем воздухе, вторя церковным колоколам, то льются вместе с колодезной водой из ведра в кадку, то дрожат искрами от поленьев в камине, разжигаемом вечерами. Серлас слушает их и отправляется в путешествие по дальним странам, где никогда не бывал, за моря и океаны, по которым не плавал и не видел даже, или уходит в глубь лесов, чтобы найти себя и то, что утеряно.

Темная глушь, в которую превратилась его память, похожа на подернутое туманами болото, и в нем не найти ответов, что приведут его к прошлому. Но когда хозяйка дома поет свои песни, туман становится бледнее, а водная гладь – прозрачнее. И Серлас думает, что прошлое его близко.

– Ветер колышет ольху над водой, солнце и зной, лето и зной...

Этот голос не похож ни на один, который Серлас слышал – или мог слышать. Женщина вьет свои песни прямо из воздуха, собирает по слогам из влажной поутру травы и бог знает из чего еще.

Эти песни спасают его от боли и тьмы, сквозь которую не разглядеть ни тени.

– Нежные думы несет он с собой, ласковый солнечный зной...

Серлас входит в низкую кухню, запахивая старый суконный плащ, и останавливается в дверях. Женщина стоит спиной к окну – белые солнечные лучи наискось прорезают воздух до самого очага – и ее волосы крупными локонами струятся по спине и острым плечам. Светло-русые, с редкими нитями цвета осени, что видны только на солнце. Как сейчас.

Ее зовут Несса.

Нес-са.

Иногда Серласу кажется, что она ненастоящая, что он ее выдумал.

– Снова плохо спалось, Серлас? – спрашивает она, не поднимая головы. Ее руки с силой сминают ком теста, пальцы и кисти побелели от муки. Серлас моргает, прогоняя наваждение.

– Нет, миледи, – отвечает он хрипло. – Я спал прекрасно.

Несса бросает на него короткий взгляд и улыбается.

Она просит звать ее по имени и оставить этот неизвестно откуда взявшийся высокопарный тон. Но Серлас ничего не может с собой поделывать: язык спотыкается на простом имени, выдавая какофонию совершенно неизвестных роду людскому звуков. Словно весь мир запрещает ему произносить имя своей спасительницы губами, чей хозяин не знает даже себя.

– Я думаю посетить город после обеда, – говорит Несса. – Сегодня базарный день.

Пирог с патокой уже нежится в печи рядом с пряным мясом, и Серлас с удовольствием вдыхает аромат, от которого кружится голова.

– Я могу пойти тоже? – Он украдкой, пока не видит Несса, облизывает губы. Но она замечает и улыбается.

– Если бы не спросил, я сама бы тебя позвала. Только придется нам быть осторожными. Сегодня на площади будет много людей, и семья Конрада тоже придет.

Серлас кивает, чувствуя, как кости ноют от одного лишь воспоминания.

В город он ходил и до этого. Обычно Несса выбирала сухие и теплые дни, и когда вечернее солнце окрашивало крыши домов закатным маревом, запрягала в телегу тощую пегую кобылу и ехала в сторону площади. Серлас садился позади нее или рядом и морщился всякий раз, как колесо насакивало на камень и телегу подбрасывало вверх. Тяжело сраставшиеся ребра все еще давали о себе знать.

Спокойные вечера в городе не редкость, но Несса ищет самые тихие, чтобы не вызывать неудовольствия горожан и брать с собой Серласа. Они приходят на базарную площадь, огибая главную улицу, вдоль которой теснятся торговые лавочки, ростовщики и запоздалые крикуны-торговцы рыбой. Серлас старается не смотреть на помост для казней – ему кажется, что он видит там кровь даже спустя месяц после своего появления, – и шагает за Нессой до дома Ибхи, старой знахарки, с чьей дочерью Мэйв дружит травница. Там они на некоторое время прощаются: Несса заходит к Ибхе, а Серлас отступает в тень часовни и разглядывает оттуда уставших после трудового дня горожан. Иногда к ним присоединяются рыбаки с пристани. Они напиваются в ближайшем трактире и горланят свои песни.

Молчаливая память в такие моменты подкидывает Серласу слова из неизвестных ему строк, и он с трудом находит в себе силы молча наблюдать, оставаться незамеченным. Несса говорила, что Серлас не был английским подданным, не был солдатом и не убивал ирландцев. Что он был пиратом и оттого – врагом Англии, вот почему знал и морские легенды, воплощенные в рыбацких песнях, и гэльский говор. Серлас хмурился и кивал, чтобы только она прекратила тревожащие сердце речи.

Едва ли это могло быть правдой.

– Садись рядом, Серлас, – зовет Несса и хлопает бледной ладонью по доске козел. Солнце освещает дворик, прорезая резво бегущие по небу сизые облака, и его лучи падают вертикально вниз. Слишком рано для посещения города – там будет много людей.

Серлас неуклюже карабкается на телегу и шипит сквозь зубы, когда выгнутая балка чиркает его по боку. Несса подает ему руку, но он делает вид, что ее не замечает. Скоро ему придется обходиться без чьей-либо помощи, и лучше привыкать к этому уже сейчас.

Они выезжают на дорогу – продавленная колесами колея взбирается на холм и ведет к городу. Несса воркует с лошадью, поглядывает на Серласа. Тот кажется спокойным, хотя внутри него все сжимается от нехорошего предчувствия: людный Трали не примет его с распростертыми объятиями, и травницу Нессу, дочь Уны, снова оклеветают злыми наветами.

Он думает, что доставляет своей спасительнице слишком много хлопот. Он должен уйти.

– У нас заканчиваются и рыба, и мука, – неожиданно говорит Несса и смотрит на Серласа так, словно за это извиняется. – И даже масло подходит к концу, а Матильду надо бы подковать по новой, пока старушка ноги не потеряла. Я бы не просила тебя ехать со мной, если бы в этом не было большой нужды. В базарный день торговцы такие сговорчивые... Я хочу

купить у Делмы сразу два мешка муки, чтобы не таскаться за ней через месяц. Надеюсь, мы сторгуемся.

Она замолкает и поднимает к Серласу влажный взгляд. Светло-зеленые, цвета травы глаза ее смотрят неуверенно, будто просят прощения. Серлас с трудом заставляет себя открыть рот и ответить:

– Вам незачем объясняться, миледи. Я и сам не отпустил бы вас в одиночку.

Несса сминает руками поводья и кивает. Ветер шелестит травой им в спину, скручивает из волос Нессы русые кольца, в которых блестят яркие солнечные вспышки. Этот миг, несмотря на внутреннее беспокойство Серласа, до томления благостен и кажется ему средоточием мира – не земли, воды и неба, но тихого совершенного момента, который страшно спугнуть.

Когда они въезжают в город, все проходит. С Серласом остаются тревога и совестливое желание сбежать до того, как сердце откажется подчиняться ногам. Несса причмокивает Матильде и подгоняет телегу к кузнице. Там она спрыгивает с козел и стягивает поводья с шеи кобылы.

– Я помогу, – отзывается Серлас. Вдвоем они распрягают лошадь, наклонившись, сталкиваются лбами и смущенно ойкают. Матильда фырчит прямо у них над головами.

– Я вроде подковал твою старушку на той неделе, – басит кузнец Финниан, и Серлас, дернувшись, оборачивается.

С кузнецом он старается не сталкиваться ни взглядом, ни словом: с тех пор как он объявился в городе чужеземцем, местным жителям нет покоя, а нелюдимому кузнецу, которому любая живая тварь дороже человека, Серлас кажется еще и опасным. Иногда Серлас думает, что, не будь рядом Нессы, он при первом же удобном случае получил бы по спине палкой.

– На славу подковал! – хвалит Несса, убирая за уши витые кольца волос. – Но ей тяжело уже столько стали на себе таскать. Сжался над нею, а?

Грузное, словно выточенное из того же металла, что и его изделия, лицо кузнеца медленно разглаживается, морщины мельчают. Он отводит темные глаза от Серласа и кивает Нессе.

– Что ж сразу не сказала, – ворчит он для вида. – Животина бы столько не мучилась.

Несса улыбается, и наблюдающий за ней Серлас думает, что на солнце ее улыбка становится еще более мимолетной и светлой.

– Мы вернемся через пару часов. Приглядишь за ней?

Финниан провожает травницу с ее молчаливым спутником угрюмым

взором. В городе о них ходят слухи. Болтают не только языкастые бабы на площади, но и мужики в пабах и даже мальчишки. Финниан не из тех, кто верит каждой байке из подворотни, но и он замечает, что не все сплетни произносятся ради скверного слова. Видя, как чужеземец прячет взгляд и тянется, словно пугливый дворовый пес, к травнице, кузнец думает, что на сей раз горожане правы.

В базарный день Трали гудит, как пчелиный рой. Людей на площади в несколько раз больше, чем, кажется, город может в себя вместить. Старухи жмутся вдоль главной торговой улицы, хриплыми голосами зазывая всех отведать домашних овощей и зелени, старики, приведшие на продажу скот, вторят им вместе с колокольчиками на шеях коров и коз. Женщины ругаются, еще не дойдя до рынка, дети бегают в ногах взрослых и смеются и плачут так, что все сливается в единое «у-у-у». Серлас морщится, когда проходит мимо горластой торговли рыбой.

– Позже возьмем у нее остатки, – шепчет Несса прямо ему на ухо – только так и расслышишь. – Сейчас с нее ни монеты не стрясеешь, цену непомерную ставит. Было бы, за что столько платить...

Почти у каждого здесь есть прибыль от океана: город кормится за счет рыбы, а еще картофеля и других овощей, возделанных на своей земле. Остальное доставляют по воде или везут из других городов, и ждать таких поставок приходится месяцами. Иной раз, говорит Несса, повозок из Дублина не видать по полгода. Серлас только хмурится.

Воистину забытый между океаном и сушей городок.

Несса приводит Серласа к площади, огибая многолюдную улицу, и останавливается в тени острого пика часовни. Здесь пахнет всем и сразу: рыбой, травами, мелким скотом, людским потом и молоком. Серлас старается не смотреть по сторонам, пока Несса радостно оглядывает многоликую толпу.

– Вон и мельник! – восклицает она. – У-у, с женой пришел, придется поторговаться! Пойдем?

Они пробираются к увесистым мучным мешкам мимо четырех кривых коз – те слишком старые, чтобы давать молоко, и слишком тощие, чтобы стать мясом. Неизвестно, как много сможет выручить за них старый Абрахам. Серлас косится на него, пока тот не видит, и замечает большую, чем обычно, хромоту и опухшее лицо. Говорят, жена поколачивает его за пьянство, хотя Серлас подозревает, что в женской руке не может быть столько силы.

Он отстает от своей спутницы всего на пару шагов, когда слышит ее неожиданно сердитый голос:

– Прежде чем вешать на человека обвинения, потрудись доказать их, Дугал Конноли!

Все тело Серласа, все мысли Серласа, весь Серлас вмиг оборачивается к широкоплечему, рыжему, как угасающий огонь в очаге, Дугалу, сыну Конрада. Человеку, которого он хочет бояться меньше, чем боится на самом деле. Невысокий, худой и бледный, рядом с Дугалом Серлас кажется самому себе слабым, но вырастает между ним и Нессой быстрее, чем успеваешь подумывать.

– Ты связалась с иноземцем, травница! – выплевывает Дугал. Сколько бы Серлас его не избегал, ирландец ненавидит его все так же. За преступления, которых Серлас не совершал, и за горе, которому не был виной.

– Да пусть хоть с шотландским беглецом, Дугал! – вспыхивает Несса, выглядывая из-за узкого плеча Серласа. – Он не английский выродок, не убийца, пусть ты клеветнешь на него на каждом углу! Никто больше тебе не поверит, ведь ты врешь!

Дугал не отвечает. Внезапно он тянется к ним одним дерганым движением, будто рвется из пут, связавших его по рукам и ногам, и Серлас отшатывается, вдруг ощущая, как непозволительно близко прижимается к Нессе.

– Не прикасайся!

Его ладони вмиг становятся влажными. Под ребрами бьется, словно кузнечный молот, сердце. Он хватается Нессу за руку и сжимает ее.

Никогда еще он не мог позволить себе коснуться ее руки, а теперь, о, теперь стискивает ее до хруста тонких нежных пальцев, но даже не может насладиться этим.

– Ты!.. – Из рта Дугала вырывается не крик – шипение, граничащее со звериным рычанием, и весь он становится еще больше, шире. Его тень закрывает от Серласа и мельника с женой, и торговцев рыбой, и даже часовню на краю площади. Позади него безмолвно и терпеливо ожидает знакомый помост. Серлас думает, что, если сейчас он скажет одно неверное слово, его опять втащат туда силой.

И на этот раз он не отделается одними только плетями.

– Я не сделал тебе ничего дурного, – говорит Серлас, моля всех богов, которые могут услышать, чтобы голос его не дрогнул. – Оставь эту милую женщину в покое. Пожалуйста, оставь нас.

Вокруг них расступается люд, гул голосов смолкает. Тихая просьба становится оглушительной. Несса кладет свободную руку на плечо Серласа и слабо дышит, так что каждый ее выдох щекочет ему за ухом.

– Умоляй, проси, выродок! – скрипит зубами Дугал. – Я тоже просил! Пощадили вы мою мать? Оставили нас в покое?

– Я не причинил вреда ни одной душе в этом городе, – говорит Серлас. Спокойный его голос кажется чудом, но не спасает.

Все вокруг сужается до осязания, обоняния, слуха и зрения, все смыкается вокруг него. Серласу сложно дышать. Дугал стоит напротив, взглядом выгрызая в нем дыру.

Почему все наблюдают, но не вступаются? Пусть он чужеземец, чужак в их городе. Но Несса...

Несса вырывает свою руку из его пальцев и встает рядом.

– Оставь нас, Дугал Конноли.

Серлас чувствует, как его покидают остатки уверенности, и даже стоящая рядом женщина не способна придать ему сил для победы в этом неравном бою. Ребра стонут и отзываются остаточной болью, словно у них есть память.

– Серлас не виноват, – говорит Несса. Оборачивается к горожанам и повторяет, как молитву: – Серлас не виноват в войне, как не виноват ни один из нас, верно?

Только теперь все начинают роптать. Недовольные голоса слышны издалека, согласные шепчутся рядом, их гомон, как морские волны, встречается где-то посередине. Серлас не может отвести напряженного взгляда от замершего, точно зверь, Дугала, но Несса оглядывается по сторонам и встречает все больше светлых лиц.

– Скажите же то, что думаете! – восклицает она уже увереннее. – Серлас невиновен!

Жители Трали не способны на зверства, они миролюбивы и ценят спокойствие. Гнев Дугала впивается в их сердца, как ржавый гвоздь, но за пришедшего из ниоткуда человека без прошлого вступается травница, которой не доверяют и боятся, – на чашах весов лежат почти одинаково весомые доводы.

В конце концов тревожный шторм голосов сходит на нет и стихает.

– Невиновен он, – вдруг произносит зычным голосом Делма, жена мельника. Тучная женщина с пухлыми руками, ногами и щеками, от которой всегда пахнет выпечкой. Серлас выдыхает, чувствуя огромную к ней благодарность.

– Да, но в городе его оставлять... – вторит ей мужской голос. – Он же не из этих земель, сразу понятно. Пусть и говорит по-нашему, говор все же не тот! Еще и без памяти, таких сторониться надо!

К этим словам эхом присоединяются другие, они обрастают новыми,

толпа гудит и заключает Серласа в кольцо, из которого невозможно вырваться.

– Пусть уходит! – шепчет народ. – Пусть уходит из Трали!

– Уходи прочь! – шипит притихший Дугал. Серлас поворачивает к нему болезненно-бледное лицо и не может не страшиться того, что сулит ему сам дух этого человека.

Несса стискивает его дрожащую руку своей.

– Но ему некуда пойти, как вы не понимаете... – молит она тихим голосом. Потом выдыхает, набираясь уверенности, и, не глядя на Серласа, шагает вперед.

– Не надо.

Он даже не думает, откуда в нем берутся силы и смелость сказать это. Снова бушующая площадь становится молчаливым слушателем, а Несса замирает и оборачивается.

– Если вам станет спокойнее, – говорит Серлас, – я уйду.

Он не замечает больше ни Дугала, ни разом побледневшей Нессы. Она качает головой и повторяет сквозь прижатые к губам пальцы: «Нет, пожалуйста, куда же ты...». Серлас смотрит поверх голов столпившихся горожан на острый пик часовни и понимает, что сейчас самое время бежать прочь из Трали.

– Я благодарен вам за то, что вы меня приютили и не дали погибнуть, – тихо произносит он. Его голос растекается над площадью, как вода, и наполняет собой сам воздух. – Но оставаться и дальше, причиняя всем неприятности, я себе не позволю.

Как не позволит навлечь беду на хрупкую одинокую женщину, спасшую ему жизнь.

Он знает, что это правильное решение, вот только Несса хватает его за руку, привлекает к себе на глазах обомлевших жителей Трали, и, боги, теперь слухи точно не могут остаться лишь слухами! Серлас кажется себе безвольной куклой в ее руках, настолько он сейчас не ощущает себя.

– Пожалуйста! – выдыхает она. – Ты не можешь! Как только ты покинешь Трали, Дугал найдет тебя и убьет, точно убьет! Я не хочу, чтобы...

– Я чужой здесь, миледи. Я должен уйти.

Несса мотает головой, как капризный ребенок.

– Ты не обязан.

Серлас едва заметно улыбается, глядя на ее пальцы, мертвой хваткой сцепленные на его кисти.

– Я не хочу, чтобы вы страдали из-за меня.

– И я не буду! – восклицает она. В ее глазах, руках и всем теле столько силы, столько жизни, что Серлас забывает об опасности в лице Дугала, о толпе вокруг них, о всех тех, кто против него.

Несса зажмуривается, как перед прыжком в ледяную воду, и на выдохе шепчет: «Прости меня».

А в следующий миг неожиданно громко объявляет:

– Серлас останется в Трали. Он будет мне мужем.

5. Дьявол в антикварной лавке

Домой Теодор заявляется под утро. Налетает на стеклянную полку с фарфоровыми статуэтками эпох Минь-Цинь-Дзинь, так что те сердито дребезжат, потом спотыкается на смятом коврик перед потертым креслом. Вообще-то, кресло в лавке стоять не должно, – оно настолько старое, что не годится даже для антуража, но сколько бы Бен ни ворчал, выставить его вон Теодор не позволяет. Потому что, во-первых, в этом кресле можно с удобством наблюдать за прилавком из-за треногого комода, датированного девятнадцатым веком, который никого не привлекает. А во-вторых, оно иногда служит Теодору спальным местом, таким образом спасая его от винтовой лестницы.

Он грузно приземляется в кресло и растягивается, насколько позволяет пространство, на подлокотниках: затылком – на одном, саднящим копчиком – на другом. Над головой покачивается люстра с хрустальными подвесками. За высокими, от пола до потолка, окнами медленно проезжают одиночные автомобили. Свет их фар лениво скользит по щекам Теодора.

Ему не следовало соглашаться на встречу с Клеменс Карлайл, кем бы она ни была.

Тени от мебели ползут по стенам, провожая каждую машину, вытягивают пространство вдоль горизонта и ломают его по вертикали. Касаются разлапистых листьев комнатных растений в больших керамических горшках. Аспарагус? Спатифиллум? Цветы «женского счастья», за которыми Бен бережно ухаживает и каждые две недели протирает им листья.

Теодор вздыхает, утыкаясь лицом в протертую обивку кресла, когда реальность вдруг становится физически ощутимой: под потолком, заливая светом магазин и его самого, вспыхивает самая яркая люстра.

– Дьявол!.. – шипит Теодор, пряча глаза за отворотом пальто.

– Увы, нет.

Бен стоит в проеме двери, ведущей в коридор и к лестнице. Вид у него самый что ни на есть сердитый: руки сцеплены на груди, все тело – сжатая пружина, кудрявые волосы топорщатся в разные стороны.

– Ты видел, который час? – цедит он сквозь зубы. – Ты в курсе, что даже морги в такое время уже не работают?

Теодор стонет. Давненько Бен не пилил его за ночные прогулки, но ведь это не повод возобновлять никому не нужную традицию!

– Откуда тебе знать? Морг – последнее место, где ты будешь меня искать.

– Вот именно!

Бен шаркает по полу домашними тапочками, обходит тумбочки, столики и комод и оказывается рядом с Теодором. Дело дрянь.

– Только не начинай! – Вопреки желанию, в голосе Теодора слышится мольба. Слушать причитания Бена – все равно, что топиться в ванной. Бессмысленно и неприятно.

Из всех возможных смертей тонуть в бадье с водой Теодор выбрал бы в последнюю очередь.

– Саймон сказал, что ты покинул бар час назад! – взвинчивается Бен. – Где тебя носило столько времени?!

Иногда Теодор думает, что Бен ему достался вместо матери, которой он никогда не знал. Вряд ли Господь таким образом отблагодарил его за долгую-долгую жизнь – скорее, наказал за все прегрешения на годы вперед.

– Ну! – Когда ему не отвечают с минуту, Бен делается еще невыносимее и повышает голос на два тона.

– Что «ну»? Я... думал. – Теодор чешет щетинистый подбородок, прикрыв глаза – свет люстры впивается ему прямо в мозг.

– Думал? – хмурится Бен. Потом фыркает и снова скрещивает на груди руки. – И о чем же ты думал?

В мыслях Теодора плавают среди ароматов пирога с лимоном и жасминового чая образ приставучей словоохотливой девицы. Говорить о ней он не хочет. Не может.

Не будет.

– Думал, что если Бог и его наказания существуют, то со мной он повторяется. И это гнусно с его стороны, – растягивает слова Теодор. Замолкает на мгновение, переваривая собственные мысли. А потом открывает рот и неожиданно заводит: – *Одни говорят, что дьявола нет, что дьявола нет, что дьявола нет...*

Бен стонет, подвывая в аккомпанемент пьяному другу.

– *Что он подох вчера в обед и был зарыт в Килларни!*

Разговаривать с ним теперь бесполезно. Бен разворачивается и уходит из зала, пока в спину ему несутся, спотыкаясь и перепрыгивая друг друга, строки старой ирландской песни времен восстания, петть которую Теодор начинает только в том случае, когда ему хочется заткнуть Бена.

– *«Все не так, – другие твердят, – он жив, как и тысячу лет назад!», они говорят, что он солдат...*

И каждый раз этот трюк срабатывает.

– ...сраной британской армии!

– Поговорим с утра! – кричит Бен, стоя у винтовой лестницы, столь Теодору ненавистной. – Когда ты придешь в себя и перестанешь так горланить!

Сердитому топоту его ног вторит хриплый смех бессмертного, которому ни пьянство, ни игнорирование людей никакой радости не приносят. Но вряд ли Теодор отдает себе в этом отчет.

– *И может быть, я слегка поддаю, да что скрывать – я же пьян в умат! Я все равно не боюсь солдат сраной британской армии!*

* * *

Когда он просыпается, скрючившись в старом кресле прямо посреди лавки, за окном уже плавится под полуденным солнцем асфальтированная дорога. Всего на мгновение ему кажется, что там – вымощенная булыжником узкая улица с деревянными настилами над ямой прямо посередине. Но Теодор моргает, и видение испаряется, как дымка.

Помешивая в чашке свой утренний кофе, Бен входит в зал магазинчика с самым непринужденным видом.

– Доброе утро! – звонко и чересчур жизнерадостно говорит он.

Теодор выдает что-то нечленораздельное и сердитое.

– Что, принцесса?

– Ты не мог бы потише ложкой болтать? – хрипит он. – У тебя в чашке что, весь Нотр-Дам?

– Да. Я Клод Фроло, а ты сгоришь на костре инквизиции за постоянное пьянство.

Теодор садится, одновременно пытаясь остановить бешеную пляску стен. Хорошо, что бессмертие позволяет ему напиться. Плохо, что оно не спасает от похмелья. Впрочем, наказание никогда не выдавали с приятными бонусами.

– На кострах инквизиции ведьм сжигали, – бросает Теодор, поднимаясь с кресла. Все тело у него ломит, кости хрустят, а застарелые незажившие трещины в ребрах скрипят, как древние ветки дуба.

– Пожалуй, – соглашается Бен. – И Эсмеральду.

Теодор фыркает в сторону приятеля и, отворачиваясь, кривит губы, так что с лица разом слетает вся его спесь. Дни ведьм прошли, не нужно больше огня.

Он делает несколько шагов в сторону коридора и тут же спотыкается.

– Но ты тянешь максимум на Квазимодо... – договаривает Бен, прихлебывая из чашки.

Теодор спотыкается второй раз и теперь почти падает. Рука едва успевает зацепиться за подлокотник кресла. Бен молча переводит взгляд голубых глаз на неуклюжего друга.

– О, черт возьми, можно хотя бы одно утро обойтись без твоих язвительных комментариев? – вполголоса цедит Теодор, пока Бен не начал разводить поучительных речей о вреде алкоголя.

– А можно хотя бы одну неделю не напиваться до свинячьего обморока?

– Нельзя. И я не свинья.

– О, ну разумеется. Ты принцесса.

К тому моменту Теодор добирается до дверного проема и старается не обращать внимания на беспомощность собственных ног, в которых, кажется, по сотне фунтов веса. Снова эти чертовы ступени... Чем они с Паттерсоном думали, когда покупали дом с винтовой лестницей? Опираясь на деревянные перила, которые натужно скрипят и давно требуют замены, он краем глаза замечает, как Бен спешит к телефону и поднимает трубку с удивлением на лице, хотя сам звонок в ушах Теодора отдается далеким эхом.

– Мистер Атлас? Нет, сейчас подойти не может, он...

«Показалось, – думает Теодор. – Кто станет звонить в субботний день в старую лавку? Второго Генри Карлайла в этом городе точно нет, а старик явно не бессмертный, чтобы звонить дважды».

Только позже, когда он спускается вниз, посвежевший и почти бодрый, Бен ошарашивает его короткой фразой:

– К вам изволит явиться фрейлина.

– Кто? – Теодор равнодушно падает в свое любимое кресло с тарелкой в руках. На тарелке с тонкой золотой каймой лежат неаккуратно отрезанный ломтик хлеба и поджаренный вчерашний бекон. Видя это, Бен кривит губы.

– Девушка с аукциона. Клеменс, да?

Проклятье! Теодор надеялся, что эта девица пригрезилась ему в пьяном бреду, а она – вот, живая и все такая же наглая, раз названивает с самого утра. Похоже, он угодил в повторяющийся день с не самым увлекательным сюжетом – точно такие же мысли роились в его голове вчера.

Нужно было наступить на горло своей песне и оставить визгливое «Я

вам жизнь спасла!» на перекрестке между Пенроуз-роуд и Джубили-роуд. Ничего бы не сработало, закон не действует на таких, как он. Теодор давно умер. Спасать некого.

– Так значит, вы встретились? – спрашивает ни о чем не подозревающий Бен. – Я столкнулся с ней вчера утром в библиотеке. Она была очень мила, но настойчива, говорила, что...

– Что пишет диплом по мифологии, да, – перебивает Теодор. – И что ей нужна моя, видите ли, неоценимая помощь.

Бен меряет взглядом его сгорбленную фигуру и хмыкает.

– Если тебе так не хотелось ей помогать, зачем же в гости позвал? Она будет здесь через полчаса, кстати, – добавляет он и отмахивается от красноречивого взгляда друга. – Не нужно корчить эту кислую мину, не я ее приглашал. А тебе полезно будет пообщаться с кем-то, кроме бутылки виски.

Теодор с ним не согласен. Категорически. Бен ведь не знает, что он *вынужден* был согласиться.

– Прелесть бутылки виски, Бен, в том, что она – молчаливый слушатель, – бурчит он. – Вопросов не задает, ответов не требует. В отличие от настырной дочки нашего уважаемого зрителя.

– Уверен, очень приятной девушки.

Хоть Бен и расточает жизнерадостность и дружелюбие за двоих – от Теодора этого не дождешься – но все равно кажется сердитым.

– В чем дело? – вскидывает брови Теодор. – Все еще дуешься за вчерашнее?

Бен дергается, кофейная чашка в его руках дребезжит на блюдце. В точку. Теодор неспешно догрызает свой бутерброд. Паттерсон трясет ногой и глядит на него зверем.

– Прекрати, я задержался всего на час.

– Ты не предупредил даже!.. – вскидывается Бен. Чтобы скрыть свою злость, он снова понижает голос, так что Теодору приходится напрячь слух. Паттерсон цедит сквозь зубы, несколько не беспокоясь, что его могут не расслышать: – я думал, что наутро найду в своем почтовом ящике письмо с пометкой из какого-нибудь Гондураса или Никарагуа: «Пока тебе, Бен, я отчаливаю!» – и все в подобном духе, ты ведь никогда не думаешь о других, Теодор, черт бы тебя побрал, верно?..

Теодор вздыхает, приземляя пустую тарелку на столик между ним и Беном.

– Прекрати бубнить! – отмахивается он. Слушать приятеля становится невыносимо. – Так и будешь вспоминать один-единственный случай

столетней давности? Я же сказал, что больше такого не повторится, забудь уже. Ты как никто другой знаешь, что я консервативен во взглядах – я всегда возвращаюсь. Сам бы лучше сбежал.

– Что?

На лице Бена смешиваются злость и недоумение, растерянность и снова злость. Этот коктейль эмоций плещется на поверхности его глаз; сжимаются в тонкую линию сердитые губы, хмурятся темные брови, на лбу намечается заметная складка. Бен всегда остро реагирует на подобные загулы Теодора, и тому следует помнить об этом всякий раз, когда он решает пропустить стакан-другой виски.

Но вчера Атлас не был расположен к беспокойству за нервного друга.

– Тебе, Бенджамин, самому не мешало бы сбежать, – повторяет он, чем ставит Паттерсона в тупик. – Из этого городка, будь он неладен, из страны – кто знает?

Бену этот разговор нравится все меньше и меньше.

– Другими словами, от тебя сбежать, да? – Когда Теодор не отвечает, что звучит красноречивей слов, Бен снова вспыхивает. – Безумно привлекательная идея! Пожалуй, воспользуюсь ею в ближайшее... никогда.

Он поднимается со стула, который занимал все это время и думал, что проведет на нем свой приятный второй завтрак и, быть может, послушает Брамса. Но теперь – нет, теперь он уйдет из лавки и оставит этого социопата наедине с его отвратительными мыслями.

– Мы оба знаем, Бенджамин, что ты во мне не нуждаешься, – несется в прямую, как доска, спину Бена. – Мог бы оставить все это и улететь в Каир изучать мертвецов, как ты и хотел.

– Снова берешься за старое, Теодор? – Бен резко оборачивается. Каблуки его туфель скрипят по крашенному под темное дерево паркету. – Подстрекаешь меня на какие-то бредовые идеи, хотя сам знаешь, что ты был их зачинщиком? Это просто смешно. Хватит говорить о себе, словно ты... ты...

– Слово я кто, Бен?

Равнодушный тон Теодора злит Бена еще больше, и он выплевывает следующую фразу рваным шепотом:

– Слово ты – питомец домашний!

Теодор прикрывает глаза и, хотя Паттерсон может видеть только его спину и затылок, все равно кривит губы в равнодушно-пустой улыбке.

– А разве я не такой? Сторожевой пес, нянька при взрослом ребенке.

– Но я не ребенок больше, я твой друг! – восклицает Бен. – Уж на это звание я имею право рассчитывать? Или великий Теодор Атлас настолько

ненавидит людей, что даже мне нет места в его жизни?

Это не совсем так. Несмотря на всю привязанность Бена, Теодор знает, что молодому человеку было бы куда проще и спокойнее жить без него, и скрывать это, щадя его нервы, Атлас не желает. Но только он хочет высказать свое мнение, как над магазинной дверью звенит медный колокольчик.

– Я не вовремя?

В их маленькую обитель антиквариата входит Клеменс Карлайл, такая же бодрая и живая, как и вчера. К большому сожалению Теодора. Она приносит с собой прохладу гавани и немного солнца, проскальзывающего между сегодняшних облаков.

Бен тут же отворачивается от друга и дарит посетительнице теплую улыбку – просто удивительно, как быстро он умеет возвращать себе совсем не напускное дружелюбие. Теодор, как правило, не способен заставить себя улыбнуться даже для особого случая.

– Мисс Карлайл! Что вы, проходите, пожалуйста! Мы с мистером Атласом просто беседовали.

Клеменс закрывает за собой дверь, не сводя глаз с двоих мужчин. Теодор понимает, какими беспокойными выглядят они оба. Взмыленный доктор Паттерсон и злой больше, чем обычно, Теодор Атлас не похожи на тех, кто только что «просто беседовал». Но не ей их судить.

Клеменс вежливо улыбается Бенджамину, наверняка полагая, что он заслуживает медали или даже ордена. Жить под одной крышей с самым неприступным человеком Англии и не свихнуться – это достойно награды.

Как бы ей самой остаться при своем уме после встреч с Теодором...

– Присаживайтесь, – кивает ей Бен. – Я принесу вам чай. Черный? Зеленый? «Эрл Грей»? – Теодор издает смешок, на что молодой человек лишь сердито цокает, но не оборачивается. – Не обращайтесь на него внимания, он ничего в этом не смыслит. Но кофе, вынужден признать, варит прекрасный. Приготовить вам кофе?

– Нет, что вы! – отвечает Клеменс резче, чем положено, и Бен сконфуженно умолкает. К сожалению, он не видит одревеневшего лица Теодора и не может знать, что всю дорогу до антикварной лавки Клеменс думала только об одном: мистер Атлас убьет ее только за то, что она явилась и стоит перед ним, настолько наглая, что не соизволила сбежать от взгляда его злых глаз в другое графство.

– Принеси ей чай, если уж так хочется поухаживать, ловелас, – фыркает Теодор и кивает на самое далекое от себя кресло. – А вы садитесь, мисс.

По лицу Клеменс заметно, что по пути к креслу она лихорадочно о чем-то размышляет. Когда она и Теодор остаются наедине, ему невольно кажется, что она вот-вот сделает книксен. Теодор окидывает ее мрачным и недружелюбным – даже высокомерным – взглядом.

Она присаживается и только тогда позволяет себе осмотреться. В лавке «Паттерсон и Хьюз» она, должно быть, впервые. Все кажется ей в диковинку, как и многим другим гостям. Теодор следит за ее скованной фигурой, пока Клеменс внимательно изучает каждую мелочь в его магазине.

Пространство зала рассекает тусклый луч полуденного солнца. Он задевает острые углы столиков и полку, стеклянную закрытую витрину с белолицыми статуэтками из китайского фарфора, отражается от нескольких зеркал в витых рамах – деревянных и кованых, с позолотой и без, – и скользит вдоль светлых стен с вертикальным зеленым узором. Единственная в городе антикварная лавка представляет собой нагромождение эпох в горизонтальном срезе: у входа стоят торшеры, напольные вазы и два кофейных столика прошлого столетия, но дальше, в глубине, скрываются вещи более раннего времени: комод, стол, печатные машинки, подсвечники, лампы, вазочки и фужеры, статуэтки божеств, фигурки животных, часы всевозможных размеров, саквояж, пара перчаток и трость, рукописные книги на низкой полке, пожелтевшие украшения для штор, снова зеркала... Предметов мебели в лавке не так уж много – пара стульев из коллекции – двадцать-какого-то-века, столик на низких выгнутых ножках и комод из крашеного – если верить этикетке – клена с обшарпанными углами.

Из трех кресел, представленных в зале, в одном и, похоже, не самом удобном, сидит Клеменс. Теодор Атлас смотрит на нее и силится разглядеть в чертах ее лица что-то знакомое, и сам себе противоречит, боясь все-таки это заметить.

– Итак, с чего мы начнем? – прерывает она молчание самым бесцеремонным образом. – Мистер Атлас? Вы так и будете во мне дыру прожигать?

Он не двигается. Рассматривает ее лицо, разделенное солнечным бликом на две неравные части, выискивает в ней сходство с давно умершей женщиной. И натывается на недоумение.

– Сэр?

– Вы знаете своих предков, мисс Карлайл? – неожиданно спрашивает Теодор, и она удивляется так сильно, что теряет дар речи.

6. Племена богини Дану

Теодор кажется сгорбленной фигурой из камня, покрытого тонким слоем фаянса, сквозь трещины в котором виднеется неприглядный гранит. Пока он притворяется, что не замечает ее любопытства, Клеменс разглядывает его острые скулы.

– Моего отца вы и так знаете, – говорит она, сжимая грубо обработанный край своей кожаной сумки. – Они с мамой развелись, когда мне было одиннадцать, и мама забрала меня в Лион. Она француженка, папа – англичанин. Я похожа на них обоих в той же степени, в какой они непохожи друг на друга, и я не виню их в разладе. С матерью трудно ужиться, – хмыкает она, но тут же одергивает себя. – Знаете, я понятия не имею, почему рассказываю вам все это вместо того, чтобы поговорить... Да вот хотя бы об истории вашей страны.

Губы Теодора изгибаются в кривой ухмылке. Он переводит взгляд со сцепленных пальцев ее рук на лицо и, растягивая слова, произносит:

– Потому что вы любите поговорить. Разве нет? Вы из разряда тех леди, которым рассказывать нравится больше, чем слушать. Поскольку в этом городе не так уж много людей, готовых выступить бескорыстными слушателями, – либо же среди них вы не нашли никого, равного вам по интеллекту, – честь стать вашим собеседником выпала мне. Хотя мы оба помним, что я такой доли не выбирал, миледи.

Клеменс чувствует, что от внезапной грубости, обернутой в столь многослойную форму, она почти посерела. Ей начинает казаться, что затея, которая взбрела ей в голову некоторое время назад, обернется фарсом.

– Но это вы спросили меня о родне! – восклицает она. Теодор нехотя кивает.

– Я поинтересовался вашими предками, мисс, имея в виду корни, а не «предков» в том извращенном понимании, которое присуще нынешней молодежи. Жаргонный сленг – совершенно не мой конек.

– Зато грубость как раз по твоей части! – возмущенно шипят позади. Обернувшись, Клеменс обнаруживает мистера Паттерсона с подносом в руках, и он смотрит на Теодора сердито.

Некоторое время все трое устраивают поднос с чайником и чашками на маленьком столике между креслами и пытаются не запнуться об ноги друг друга. Паттерсон то извиняется перед Клеменс, то ворчит на своего приятеля, но в итоге оказывается третьим в их компании с чашкой свежего

зеленого чая в руках.

Клеменс вдыхает аромат, прикрыв глаза. На желто-зеленой поверхности чая отражаются лучи солнца, блики играют на ее лице. В воздухе пахнет яблоками и близким летом.

В чашке Теодора кофе. Он подозрительно косится на темный напиток, прежде чем отхлебнуть и поперхнуться.

– Бен, фомор бы тебя побрал! Мерзость!

Теодор вскакивает и кидается через весь зал магазина к дальней двери, за которой скрывается, видимо, кухня. Клеменс наблюдает за этим внезапным спринтерским забегом с явным шоком на лице. Бен снисходительно улыбается.

– Не беспокойтесь, всего лишь наши с ним разногласия. Он не всегда такой дерганый.

Клеменс готова с этим поспорить, но Атлас возвращается к ним раньше, чем она успевает заговорить. И выглядит почему-то совсем не рассерженным. Скорее, раздосадованным.

– Растворимый, Бен? Так ты мстишь мне за колкость про Каир?

Паттерсон кривит губы.

– От своего танзанийского ты отказался, а я не настолько щедр, чтобы заваривать тебе «Блю Маунтин», – отвечает он, не дернув ни единой мышцей лица. И тут же добавляет, как будто Теодор его вовсе не волнует: – Мисс Карлайл, расскажите подробнее, с чем же вам так не повезло, что вы обратились к этому созданию?

В первую секунду Клеменс хочется ответить правду: с тех пор как она переступила порог антикварной лавки, все причины, кроме, разве что, собственного безумия, кажутся ей надуманной дикостью. Но она открывает рот и застывает с неподвижно стоящей на коленях чашкой яблочного чая.

Теодор смотрит на нее таким взглядом, что ее пробирает дрожь, которой она не может себе объяснить. Отец предупреждал, что мистер Атлас покажется неприступной крепостью – заброшенным замком, старым фортом, куда до сих пор нет подступа простым смертным, – но никак не колдуном с пламенем в глазах.

– Мой диплом связан с кельтской мифологией, и я не знаю никого, кто разбирался бы в этой теме лучше мистера Атласа, – говорит в итоге Клеменс, прочистив горло. Она с трудом разрывает зрительный контакт и разглядывает теперь воротничок белой рубашки Теодора, торчащий из-за отворотов его мягкого темно-синего халата. Ее не покидает ощущение, что он только что влез в ее мысли.

– Вообще-то, у современной молодежи есть «Гугл», – отвечает Теодор,

не обращая внимания на шиканье Бена и взмахи его рук. – Насколько я понимаю, «Википедия» может поведать вам куда больше.

– «Википедию» я уже изучила, – с готовностью кивает Клеменс. – И научные статьи, и специальную литературу, и сотни лекций. Мне нужен свежий взгляд знающего человека, мистер Атлас.

– Ну разумеется, Теодор с радостью вам поможет! – восклицает Бен, хотя по его лицу видно, что он такой возможности счастлив гораздо больше своего компаньона. Клеменс отчетливо видит, как напрягаются скулы Теодора, что может быть вызвано только раздражением.

Бен спешит убрать пустые чашки и скрывается в кухне, чтобы заварить еще чаю. Пока он хлопочет, Теодор не сводит с Клеменс внимательного взгляда.

– Что вам известно о племенах богини Дану? – спрашивает вдруг он.

– Простите?

– Прощаю. Итак, племена богини Дану. Что вы о них знаете?

Клеменс знает много всего. И о первом пантеоне кельтских богов, и о втором, и двух последующих. О том, что племена богини высадились на берег Ирландии и шли в глубь ее земель, не встречая никакого сопротивления, до тех пор пока не столкнулись с другим племенем, Фир Болг. О том, что противостояние их вылилось в поражение Фир Болг и смену власти. Что они правили долго и кровопролитно, воюя за Ирландию с фоморами, а потом с сыновьями Миля. Что в кельтской мифологии племена богини Дану представляют собой целый сонм богов, хотя богами в классическом понимании не являются.

Она не знает только одного: зачем Атлас задает такой элементарный вопрос?

Но послушно отвечает и под конец своей речи чувствует, что снова тараторит, словно ей жизненно необходимо вылить на собеседника всю имеющуюся у нее информацию.

– Вы считаете, они не были богами? – перебивает ее торопливый монолог Теодор.

Клеменс сбивается, и только что прозвучавшая фраза повисает в тишине. Моргнув, она вновь собирается с мыслями.

– Не в том же значении, в котором богов видели древние греки, римляне и скандинавы.

Темный взгляд сидящего напротив мужчины перестает быть важным, и Клеменс, все еще напряженная от того, что ей *необходимо* теперь высказаться, сдвигается на самый край кресла.

– Кельтские боги – дети Дану, в частности, – были, скорее, эльфами.

– Эльфами? – хмыкает Теодор.

– Да, как в романах Толкина.

Брови Теодора красноречиво выгибаются неправильной дугой.

– Прошу прощения?

– Прощаю, – тут же возвращает колкость Клеменс. – Посудите сами: они не бессмертны, они могут умереть насильственной смертью – как эльфы Толкина. Прекрасные и воинственные, они знают магию и владеют таинствами, которыми не делятся с простыми смертными – как эльфы Толкина. В некоторых источниках упоминаются различные артефакты, с помощью которых боги кельтов творили вещи, недоступные людям. Как...

– Пресловутые эльфы, – договаривает Теодор и недовольно ведет плечом. Рядом на столике из бука с мелкой растительной росписью стоит чашка с кофе – молотым, тонко пахнущим и, судя по его поведению, дорогим: Теодор пьет его маленькими глотками, аккуратно придерживая тонкий фарфор чашечки двумя руками.

– Что тогда скажете об их умениях? – не отрывая взгляда от чашки, спрашивает он. – Они могли исцелять себя и свой народ.

– Владение тайными знаниями не делало их богами в общем смысле этого понятия, – охотно делится своими мыслями Клеменс. – Они ведь не были всесильны, как Зевс или Один. Я бы скорее приписала их к чародеям.

Теодор наконец поднимает глаза и недоверчиво, с вызовом щурится.

– А как же исход в Ирландию? Племена пришли с небес.

– Так говорится в нескольких источниках, и то не звучит правдоподобно, – быстро отрезает Клеменс, совсем не замечая, что выражение лица собеседника меняется с недоверчивого на заинтересованное. – Есть несколько упоминаний, что племена приплыли к берегам Ирландии на кораблях и сожгли их, чтобы отрезать себя от прежнего мира. Вот почему они «явились из тумана» – это был не туман, а дым. Племена пришли с севера, а север, если вы помните, у кельтов считался землей, наделенной силой, и поэтому боги Туата де Дананн были сильнее, мудрее и опытнее, чем простые смертные. Но, по моему мнению, они более приземленные, чем сонм древнегреческих богов.

– Хм, – только и отвечает Теодор, и непонятный звук вырывает Клеменс из собственных мыслей. Она вдруг смущается – он смотрит на нее и кривит губы в одной ему ясной манере.

– А вы не любите проигрывать, – лаконично заключает Теодор, будто подводя итог своим размышлениям, делиться которыми он не спешит. Ей тут же хочется возразить, но Теодор едва заметно качает головой.

Некоторое время он помешивает ложечкой кофе и молча следит за

движением бежевой пенки – она закручивается к центру ленивой воронкой. Клеменс кусает губу и ерзает, пытаясь вновь найти точку покоя, чтобы не чувствовать себя здесь лишней. Когда Теодор Атлас уходит в себя, все вокруг становится фоном, деталями интерьера, и сама она превращается в фигуру на холсте, не больше. Клеменс чувствует это и оттого думает о своей незначительности, кажется себе маленькой девочкой в огромном древнем мире антикварной лавки.

– Мистер Атлас? – неохотно спрашивает она, когда секунды молчания складываются в минуту, а затем еще одну.

Он выныривает из своих мыслей, как из неглубокого сна, и поднимает голову. Сейчас Клеменс отчетливо понимает, что он смотрит на нее и не видит.

– Мне казалось... – тянет Теодор и запинается. – Кажется, вы старше. Сколько вам лет?

Клеменс решает, что больше не будет удивляться никаким вопросам.

– Двадцать три. Я выгляжу старше?

– Не знаю, – откровенно признается он. Все еще рассматривает ее, как умеющий разговаривать предмет интерьера? – Я не силен в этих делах. Не умею определять возраст по лицам.

– Но вы удивлены.

– Не особо.

– Нет?

Теодор с очередным вздохом допивает кофе и ставит пустую чашку на столик, а затем откидывается в кресле. Позолоченная спинка натужно скрипит. Он невольно хмурится, но тут же стирает с лица следы недовольства.

– Вообще-то мне все равно. Я не утруждаю себя запоминанием таких мелочей, так что и гадать насчет вашего возраста не намерен.

Его прямота, граничащая с грубостью, начинает казаться высокомерием. Внезапно Клеменс понимает, что с высоты прожитых лет – какова между ними разница? Десять? Пятнадцать? – она совершенно ему не интересна. Он уже приклеил к ней ярлык и отставил в сторону, как скучнейший экспонат собственной коллекции.

Одному Богу – и вовсе не христианскому, а фоморовому, быть может, – известно, каких еще людей Теодор Атлас хранит в своих мыслях, как более-менее интересный лот. Кто знает, когда придет черед нового аукциона, и он избавится от надоевшей вещи?

– Любопытно в таком случае, сколько лет вам? – спрашивает Клеменс, вздергивая подбородок. Она не хочет показывать, что его

снисходительность ее задевает, но, как обычно, не может удержаться от сарказма.

Естественно, он это замечает. И хмыкает. Снова.

– Честно говоря... Я не помню.

Выглядит Теодор так, что не верить ему сложно. Клеменс с трудом подавляет стремление вступить с ним в спор. Это ведь загадка, не так ли? Он просто играет с ней?

– На вид вам не больше сорока.

– Вот как? Приятно удивлен.

Фраза, призванная его задеть, не достигает цели. Клеменс растерянно щурится.

– Правда?

– Мне явно больше сорока. – Теодор откидывает голову на спинку кресла и устремляет взгляд в потолок, покрытый лепными узорами и виноградными лозами из гипса. – Бен говорит, двести сорок с чем-то.

– При всем уважении, сэр, этого же... – Клеменс вспыхивает быстрее, чем успеваешь подумать, и только тогда замечает в его карих глазах усмешку. Ах, шутка... – Вы очень серьезно шутите, – договаривает она.

Но выражение лица Теодора говорит только одно: «Я не шучу».

* * *

Она сидит в антикварной лавке до самого вечера. Разговор с Теодором больше напоминает допрос с пристрастием.

Вернувшийся с прогулки Бен видит, что на столике все еще стоит грязная посуда, и недовольно поджимает губы. Теодор мысленно стонет и встает с кресла.

– ...И между фоморами и племенами прослеживается сходство в их друидических силах, которые... – с горящими глазами рассказывает Клеменс и внезапно замолкает, когда Теодор молча уходит вслед за мистером Паттерсоном. Если она и чувствует себя неловко, Теодор этого не замечает.

– Ну? – накидывается на него Бен, как только они оказываются в тесной кухне. У него в руках распухшие пакеты с продуктами из «Сайнсберис»^[4], которые тут же водружаются на стул рядом с холодильником. Теодор лениво наблюдает за тем, как замороженная курица, фарш и бекон перекачываются из пакетов в морозильную камеру, а

овощные консервы и рыба – на полки.

– Что – ну?

Бен недовольно фыркает, откидывает со лба прилипшую челку и выпрямляется. Из-под оправы очков на Теодора смотрят рассерженные глаза, а он видит только то, что Бен одет в рубашку от Спенсера Харта и новые брюки.

– Ты куда так вырядился?

Бен явно намеревался произнести что-то возмутительно-воспитательное, но вопрос Теодора его останавливает.

– Ходил на свидание? – напирает Атлас. Бен фыркает и отворачивается.

– Нет, – бросает он. – Договаривался с тем парнем насчет твоих документов. Я рассказывал о нем на той неделе, если помнишь.

Бен не видит, как Теодор многозначительно закатывает глаза, но все равно кидает через плечо, пока его руки машинально включают духовку и поджигают горелку на плите:

– И давай без нытья. Тебе давно пора сменить паспорт, пока люди не начали задавать вопросы. Они гораздо внимательнее, чем ты думаешь.

– Готов с тобой поспорить, – тут же отнекивается Теодор. – Там в зале сидит очень простодушная девица.

– Кстати, о ней!..

Бен разворачивается, вновь принимая вид сердитого преподавателя младших классов. Атласу не нужно на него смотреть, чтобы понимать, что приятель готов отчитать его за очередную ошибку в поведении. И не одну.

– Ты хотя бы предложил ей перекусить? Выпить что-то кроме чая, который я вам наливал? Девушка и так перенервничала – представляю, как ты ее замучил, раз теперь на ней лица нет!

– Ой, хватит, – рассерженно фыркает Теодор. – Это она меня замучила. Болтает, не затыкаясь.

Бен с грохотом ставит чайник на плиту.

– Потому что от тебя и слова не дождешься. Опять, небось, играешь в молчанку, вот она и рассказывает все, что может. В общем, прекращай это.

– Прекращать что?

– Оставь ее в покое и пригласи к нам на ужин. Бедная девушка проголодалась и изнервничалась по твоей вине.

– Мы просто разговаривали! – вспыхивает Теодор, и чуткий Бен сразу чувствует, что друга действительно напрягает возможность совместного ужина с дочерью Генри Карлайла.

Да что же такого удивительного в этой девушке?

– Я задавал вопросы, она отвечала. Что я такого сделал? Засмотрел ее до смерти?

Красноречивый взгляд Бена говорит о том, что именно так он и подумал. На молчаливый выпад Теодору ответить нечем, и, взмахнув руками в совершенно театральном жесте, он возвращается к невежливо оставленной без присмотра Клеменс.

Но обнаруживает пустое кресло и записку на столе. Наскоро нацарапанные простым карандашом буквы сплетаются в чрезмерно вежливую фразу: *«Спасибо за беседу, мистер Атлас. Позвоните мне, когда у вас найдется свободное время, я с удовольствием продолжу наш разговор»*.

«Вряд ли с удовольствием», – усмехается Теодор, пока не вспоминает, с каким завидным упорством она доказывала ему свою точку зрения, а потом рассуждала о других теориях, которые и так были ему известны. Наблюдать за полетом ее мыслей было... увлекательно. Пожалуй, это было увлекательно. И любопытно.

Что ж, теперь он хотя бы уверен, что девица Карлайл никак не связана с его прошлым.

Внизу на листе виднеется семь цифр со странной кривой, похожей на подпись. *Клеменс Карлайл*.

Теодор сминает ярко-желтый лист и отправляет его в мусорное ведро, сиюсь прогнать раздражение. Оно сменило собой невольный интерес и теперь волной поднимается из желудка к горлу, а он не понимает причины.

Перед глазами стоит автограф «Клеменс Карлайл» с витиеватой петлей у имени. Кажется, его Клеменс оставляла рядом со своими инициалами похожий завиток.

IV. Гадалка и господин

– Расскажи мне, откуда я пришел.

– Тебя из тьмы вывели на свет не тем путем, что был тебе уготован. Вырвали из родной земли с корнем, так что обратно ты уже не вернешься. Твоя история началась с ошибки.

Их женят в маленькой городской церквушке в присутствии знахарки и ее дочери на следующий же день. Освещать это событие никто не желает, гостить на торжестве – тоже. Все случается быстро и без лишнего шума.

Серлас стоит по правую руку от Нессы. Пока священник сухим голосом зачитывает молитву, он смотрит на ее точеный профиль: Несса спокойна и серьезна, и только прерывистое дыхание, от которого подрагивают уложенные пряди волос, выдает в ней волнение. В остальном она выглядит мраморным изваянием какого-то безымянного гения, прекрасным, но отрешенным.

Серлас не знает, что думать. Вечером раньше Несса сказала ему, что все в этом мире покорно судьбе и что каждое действие любого живого существа несет за собой вереницу последствий, будь то взмах воронова крыла, после которого где-то в море поднимется буря, или же спасение человека без прошлого, за которого она теперь в ответе. Серлас не уверен, что такое сравнение уместно. Сейчас он ни в чем не уверен, и спрашивает себя и стоящую рядом женщину: желанно ли то, что они делают?

Несса улыбается ему уголком губ и кивает. Все в порядке, Серлас. Все в порядке. Я сама на это согласилась.

Серлас думает, что хрупкий мир его, который только начал обретать форму, уже изменился безвозвратно, и убеждения, возросшие в нем за эти недолгие месяцы, снова канули в лету. Он вновь ничего не знает и вновь ищет ответы.

Их нет.

Священник глядит на странную пару исподлобья, но речи не прерывает. И пока старик вопрошает Серласа о согласии, тот мечется в сомнениях, словно они – клетка его души. Неужели он может рассчитывать на то, что его сердце сможет найти покой в чьих-то руках? Возможно ли, что Несса откликнется на его немые мольбы о мире и счастье? Неужели он может быть ей так же нужен, как она необходима ему теперь?

Серлас никогда не попросил бы об этом. Несса никогда не узнала бы. Кто он и что он может подарить ей в знак своих искренних чувств? Человек

без недостатка и привилегий – о канувшем в небытие прошлом и думать нельзя! Что он отдаст ей в благодарность за спасение его жизни? У него ничего нет и не будет, если он не отыщет среди туманного своего сознания верный путь к прошлой жизни. Без прошлого у него нет будущего.

Только Несса мягко вкладывает свою чересчур теплую ладонь в его руку, и это разом сметает все отговорки. Сердце Серласа колотится в грудной клетке, вторя размеренной речи священника и почти заглушая ее.

– Позволь мне спасти тебя еще раз, – шепчет Несса одними губами, когда он растерянно на нее смотрит и неуверенно протягивает ей серебряное кольцо с двумя крошечными ладошками, держащими сердце.

За этот порыв Серлас не расплатится и двумя своими жизнями.

– Я согласен, – отвечает он на вопрос священника и позволяет хрупкой женщине отныне вести его в мир.

* * *

Оглушенный и растерянный, Серлас сидит напротив кухонного окна и незряче вглядывается в даль. У самого берега, там, где заканчивается обрывом травянистый склон, стоит Несса. Ее силуэт в легком ситцевом платье колышется на сильном ветру, будто ветер треплет не складки ее юбок, а всю ее. Следовало бы позвать ее обратно в дом, чтобы она не простудилась, но Серлас находит в себе сил.

Прошла уже неделя, две, три, а он все еще не может называть ее по имени, как она того просит. Принять из ее рук тарелки или котел с супом и коснуться ее пальцев, не вздрогнув. Найти в ворохе белья что-то из ее личной одежды и отдать, не краснея. Смотреть на нее, понимая, что она тоже смотрит. Говорить с ней, как с равной, ждать от нее помощи в домашних делах, словно это самое обычное каждодневное дело, рутина.

Он ни разу не заговорил с ней о том, что двигало ею, когда она провозглашала себя его женой. Они проводят вместе целые дни. Дни складываются в недели. Они беседуют долгими вечерами и обсуждают так много всего, что у Серласа кружится голова. Он знает, как она улыбается, как хмурится, веселится и сердится, как ничего не боится и успокаивает его, если замечает, что он тревожится.

Он знает ее лучше, чем себя – больше, чем себя, и даже если бы беспамятство не отняло всю его прошлую жизнь, он думает, что ничего бы не изменилось.

Каждый день ее хочется открывать заново и познавать с ней весь мир, сжавшийся до размеров домика на отшибе за две мили от города, куда обыкновенно не добирается и самый терпеливый путник.

К Нессе идут за травами, когда становится совсем худо, когда снадобья знахарки Ибхи не помогают. Серлас еще не знает, какими словами называют его жену просто за знания, которыми она делится с проходящими к ее порогу горожанами, отчаявшимися и убитыми горем. Он еще не знает, что с каждым новым гостем Несса делится собственной силой.

И оттого она кажется ему тоньше, нежнее, словно что-то в ней угаснет, если Серлас не сумеет ее защитить.

Вместе они стригут трех овец местного пастуха, который позволяет забрать себе шерсть, ибо в его стаде еще двенадцать. Вечерами Несса достает тяжелую прялку и прядет шерсть. Деревянное колесо скрипит и с трудом поворачивается, изредка упрямясь и не желая подчиняться рукам хозяйки. В такие моменты Несса любит повторять, что старая прялка спасает их от недоброго слова, и Серлас пасмурнеет. Все чаще он замечает, как жена рассуждает о порчах, людских заговорах и наговорах, и о том, как скрытен бывает тот, кто рядом.

Ему не нравится то, что он слышит. Она не пытается объяснить свои слова и только смотрит на него полупрозрачными зелеными глазами, от которых не скрыть ни одной мысли.

Когда Несса возвращается в дом, вдоволь насмотревшись у обрыва на набегающие кудрявые волны, Серлас мучается с заржавевшей застежкой на воротнике старого камзола.

– Давай помогу, – говорит жена, протягивая к нему тонкие пальцы раньше, чем он успеваешь ответить.

– Не стоит, я...

Но Несса уже подходит, встает рядом – так близко, что от резкого выдоха Серласа прядь русых волос падает ей на лоб. От Нессы пахнет свежими травами и чаем. Сегодня она выглядит бледнее обычного.

– Надо было поторговаться еще с этим портняжкой за испорченную застежку! – вполголоса ругается она, пока Серлас рассматривает морщинку на ее лбу. Хочется накрыть ее рукой, стереть с лица. Успокоить жену. Почему она так бледна?

– Что-то случилось? – тихо спрашивает он, одновременно пугаясь того, что они ведут разговор так близко друг от друга, и желая получить ответ, а не очередную недомолвку. Он замечает куда больше, чем ей кажется, но ему приходится играть роль, которую она для него приготовила. Тихий, послушный Серлас. Спасенный во имя жизни на

отшибе маленького города в доме женщины, которую знает лучше себя самого.

– Все в порядке, – отвечает Несса.

Ее рука скользит по вороту его камзола и осторожно касается скулы. Темная щетина колет ей пальцы.

– Все в порядке, – повторяет она и улыбается, поднимая глаза. – Куда ты собрался?

Серлас смотрит на нее и хмурится, отлично зная, как не любит она видеть его сердитым.

– Дров почти не осталось. А у коровы кончается сено. Я хотел бы сходить до перелеска на юге: говорят, там рядом хорошее поле.

– Зачем тогда тебе этот камзол? – смеется Несса. – В нем трудно будет работать.

Серлас отворачивается и делает шаг назад. Так звонко она насмеяется, а ему не обидно – больно видеть, как на ее изможденном лице вспыхивает улыбка. Сердце сжимается до рези в груди, так что он сердито смахивает волосы и хватает с крючка старую шляпу, которую Несса принесла ему из города неделю назад.

Вот бы взять в свои ладони ее лицо и смотреть, как она улыбается. Вечно. Чтобы не видеть бледность ее щек и не гадать, что творится с ней уже не первый день.

«Все в порядке, Серлас!» – отмахивается Несса и торопится занять его и себя домашними хлопотами, веря, что это отвлечет его от ненужных мыслей. Беспокойных мыслей.

Серлас думает наведаться в город к знахарке – на свой страх и риск в одиночку посетить ее дом и выпытать у старушки, какие снадобья она дает Нессе и от какой хвори спасает.

– Не задерживайся слишком долго, хорошо? Сейчас рано темнеет. – Жена провожает его до порога и на прощание кладет ладонь на спину; пальцы легко проходятся по острым углам лопаток, и их тепло ускользает, как мимолетный ветер.

Серлас уходит, не оборачиваясь. Впервые он не говорит ей всей правды, страшась, что Несса вновь попытается утаить от него самое важное.

До города ему приходится идти около получаса. Он старается успеть до заката: быстро минует то самое поле, где на обратном пути собирается скосить немного травы для коровы – здесь же приходится бросить косу в надежде, что сегодня никто уже не явится, – и спешит дальше, то поднимаясь, то спускаясь по узкой тропке.

Дорога ведет его вдоль берега, потом сворачивает направо и огибает вековой дуб – широкая крона отбрасывает тень, которая на закате дотягивается до главных городских ворот. Изумрудные листья шелестят на ветру, словно вторят сердитым шагам Серласа, когда он проходит мимо. Скорее, скорее. Справиться бы с делами до темноты, чтобы Несса не волновалась.

По главной улице он идти не решается – сразу за воротами сворачивает налево, в подворотни, и тени косых домов скрывают его от посторонних глаз, пока узкий проулок не приводит в тупик.

Теперь он заперт между высоким забором из частокола, неприметной дверью в неизвестном доме и покосившимся зданием старой городской таверны, чей хозяин давно разорился, но продолжает спаивать бедняков. Серлас оборачивается, подумывая, не вернуться ли назад, но его вдруг прошибает холодный пот и охватывает паника, словно его преследуют. Однако за спиной никого нет, а впереди только зеленый узор плесени на старом доме – он здесь один, бояться нечего и некого. Но беспокойство терзает Серласа еще несколько мгновений, которых хватает, чтобы принять решение.

Он толкает плечом первую попавшуюся дверь и входит внутрь, оказываясь в капкане терпкого дыма, стойкой вони дешевых духов и пота, – так пахнут продажные женщины, которые ходят по тавернам и соблазняют мужчин откровенными нарядами из блестящих тканей и кружев, развратным видом и голодными взглядами.

Серлас никогда не бывал в борделях, но сомнений все меньше – это продажный дом, приютившийся прямо под боком гнилой таверны старого Джимми. Теперь ясно, как старик держится на плаву и чем торгует вместо хорошего джина.

Серлас стоит посреди безлюдной комнаты с одиноким креслом, стулом и столиком, виднеющимися из-за траченного молью бархата в дальнем углу. Ему здесь не нравится. Душно, пыльно, крепко пахнет телами нескольких сотен людей сразу. От смеси запахов кружится голова, все пространство кажется затянутым в кричаще-алое сукно. Серлас отступает обратно к двери и неуклюже спотыкается о ковровую дорожку.

– Не убегай, раз пришел, господин, – раздается вдруг из скрытого шторой угла. Серлас испуганно ахает, подавляя трусливое желание развернуться и сбежать самым несвойственным мужчине образом.

– Простите за вторжение, – говорит он. Тяжелая ткань скрывает говорящего, и Серлас не может его видеть. По низкому голосу с хрипотцой, присущей курильщикам табака, ему кажется, будто это мужчина.

Штора сдвигается в сторону, и в свете трех слабых настенных ламп становится различима фигура женщины средних лет.

На ее смуглом лице выделяются чернящие глаза. Она смотрит на Серласа и улыбается ярко накрашенными пухлыми губами. Напудренная, чтобы скрыть многочисленные морщины на лбу и шее, она будто с трудом втиснута кем-то в платье из потертого бархата винного цвета и обернута узорчатой цветастой шалью. Смоляные волосы собраны в пышный узел на макушке, и оттуда выбиваются спутанные пряди. В ушах, на запястьях и пальцах – позолоченные кольца.

– Не извиняйся, господин. За поиски пути прощения не просят.

Серлас обескураженно смотрит на нее в ответ. Продажных девиц он видел, хоть и издалека – ближе подходить боялся, не хотел привлекать к себе их интерес. Но на подобных женщин *эта* совсем не похожа.

– Я забрел сюда случайно, – бормочет он и мнет в руках свою потрепанную шляпу, поля которой были истерзаны еще до того, как он стал ее владельцем.

– Все так говорят, – ухмыляется женщина. – Да только господин не из их числа. Тебя сюда ноги привели не случайно.

Ее речи кажутся Серласу странными и немного пугающими. Обстановка тоже не располагает к дружеской беседе. Ему следовало бы уйти, вернуться к началу пути и отыскать другую дорогу, а сюда не возвращаться даже мысленно. Ему здесь не место.

– Присаживайся, господин. Вижу, что беспокоит тебя тяжкая дума. Позволь мне облегчить ее.

– Чем вы можете мне помочь? – спрашивает он и отчего-то не уходит, как хотел за миг до этого. – Вы меня даже не знаете.

– Да, – кивает загадочная особа. – Но и ты себя не знаешь, не так ли? Видишь, мы с тобою сейчас на равных.

Наверняка она слышала о Серласе из городских сплетен. Маленький неприметный Трали давно не потрясли новости, подобные его появлению, и мужчина без имени известен всем жителям от мала до велика. В дешевом борделе, к тому же, сплетни обычно обрастают еще более пышными подробностями, так что эта женщина могла знать побольше самого Серласа.

– Если одолевают сомнения насчет золотых, то не бойся, господин, – лукаво улыбаясь, мурлычет она. – С тебя не возьму ни монеты.

– Почему вдруг? – удивляется Серлас. Он и не думал о деньгах, но теперь она завладела его вниманием больше прежнего. Странная цветастая женщина, укутанная в сотню слоев ткани, от которой веет пряной тайной,

смотрит на него и продолжает завлекать в темный омут своих глаз.

– Ты ко мне случайно забрел, как сам говоришь. А таких судьба велит принимать и помогать.

«Гадалка», – понимает Серлас, совсем не чувствуя, что ноги его уже стали ватными и отказываются подчиняться. Он так и стоит между ее столиком за тяжелым занавесом и дверью, которая так предательски привела его сюда.

Что делает гадалка в этом притоне? Подобных ей изгоняют из всех уголков католических земель Ирландии. Таких считают последовательницами колдовских учений, ведьмами, слугами сатаны, если они говорят правду, и обманщицами, которых следовало бы вздернуть за неподобающий образ жизни, если они врут. Что умеет эта? Притворяться и выманивать деньги или же заглядывать в душу, чтобы выуживать оттуда потаенную правду? И то, и другое – опасное занятие, и подвергаться чарам странной этой женщины Серласу не стоит.

Но она продолжает смотреть на него и улыбаться. И почему-то он подчиняется ее голосу.

– Садись, господин, твоя ладонь мне прошлое откроет, а мои карты будущее подскажут.

Серлас думает, что ничего хорошего из этого не выйдет, что он навлечет на себя беду, и лучше бы он просто забрел в бордель и показался там пьяной публике в компании какой-нибудь размалеванной девицы. Он садится в низенькое кресло с потертой обивкой под цвет драпировки, скрывающей женщину в фальшивых побрякушках. Та кивает ему и без спросу берет его ладонь в свои руки.

Что подумает Несса, вернись он домой с нашептанными словами гадалки?

– Вижу, сомнения терзают твои думы с тех самых пор, как ты очнулся ото сна, что древнее самого мира... – щурится гадалка, разглядывая его мозоли. Когда он только пришел в себя в незнакомом лесу, их было немного: они тянулись поперек ладони и повторяли очертания приклада ружья. После работ в поле и на огороде у дома прежние мозоли ушли, как и следы прежней жизни, и Серлас стал Серласом окончательно.

Несса сказала как-то, что выбрала это имя, потому что на гэльском оно означает «человек». Человек. Ни странник, скиталец, чужак, ни любое другое слово, каким одаривают его порой некоторые недружелюбные горожане. Новое имя нравится Серласу за простоту и лаконичность, оно кажется ему правильным и родным, словно с ним к нему пришла сама жизнь.

– Тебя зря разбудили, мой господин, ты свое в этом мире закончил, – говорит гадалка, и голос ее делается беспокойнее и тише. Она следит за линиями на ладони Серласа блестящими глазами, пока он рассматривает ее и хмурится тоже: что такого видит эта женщина, что ему недоступно? Какое знание о нем ей открывается?

Он одергивает себя, сердится. Негоже ему слушать темные речи странной дамы, пусть говорит она и саму правду. Не для его ушей эти наговоры. Отчего-то вспоминается тихий скрип прялки в руках Нессы.

– Тебя рука чужая из тьмы вывела, – цокает гадалка, не обращая внимания на то, как дернулась ладонь Серласа. Внутри скребется предчувствие чего-то пугающего, подобное тому, что настигло его в подворотне. Хочет ли он услышать причитания гадалки? Стоит ли им верить?

То, что она говорит, кажется злым наговором.

– Плохое дело сделала, вырвала тебя из земли с корнем и на новое место привела. Не твое это место, чуждое. Маешься ты, господин, без нужной опоры, чахнешь. Тебя земля не питает, как следует. Ай, нехорошее тебе дело сделала. Знала, небось, какую беду на тебя накличет, каким мукам подвергнет, а все равно вырвала. Не та рука тебе проводником в мир стала. Тебе бы дальше идти, своей тропой вслед за колесом следовать. Ох, запутался ты, господин, в капкан угодил.

Капли холодного пота стекают по шее Серласа и заползают под воротник рубахи. Он прирос спиной к спинке старого кресла и не может пошевелиться.

– Я зря пришел, миледи, – хрипло говорит он, и гадалка ухмыляется в ответ на вежливое обращение. К ней с такими словами никто и никогда не подходил. Правильно она поняла – этой заблудшей душе нужна помощь.

– Я тебе рассказала лишь то, что ты и сам знаешь. Задолго до моих слов знал, господин, с самого начала знал.

Она отпускает его руку и наконец смотрит Серласу прямо в глаза. Своими черными – в его светло-карие с золотинками, переливающимися в мерцающем свете ламп. Он вбирает в легкие тяжелый пряный воздух, весь пропитываясь чуждым, неприятным ему ароматом, и неожиданно для себя кивает.

Конечно же, он запутался. Он не знает, где его место, что кроется в прошлом, может ли он считать старенький дом Нессы своим домом. Трали чужд ему, горожане все так же относятся к нему с подозрением, так что он вынужден скрываться от них и приходить в город под вечер, блуждать подворотнями и темными переулками, лишь бы не вызвать очередных злых

пересудов на базарной площади. Жена ему не жена, да и сам он – не муж ей. У нее своя жизнь, в которой ему не место.

А он любит ее больше, чем Бога, на которого надо бы уповать ради спасения своей заблудшей души.

– Я не знаю, откуда пришел, и где моя родина, – признается наконец Серлас, и гадалка охотно кивает ему, словно она одна во всем мире понимает, о чем он толкует.

– Ты не отсюда, но в свои края больше никогда не вернешься и забудешь о них, как о давнем сне, – говорит она, склоняясь к нему так, что ее многочисленные бусы на шее и браслеты на руках бряцают по столу. Серласу кажется, что сам воздух вдруг делается темнее и гуще, но понять, что предчувствие на сей раз оказывается правдивым, ему суждено многим позже.

Этот миг остается в его памяти смутным воспоминанием, которое обретет ясность лишь годы и годы спустя.

– Тебя сюда привела ошибка, мой господин, – изрекает вдруг гадалка и вздыхает, словно его судьбе следует сочувствовать, а его – жалеть.

V. Ведомый

Слова из уст женщины звучат хриплым предзнаменованием, думать о котором не хочется. Серлас невольно сгладывает набежавшую слюну – витиеватая фраза гадалки напугала его сильнее, чем он того бы хотел, – и отворачивается так резко, что огонек масляной лампы тревожно вздрагивает.

– Правду сказала, господин? – Она больше не улыбается и не лукавит. Взгляд ее серьезен и грустен, словно собственные слова не веселят ее, а печалят.

Серлас справляется с собой после трех длинных вдохов и выдохов.

– Нет. – Он разозлен и испуган. – Я не помню прошлого, миледи, откуда мне знать, правдивы ли твои слова.

– Я ничего нового тебе не открыла. Только то, что лежит на ладони.

Она поджимает пухлые губы и со вздохом берет за колоду потрепанных карт, которые ждут своего часа на столике по левую ее руку. Серлас смотрит на них с недоверием и боязнью. Он думает о том, что надо бежать – от этого места, от запаха множества потных тел, от женщины, что сулит только несчастья и беды. Ничего другого нельзя ожидать от прислужниц сатаны, ни одного доброго слова, которое оказалось бы правдой.

– Сбежать хочешь, – отрезает вдруг гадалка, и Серлас дергается, словно его поймали с поличным. – Понимаю, господин, страшно тебе. Да разве я что плохого делаю?

Возражения клопочут у него в горле, вслух звучит лишь слабое: «Не верю дьявольским силам». Гадалка склоняется над картами, но смотрит поверх них на Серласа, и оттого ее взгляд кажется еще темнее, таинственнее. Карты прыгают в ее руках с легким шорохом, но этот звук не приносит успокоения.

– Ошибаешься, господин, как и все, – кивает гадалка, тасуя колоду. – Силы, если они и есть, не злые и не добрые. Это помыслы людей делают с ними страшное. Ай, господин, я полагала, ты на сплетни и говоры не ведешься.

Почему-то Серласу становится совестно, будто укор в самом деле оправдан.

– Я не слушаю чужие разговоры, – отвечает он, как провинившийся юнец. – Но твои речи доверия не внушают, а это место...

– В это место тебя привели ноги, – отрезает гадалка. – Ты, без прошлого, о совете молишь, по глазам вижу. Так вот тебе мой совет.

Она раскладывает перед ним карты – те веером ложатся на старое выцветшее сукно рубашками вверх. Грязно-белые, с нарисованными по краям зелеными стеблями плюща, они скрывают тайну символов и значений, которые можно читать бесконечно долго, но так и не уяснить главного. Серлас убирает вспотевшие ладони под столик и сидит перед черноглазой женщиной, не смея дышать.

– Выбирай, господин. Десять карт тебе в руку лягут – десять из шести дюжин, не больше.

В голове Серласа бьется мысль – он не должен этого делать! – но гадалка сказала истину: ему нужен совет, он не знает, как поступить, он на перепутье, и каждый шаг дается ему с трудом. Пусть эта внезапная встреча будет Серласу знаком – прочь тревоги и наговоры!

– Я поступаю неправильно, – все же произносит он, прежде чем протянуть к колоде правую руку.

Карты у гадалки большие, едва помещаются в ладони. Края загнулись и истрепались так, что рисунок с них почти стерся. Но Серлас различает мелкие листочки на лозах плюща, а среди них – сохранившиеся символы. Треугольник, заключенный в полукружье месяца. Диск солнца с лучами-стрелами. Бутон тюльпана, изгибающийся в знак восьмерки.

Серлас тянет первую карту, следом – соседнюю, и прерывисто дышит. Гадалка наблюдает за ним молча и выглядит серьезной, хоть на лице ее и блуждает загадочная полуулыбка. Выбранные карты отправляются ей в руки – третья, четвертая, пятая... Когда приходит черед последней, гадалка не кажется даже притворно лукавой.

– Ох, бедный мой господин, сложная у тебя судьба... – вздыхает она. Первая карта ложится налево и открывает ангела в небе. Вторая оказывается по центру, но гадалка придвигает ее к себе. – Как я и говорила, ты свое дело на этой земле закончил, но тебя вернули. По чужой воле выдернули, а не по твоему желанию.

В центр стола ложится еще одна карта, поперек нее – следующая. Гадалка рисует кресты и картами, и руками, так что у Серласа двоится в глазах, а она хмурится, читая одной ей понятные знаки.

– Ты мечешься, маешься. И прошлое от тебя сокрыто, и настоящее. И каждый шаг твой – что в пропасть, что в гору, одна тьма перед взором... – Крестом ложится поверх третьей карты четвертая. – Ах, да только ты не сам идешь, ты ведомый. Не верь так опрометчиво, господин, от тебя многое скрывают.

Гадалка вдруг поднимает голову, впиваясь в испуганное лицо Серласа взглядом темных глаз, и только теперь он замечает, что рядом с правым зрачком белеет пятно, блестящий полумесяц, отражающий неверный свет ламп.

– Не верь и не будь ведомым, мой господин, та женщина не все рассказывает, что знает.

Серлас замирает, перестает дышать, его руки больше не дрожат. По щеке стекает капля холодного пота, и сквозняк в комнате неожиданно ощущается отчетливее, чем прежде. Рядом с Серласом нет никаких женщин, кроме одной, и та не говорит ему всей правды. Верно.

Он смотрит на карту. На грязно-белом прямоугольнике виднеется полустертый силуэт девы в синем – она держит в руках книгу и смотрит в сторону. Женщина, владеющая тайными знаниями. О нем ли? О себе ли? Как она может указывать на ту, что волнует сердце Серласа с того самого дня, как он ее увидел?

Пока он растерянно моргает и хмурится, сжимая под столом пальцы рук, гадалка выкладывает еще одну карту.

– Неуверен ты, не своим желаниям следуешь и ни на что не влияешь. Нужно сильнее быть, господин, чтобы судьбу своими руками творить, а ты...

Она не договаривает. Карты открывают перед Серласом будущее и прошлое, связанное в один узел, а он страшится, что может поверить им. Он уже верит.

– Двух женщин вижу, – продолжает гадалка. – Любовь вижу, желания сердца, порыв душевный. И цель, что с ними расходится. Маяться тебе, милый, меж двух огней. Разум с сердцем не примирить, не зажать в тиски. И метаться тебе то к сердцу, то к рассудку своему скоро.

Серлас хочет сказать ей: «Хватит, остановись!», но голос ему не подчиняется, и в горле скребется что-то острое, точно игла. Он не знает, почему продолжает слушать чужие речи, которые не приходятся ему по душе. Все это ложь. Но он верит, словно гадалка раскрывает ему опасную тайну, а та утягивает в свои сети. Все это ложь. Слова не сулят ему ничего, кроме мрачных дум.

– Тебя беды ждут, господин. Будут рушиться устои и сгорать связующие мосты, будешь мучиться и страдать от того, что с прошлым тебя свяжет только единое слово, не больше. Жаль мне тебя, господин. Никому такой доли не пожелаю...

Наконец Серлас находит в себе силы противостоять дурману этого голоса.

– Хватит!

Гадалка смолкает, и в ее глазах он не видит больше ни полумесяца, ни отблесков света ламп. Ее взор черен и мрачен, будто смотрит она не на Серласа, а куда-то вдаль, в будущее, о котором пророчат карты. Серлас не хочет знать, что она видит.

– Долгий путь тебя ожидает, – произносит она, едва размыкая уста. Кажется, что ее таинственные речи стекают вниз и ползут по разложенным крестом картам прямо к Серласу, чтобы вползти в уши, впиться в самое сердце и переполнить горло. – Не узнаешь ты покоя, будешь бродить по миру и не находить себе места. Долго будешь бродить...

Она резко замолкает, будто что-то затыкает ей рот. Испуганный до дрожи и ломоты в теле Серлас мечется взглядом по ее лицу, а оно вновь застывает маской, которую он уже видел: гадалка всматривается в пустоту, растущую в Серласе с каждым мгновением.

– Странное вижу в тебе, господин. Нет у тебя будущего. Вижу, как тянется полотно твоей жизни, а конца его нет...

Она склоняется к Серласу через стол, не отрывая глаз от его лица, и берет в свою ладонь его руку. Медленно кладет поверх несчастливых карт и проводит пальцем – вверх, влево, вниз, снова и снова.

– Течет твоя жизнь и течет подобно мутной воде в реке, – шепчет она. Серлас не дышит так давно, что у него слезятся глаза. Взятый в плен гадалкой палец трогает карты. – Тебя вырвали из твоего пути, а назад не вернули. Вот и маешься ты, обреченный. Не будет тебе покоя. А жизнь твоя...

Вправо, вверх, снова вниз.

– Не вижу, что тебя поджидает в конце, не вижу конца твоего...

Влево, вверх, завершая очередной круг. Серлас смотрит вниз, на свою руку в тисках пальцев таинственной женщины. Она повторила узор с рубашки своих карт и остановилась.

Бутоны тюльпанов, изогнувшихся в знак восьмерки. Бесконечный цикл.

– Неправда... – шепчет Серлас. Его мир сужается до размеров карты таро. Колесо фортуны со спицами, что вонзаются прямо в сердце невозможным образом и невыносимо больно. Трудно дышать. Душный воздух отбирает последние силы – ему не подняться, он не чувствует ног.

– Ах, господин, я лишь читаю карты, – качает головой гадалка, за этот час узнавшая его лучше, чем кто-либо другой в Трали. Если бы Серлас поднял голову, то встретился бы с печалью ее глаз, но он не видит, он смотрит вниз. Не на карты – на свои руки, и те дрожат, словно его

лихорадит.

– Ты... Ты лжешь мне, оплетаешь черными мыслями! – восклицает он, не сумев справиться с испугом. Страх ползет с кончиков его пальцев вверх по рукам, забирается под ногти, кожу, проникает в кости и остается там незнакомым холодом. Серласа бьет озноб.

Собрав остатки сил, он вскакивает и делает несколько неуверенных шагов назад. Гадалка остается сидеть на месте, впериw свой странный взгляд ему прямо в грудь. Отвернись, Серлас, не смотри, не попадайся в ловушку смоляных глаз! Они сулят беду, ты знал это сразу.

– Не силы злые, господин, – повторяет она то, что теперь вряд ли принесет ему покой – не после того, что он уже слышал. – Злы помыслы и мотивы, а не то, что движет миром, *динэ*^[5].

Слово колет Серласа, как игла, он вздрагивает. Больно. «Динэ» гадалки попадает точно в цель, в самое сердце, и Серлас разом бледнеет.

– Вранье, – шипит он сквозь зубы. Его трясет, непонятно откуда взявшийся здесь уличный холод разбавляет затхлую притонную вонь. Гадалка медленно качает головой. Складывает руки на коленях. Смотрит на него, словно невинная, словно не ее губы только что произносили страшные вещи, которых нельзя допускать даже в мыслях.

– Ты лжешь, – повторяет Серлас, чтобы отделаться от сковавшего кости холода. Он злится, ему страшно. – В твоих словах одна ложь, и пахнет она полынью и мерзкими чарами. Тебе не заговорить мне зубы, *ведьма*.

Жестокое слово, которому не место в тихом спокойном Трали, слетает с его губ раньше, чем Серлас успевает справиться с порывом, и теперь его не вернуть назад. В таких местах, как их маленький город, нельзя бросаться подобными обвинениями, они приносят беды, и ненависть, и страх, и смерть.

Ведьма.

Серлас знает, что он не имеет на это права. И зажимает себе рот, пока своевольный злой язык не повторил приговор.

– Я никому не скажу, что видел тут и что ты мне говорила, – тихо произносит он и сжимает в кулаки дрожащие пальцы. – Если увидишь меня на улице, не смей подходить ко мне или моей спутнице.

Смотреть на черноглазую женщину нет сил. Серлас глядит в пол, замечая узор на расползающемся по нитке ковре. Старый восточный орнамент с желтыми цветами и зелеными листьями.

– Больше мы не увидимся.

Он разворачивается и стремглав покидает комнату, по которой теперь

гуляет стылый воздух, просочившийся сквозь деревянные доски пола. Гадалка, старые карты и страшные слова остаются в этих четырех стенах, навеки замурованные в памяти Серласа, как невозможные и недоступные.

Он идет знакомой узкой улицей, пробираясь между заплесневелыми стенами старой таверны и лавки с рыболовецкими снастями, и молит Господа, чтобы тот вычеркнул из его жизни этот час.

* * *

Когда Серлас оказывается на пороге дома знахарки, на город опускается вечер. Сумрак стелется по насыпи из песка, принесенного с полей, по размокшей после дождя грязи, затекает в переулки и под двери лавочек, скользит вдоль грубых углов часовни и цепляется за карнизы крыш. Лучи догорающего на горизонте солнца скрываются за низкими облаками – по всему видно, снова быть дождю.

Серлас потерял у гадалки слишком много времени. Его сил теперь едва ли хватит на то, чтобы вернуться домой до ночи – ноги еле несут его, а самое главное дело, за которым он пришел, до сих пор висит над ним дамокловым мечом.

Он стучит в иссохшие доски двери. За нею слышится сердитое ворчание, мелодичная трель девичьего голоса и приглушенный топот тяжелых ступней. Ибха отпирает засов и появляется перед незванным гостем в мятом фартуке поверх старого платья, с голубым чепцом на голове, скрывающим седеющие пряди. В ее глазах застывает немой вопрос, губы стягиваются в тонкую линию.

– Несса послала? – бросает она вместо приветствия. – Поздновато уже по домам шататься, особенно тебе, неприкаянному... Но входи, раз пришел.

Ответить Серлас не успевает. Его втягивают в дом за ворот и отпускают, только когда дверь за его спиной запирается снова. Морщинистые пальцы Ибхи так неожиданно сильны, что почти срывают с ворота его камзола надоедливую застежку, и он тащится следом, лишь бы старуха не испортила дорогую вещь. У них с Нессой не так много денег, чтобы позволить себе лишнее.

У них с Нессой.

У них с Нессой на двоих – секреты и недомолвки, мешающие Серласу спать по ночам. Теперь он тоже может похвастаться одним, о котором

никогда не расскажет. Неужели так стоит поступать молодой паре?

– Стой уж, сейчас принесу, – ворчит Ибха и, шаркая, покидает узкую прихожую с низкими потолками, чтобы скрыться за углом.

Серлас осматривается, пригибая голову. Старая шляпа слетает с макушки, когда он поворачивается и задевает затылком сухие соцветия укропа над входной дверью. Шуршат, опадая, бледно-желтые мелкие цветочки. Серлас неловко подхватывает упавший пучок свободной рукой. Вернуть на место стянутые белой нитью веточки получается не сразу.

Серлас невольно сравнивает их с теми, что украшают дверной косяк дома Нессы. Нет, у их порога висит чертополох, а от укропа Несса морщится и в дом не приносит. «Не люблю его запах, мысли путает», – говорит она.

– Здравствуй, Серлас! – раздается вдруг за спиной. Он оборачивается и, дернувшись, снова задевает злополучный букетик. Звонкий переливчатый голос принадлежит дочери Ибхи, Мэйв. Она улыбается Серласу открыто, как никто, кроме Нессы, не улыбается ему в городе.

– Здравствуй, Мэйв, – кивает он. Девушка заплетает длинные светлые волосы в косу, перекинув ее через плечо и склонив голову набок, и смотрит на Серласа широко распахнутыми голубыми глазами. На ней длинное платье из легкой ткани.

– За микстурой пришел? – улыбается она одними губами, пока пальцы споро перебирают тонкие пряди волос. – Что, Нессе совсем поплохело?

Серлас мнет в руках свою бедную шляпу и переступает с ноги на ногу. Разве Несса совсем плоха? Днем она не выглядела больной, но Серлас ведь пришел в дом знахарки не из обыкновенного любопытства.

– Мик-кстура? – заикаясь, переспрашивает он. – Нет, я...

Мэйв ждет, что он продолжит фразу. Хлопает бледными ресницами, забыв о косе. Отчего-то Серлас опускает глаза к полу и замечает, что подол ее платья совсем тонок и сквозь него видны очертания ног. Она стоит на холодном полу босиком.

– Да, – договаривает Серлас. – За микстурой. Пришел за микстурой. А... Разве Несса так плохо выглядит?

В мыслях, что полнятся гадальными картами, темным будущим, о котором таинственная женщина наплела столько сказок, теперь теснится еще и беспокойство. Он позабыл о нем на пару часов, пока справлялся с собой и суеверными наговорами гадалки, а теперь волнение за Нессу всколыхнулось снова и заскреблось в груди, словно забытый в клетке зверь.

Мэйв качает головой и чуть улыбается. Из открытого проема двери позади нее льется слабый теплый свет. Он очерчивает силуэт девушки,

легкая ткань не скрывает ее тонкого стана. Серлас проваливается в зыбкую грань между реальностью, в которой он только что побывал у гадалки, предрекающей страдания и печали, и этим мигом с застывшим в нем теплом дома, стылой прохладой улицы и светловолосой Мэйв, которая знает больше, чем говорит.

«Не волнуйся, Серлас, – дрожит на задворках сознания голос Нессы. – Со мной все в порядке».

Недоверие Серласа к ее словам оправданно. Беспокойство не надуманно. Зачем ей понадобилась микстура знахарки?

– Чем твоя матушка поит Нессу?

Мэйв изгибает почти незаметные тонкие брови дугой.

– А ты не знаешь? – тут же спохватывается она и быстро кивает. – Несса же ребеночка хочет поскорее, вот и... Ох, не стоило, быть может, мне такого говорить, а?

Сердце Серласа проваливается прямо в пятки, из легких разом выходит весь воздух. Перед глазами мельтешат белые точки, и все сливается в одно смутное пятно.

Мэйв испуганно прижимает руки ко рту, но почему-то не кажется виноватой, словно не она только что проговорила тому, кто слышать не должен был.

Если у Нессы и есть такое желание, он, Серлас, ничего о нем не знает.

Он ни разу не касался ее. Ни разу не оставался после заката в ее комнате. Они не делили постель и не говорили о том, что должны.

Если Несса мечтает о ребенке, то не он, Серлас, будет ему отцом.

«Будут рушиться устои и сгорать связующие мосты», – сказала ему гадалка. И наступит то раньше, чем она предсказала.

Серлас делает слабый вдох, втягивает жаркий воздух через стиснутые до боли зубы. Его руки снова дрожат, шляпа выскальзывает из слабых пальцев и падает на пол под удивленным взглядом Мэйв.

– Не нужно было мне... – неуверенно шепчет она, переступая босыми ступнями по полу. Когда девушка подходит и, склонившись, поднимает шляпу Серласа, он кажется опустошенным, в его глазах сплошное непонимание.

«Не верь и не будь ведомым, мой господин, та женщина не все рассказывает, что знает».

– Возьми, Серлас, – бормочет Мэйв и протягивает ему шляпу, как будто она сейчас имеет значение. Он хватает ее не глядя. Возвращается Ибха.

– Мэйв! Уйди прочь с глаз моих, нечего босоногой прыгать!

Испуганно вздрогнув, девушка подбирает подол платья и уносится в свою комнату с рыжим огнем лампы. Напоследок она оборачивается и шепчет так тихо, что Серлас едва различает ее голос: «Ты же знать должен, ты муж ей».

Ибха сердито цокает языком, и ее дочь закрывает за собой дверь. Знахарка фыркает и вручает онемевшему Серласу маленький пузырек. Он не чувствует ни его веса, ни холода стекла.

– Вот, отдашь жене. Она уж знает, что с этим делать, верно?

Кивнуть у него не получается, и знахарка, ругаясь и тяжело топая, выгоняет его за дверь, где уже моросит мелкий дождь.

Дорогу домой Серлас помнит слабо, будто кто-то вырезает из его мыслей все время пути. В дом Нессы он является вымокшим до нитки под усилившимся к ночи дождем.

Когда жена открывает ему дверь, взволнованно охает и, всхлипнув, кидается на шею, чтобы утянуть в тепло, он пятится от нее, как от проказы.

– Серлас? – Голос Нессы хрипит и ломается, рассекая имя на рубленные слоги, а его самого – надвое. Он стоит на пороге под дождем, сжимает в руке пузырек с прозрачной микстурой и чувствует себя потерянным и разбитым. Если бы тотчас перед ним разверзлась земля и утянула б его в свои недра – как должно было случиться на поляне неизвестного леса среди тел сотен солдат в красных мундирах, – Серлас не заметил бы разницы.

– Что с тобой? Что стряслось?

Несса втягивает его в дом, и он, еле переступая ногами, позволяет ей подвести себя к огню в камине.

«Ты не сам идешь, ты – ведомый».

Теперь все кажется ему ясным, как дневной свет, и Серлас поворачивается к Нессе, чтобы вручить ей подарок от знахарки. На жену до рези в глазах больно смотреть.

– Ибха передала тебе это, – чуть слышно говорит он и протягивает руку с пузырьком. Несса, не на шутку взволнованная болезненной бледностью мужа, опускает взгляд. Глаза ее вспыхивают неподдельным страхом.

В неровных отблесках огня Серласу вдруг кажется, что в волосах Нессы он видит рыжие всполохи.

– Ты все знаешь, так? Она рассказала?

Ему не хватает сил сказать «да». Ему не хватает сил кивнуть. Серлас закрывает глаза и опускается перед ней на пол – колени подгибаются и отказываются его держать. Можно ли чувствовать себя более потерянным,

чем в этот момент, когда истина обрушилась на его голову без предупреждения: любимая женщина не видит с ним будущего и ищет его рядом с другим?..

– Серлас... – вздыхает Несса и садится рядом. Ее лицо оказывается наравне с его лицом, изможденным и пустым, и тогда она говорит: – В моей утробе растет дитя, которого я не желала.

И вдруг весь мир перестает существовать.

Теперь ему кажется, что он окончательно утратил себя.

7. Белые стены в серой комнате

Опытным мошенником, специалистом в фальсификации и тем, кто, по заверениям Бена, «будет держать рот на замке», оказывается какой-то мальчишка.

Некоторое время Теодор изучает его щуплую фигуру с головы до пят. Светло-русые вихрастые волосы, низкий лоб, глубоко посаженные глаза с такими мешками под ними, что в них могли бы поместиться еще глаза. Мальчишка стоит на пороге неприметного серого дома по Марлборо-роуд и шмыгает носом.

– Родители дома? – спрашивает Теодор, даже не пытаясь скрыть сарказм. Бледный парень трет нос пальцем с длинным ногтем и дерганым движением откидывает со лба челку.

– Тебе чего, дядя? – Голос у него сиплый, словно он только что спал. Вид, впрочем, ничуть не лучше.

– Я ищу Палмера.

Бен сказал, что нужного Теодору человека зовут Палмер – «Естественно, это псевдоним», – и что он временно проживает на Марлборо-роуд. Сейчас, стоя на пороге этого самого дома под проливным, некстати хлынувшим дождем, Теодор думает, что заниматься мошенничеством прямо на глазах у своего сына – или младшего брата – этому Палмеру не стоило бы. К тому же Атласа смущает лишняя пара глаз. Но выбирать в их мелком городишке не приходится.

На двадцать тысяч жителей здесь едва ли найдется хоть один опытный фальсификатор, и лучше бы Теодор искал его в людном Лондоне или снова смотался бы в Германию. Да только вряд ли после недавних выходов Бен отпустит его одного на материк.

«Мог бы уже забыть об инциденте столетней давности», – мимоходом думает Теодор, пока хилый мальчишка оценивает его своими заплывшими сонными глазами.

– Ты, что ли, мистер Атлас?

– А ты кто?

– Палмер.

Теодор подозрительно щурится. Какая-нибудь впечатлительная девица – Карлайл, например, – уже испугалась бы, но этот отщепенец смотрит на него из своего тесного темного коридора с вызовом.

– Проходи, чего встал, – коротко бросает пацан и пропускает Теодора

внутри. Все в нем протестует против такого неосмотрительного шага, но он уже стоит на пороге и уже промок до последней нитки – отступить, ссылаясь на подозрительного ребенка, было бы несерьезно.

Теодор входит, стряхивая с длинного пальто капли, и с неудовольствием отмечает, что обмотанный вокруг шеи шарф прилип к коже. За его спиной со скрипом закрывается входная дверь, узкий коридор погружается в серый полумрак.

– Одежду кинь где-нибудь здесь, я буду у себя, – звучит уже слева сиплый голос мальчишки. Ему вторят удаляющиеся шаркающие шаги. Сколько этому Палмеру лет? Теодор стаскивает промокшее пальто, задумчиво вешает его на крючок справа от себя, а сам отмечает ободранные обои и потрескавшуюся штукатурку.

Идея Бена с каждой секундой кажется все хуже и хуже. Надо было остаться верным традициям и не думать о преждевременных заботах, а на тревоги Паттерсона, как обычно, не обращать внимания.

Отрастить, может, бороду, пусть она скрывает возраст?

– Мужик, ну ты где там? – доносится из дальней комнаты. Теодор вздыхает и идет на голос.

Ничего хорошего из этого цирка не выйдет. Потом можно будет с полной уверенностью заявить Бену, что так он и знал.

Такую же, как и коридор, серую блеклую гостиную Теодор минует в два шага и оказывается в соседней комнате – неустроенной и серой. Шторы на окнах задернуты, света мало.

– Садись, – кивает мальчишка на стул у выкрашенной белой краской стены. – Возьмем у тебя интервью.

Атлас задевает стену спиной, чувствует, как осыпаются на пол частицы краски. Садиться не спешит. Теперь между ним и Палмером стоит фотоаппарат на длинноногом массивном штативе. Пока парень пристраивается к столу, Теодор успевает отметить недешевый объектив и довольно внушительную установку, явно не для фоторабот, у стены напротив. Это что, гитара? Дорогая техника в комнате без мебели, а ведь дом явно нежилой.

С каждой секундой желание Теодора сбежать становится все сильнее, а подозрение усиливается непропорциональными скачками. Странный дом, странный малолетний пацан, странная обстановка.

Атлас делает себе мысленную пометку не вестись больше на «правильные» советы Бена.

Мальчишка включает черную настольную лампу, но, заметив внимание Теодора, поворачивается к нему лицом и смотрит снизу вверх,

отчего его глаза кажутся двумя темными пятнами под нависшими над ними бровями. Бледный, со впалыми щеками и резкими скулами, он кажется смехотворным подобием зомби из плоских ужастиков без сюжета.

– Тебе сколько лет? – спрашивает Теодор. «Зомби» фыркает, буравя его взглядом.

– Полегче, чувак. Я не разглашаю твои данные, но и ты ко мне не лезь. Конфиденциальная информация с обеих сторон, договорились?

На вид ему не больше двадцати. Сказать вернее Теодор не может – его смущают щуплая фигура и мешковатые футболка и джинсы, которые на тощем теле парня смотрятся как на вешалке. И вот это – профессионал? Бен явно снизил планку.

Впрочем, выбирать ему было не из чего. Остается только надеяться, что болтает этот пацан столько же, сколько ест, судя по внешнему виду – крайне мало.

– Твой дружок сказал, тебе только возраст поправить, так? – спрашивает парень, протягивая ему руку. – Принес?

– Принес что?

– Фотографию! – закатив глаза, тянет Палмер. – Или предлагаешь мне тебя сфотографировать? Устроить можно, у меня техника есть, но возьму тогда на двадцать фунтов больше.

– Не много ли просишь? – поджимает губы Теодор.

– За твое-то лицо? Да тут работы непочатый край! Несколько кадров, ретушь – сам понимаешь, придется морщины убирать, скрывать седину...

– Нет у меня седины!

Мальчишка фыркает и вместо ответа тычет пальцем куда-то в его левый висок. Внимательный парень!

Теодор достает из кармана пиджака припасенную фотографию и протягивает ее Палмеру. Тот рассматривает снимок под разными углами, прежде чем выдать вердикт:

– Не подходит. Тебе тут сколько лет вообще? Полтинник?

Теодор едва сдерживается, чтобы не треснуть наглого выскочку по затылку.

– Вообще-то этому фото лет десять, – с явным раздражением цедит он сквозь зубы. Пацан этого, конечно, не замечает.

– Не может быть! Ты что, Бенджамин Баттон? Выглядишь тут хуже, чем вьетнамцы после бомбежки.

Теодор глубоко, с усилием вздыхает. Господь, дай сил!

– Ладно, я понял. – Мальчишка примирительно вскидывает руки и спрыгивает со стула. – Сделаю сам чисто-быстро. Садись, сейчас вылетит

птичка.

– Нет, – тут же отрезает Теодор. Палмер удивленно приподнимает брови. – Принесу тебе другое фото, если это не подходит. Завтра.

– А-а, – тянет пацан. – Не волнуйся, я не храню чужие фотки на такие дела, удаляю сразу. Лишние доказательства моей причастности мне ни к чему.

Верить ему или нет? Теодор привык доверять собственному чутью, и сейчас, как ни странно, видит, что парень *не врет*. Но все же.

– Ладно, как знаешь, – пожимает плечами пацан. – Тогда носи фотку завтра. А сейчас на вопросы ответь.

Надо отдать ему должное, по делу он говорит быстро, четко и без запинки.

– Имя?

– Не меняю.

– Возраст?

– Тридцать три.

– Зря. Можешь до двадцати девяти снизить, вряд ли заметят.

Теодор дергает головой. Не стоит.

– Хотя ты прав. Сделай мне два варианта.

Палмер если и обескуражен, то виду не подает. Два паспорта с двумя датами рождения и двумя разными именами. Такого клиента у него еще не было.

* * *

– О'кей, документы будут готовы к следующей неделе. Советую не затягивать и забрать их в понедельник, деньги принимаю наличкой.

Вслед за Палмером – разумная часть мозга все еще отказывается верить, что этот малолетний может быть опытным мошенником – Теодор идет к выходу, но сворачивает не туда и вдруг замирает перед ярким пятном, сложенным из висящих на стене плакатов самых разных расцветок.

– Эй, выход в другой стороне!

Теодор не верит глазам. Серость самого мальчишки никак не увязывается с увиденным. Со всех сторон на него смотрят напечатанные лица и кричащие заголовки концертных афиш. Неприбранная кровать с бледно-зеленым бельем теряется на фоне огромного оранжевого плаката с изображением дирижабля и надписью «Led Zeppelin».

Возле заваленного бумагами письменного стола на полу виднеются листки с заметками, чертежи каких-то зданий и телефон, который начинает вибрировать. На экране высвечивается выразительное «Олень».

– Ты слышишь, Атлас-как-там-тебя? – Палмер врывается в комнату, отталкивает Теодора, хватая с пола телефон и с видимой злостью его отключает. Потом поднимает взгляд к замеревшему в дверях наглецу и выдыхает: – Мы же условились – я не лезу к тебе, ты не лезешь ко мне. Какого черта?

– Извини, – без сожаления отвечает Теодор. – Просто заблудился.

– Ну разумеется, – ядовито цедит Палмер, но поняв, что ничего преступного тот пока что не сделал, примирительно кивает. – Ладно, пошли.

Телефон он бросает обратно в стопку бумаг на полу, зато хватая со стола второй, гораздо более новый. Пока Атлас возится с пальто, Палмер наблюдает за ним исподлобья, делая вид, что изучает собственные ноги. Но и на расстоянии фута Теодор чувствует, как разозлила мальчишку его выходка.

Зато теперь он точно знает, что этот дом не «липа» и служит парню не только прикрытием. А кричащая обстановка спальни дала ему практически полный портрет скрытного блеклого Палмера.

Если он попытается сдать Теодора, Теодор ответит ему тем же.

– Давай, чувак, бывай! – вяло отмахивается Палмер на прощание.

Едва за Атласом закрывается дверь, он возвращается к себе в комнату. Поднимает с пола телефон и, пока дозвониться до собеседника не получается, перекидывает на него только что сделанную фотографию загадочного Теодора Атласа.

На другом конце раздается нетерпеливый голос.

– Да тихо ты! – шипит Палмер. – Он только ушел, вернется завтра с фоткой. Да, сделал. Нет, я не буду тебе ее отдавать, я все-таки профессионал. Что значит, обещал? Я не давал таких обещаний, ты...

Собеседник отвечает ему со скоростью нескольких слов в секунду, так что парень морщится, отставляя телефон подальше от уха.

– Да, о'кей. Встретимся в кафе на Суонпулл-хилл через два часа.

* * *

Дождливым вечером среды Теодор выпроваживает из лавки последних

назойливых покупателей, которым в такое время года вдруг вздумалось попутешествовать – пожилые супруги из столицы только что стали пенсионерами и катались теперь по стране, отдыхая от детей и внуков, – однако долгожданную тишину нарушает телефонный звонок.

– Бен! – кричит Теодор из кухни, но тут же понимает, что приятель еще не вернулся из университета. Что он там говорил? Несколько пар у первокурсников и практика с выпускниками? Пожалуй, сегодня он не появится до ночи.

Ругаясь скорее по привычке, Теодор идет к телефону и неохотно снимает трубку.

– Слушаю. Если вы насчет китайской вазы, то ее уже выкупили.

– О! – доносится того конца женский вздох.

Ну конечно. Теодор закатывает глаза, прежде чем ответить, растягивая слова:

– Мисс Карлайл, я полагаю?

– Мистер Атлас, – соглашается трубка. – Я оставляла вам свой номер, но вы не перезвонили.

Это звучит то ли как вопрос, то ли как утверждение, но разобраться в интонациях той, кого Атлас предпочел бы не вспоминать, у него нет никакого желания.

– Я его потерял, – без зазрения совести отвечает он. В трубке хмыкают. Не поверила?

– Поэтому я звоню вам сама. Я хотела бы уточнить дату нашей следующей встречи. Мы так и не поговорили о моей работе, если помните.

Естественно. Обсуждать скучный диплом по мифологии, которую он изучил вдоль и поперек, Атласу не хотелось, поэтому он заставил болтливую девицу рассказывать все самой. Урок кельтской теологии оказался куда полезнее, чем предполагала мисс Карлайл: Теодор смог сделать недвусмысленный вывод, что она знает слишком многое для человека, которому требуется чья-либо помощь, не может держать полученные знания при себе и рвется спорить всякий раз, как ее мнение не совпадает с мнением окружающих. Так ли нужно ей менторство Теодора, как она сама утверждает?

– Мисс Карлайл, мне кажется, вы заблуждаетесь, – с притворной вежливостью произносит он. – Я ничем не смогу вам помочь.

– Сэр?

– Вы вполне можете обойтись одной головой – своей, благо, она у вас есть.

Клеменс неуверенно вздыхает, и Теодор уже надеется, что буря

миновала, когда она вдруг спрашивает:

– Вам настолько противно мое общество? Потому что, честно говоря, общаться с вами мне было приятно.

«Что только доказывает, насколько одинокой вы себя чувствуете в этом городе, раз согласны даже на меня», – хочется ответить Атласу, но он сдерживается, предчувствуя очередной урок вежливости от Бена, если тот вдруг узнает об этом разговоре.

Клеменс Карлайл перестала быть подозрительной и до неприличия знакомой в тот момент, когда Теодор понял, что она – не реинкарнация, не новое воплощение, не причуда судьбы и совсем не связана с людьми его далекого прошлого. Она – обыкновенная дочь обыкновенных родителей, воспитанная в двух культурах, отчего-то жадная до знаний, как героиня известной детской книжки, о которой Бен в юности готов был трещать днями и ночами. Все еще вызывающая смутные сомнения – только из-за мимолетного сходства во внешности, которого он старается не замечать, – и заставляющая его чувствовать раздражение, она никак не вяжется в его мыслях с образом послушной отличницы, какую из себя строит.

С этой девицей явно что-то не так, и она все еще представляет собой сплав из низменного любопытства и неопределенного чувства, которое Теодор не спешит как-то называть. Но разбираться в ее психологии он не собирается. Он сделал свои главные выводы – теперь она не его проблема.

– Простите, мисс Карлайл, мне пора, – резко говорит он и бросает трубку, не дослушав ее торопливую речь до конца.

Бен был бы им доволен: Теодор даже извинился, перед тем как прервать неинтересный ему разговор.

Телефон раздражается трелью, не успевает он сделать и пары шагов. Девица Карлайл ведь не заявится к нему в лавку, если он будет игнорировать ее звонки? Трубку он так и не снимает.

И через полчаса наблюдает в квартире рассерженного Бена.

– Я названиваю тебе весь вечер! – восклицает он с порога и вместо приветствия одаривает его пачкой писем из почтового ящика. – Тебе нужен мобильный, купи уже его, наконец!

– Нет, – одергивает его Теодор, без интереса изучая квитанции. – Это тебе нужен мой мобильный, по которому мне будут названивать всякие надоедливые девицы и требовать аудиенции.

– Мисс Карлайл звонила? – без удивления спрашивает Бен и пожимает плечами в ответ на хмурый взгляд Теодора. – Она была сегодня в нашей библиотеке.

– Не слишком ли часто эта миледи там бывает?

– Она пишет диплом, конечно же, она там частый гость! Ей-богу, Теодор, мог бы помочь девушке, она не монстр, а очень прилежная студентка.

Теодор оставляет реплику без внимания и уходит в гостиную, пока Бен спешно стаскивает с себя легкое пальто и ботинки и убирает одежду в шкаф. В их маленькой квартире над магазином тепло и уютно, и молодой человек с удовольствием потягивается, выкидывая из головы промозглую апрельскую погоду.

– Звонили из Корнуолла, – говорит Атлас, когда Бен появляется в гостиной. – Через две недели приедут за вазой Цяньлуна.

– Да, мне тоже звонили, – хмыкает тот. – Просили в следующий раз выбирать выражения получше, иначе они будут снижать цену.

Губа Теодора дергается против воли, хоть он и пытается выглядеть безразличным. Он сидит в кресле рядом с торшером, перед ним на столике разбросаны письма и рекламные буклеты, а в руке привычно покоится чашка с кофе. Бен невольно думает, что столько кофеина, сколько пьет Теодор, убило бы лошадь. Но не Атласа.

– Я всего лишь перепутал интонацию. Их китайский агент мог бы сделать мне скидку.

– Ты назвал его соевым соусом, Теодор! – смеется Бен. – Это тебе не следовало лезть со своими скудными познаниями к носителю языка.

Он уходит к себе в комнату, переодевается и возвращается уже в домашнем халате и тапочках. Дышать становится легче, суета тяжелого рабочего дня отходит на второй план.

– Что ты делаешь?

Теодор с интересом изучает приглашение, выловленное в почтовом ящике, и кусает губу.

– Стрэйдланд устраивает званый ужин в честь нового приобретения, – отвечает он с явным раздражением и отдает Бену черно-белый буклет.

Там лаконично значится: «Джозеф Стрэйдланд приглашает вас разделить с ним красоту своей выставки 17 апреля в 18:00».

– Старый индюк решил публично похвастаться, что обошел меня, – цедит Теодор, пока Бен изучает карточку с обеих сторон. Ехидная улыбочка старика проступает сквозь стандартную фразу так, будто приглашение им вручил лично он сам. Бен знал, что Стрэйдланд воспользуется случаем еще раз их унижить. Разумнее всего будет никак не реагировать на такую насмешку, а после того, как все утихнет вокруг их «Леди»...

– Я приму приглашение, – бросает Теодор таким тоном, как будто никаких альтернатив для него не существует. Бен глядит на него с

недоумением.

– Ты серьезно?

– Разумеется! Когда это? Завтра? Отлично. Ты идешь со мной.

– Вот уж нет! – протестующе восклицает Бен. – Завтра я иду на лекцию профессора из Зальцбурга, я говорил тебе на той неделе, что четверг у меня занят!

– Брось, это ненадолго! Ты же знаешь, мне нельзя приближаться к дому Стрэйдланда без посторонних. Бенджамин!

Бен падает в кресло рядом и делает вид, что ничего не слышит. Под его рукой оказывается вчерашняя газета. Он открывает ее на первой попавшейся странице и с деланным интересом погружается в чтение статьи об африканских слонах. Его мнение насчет Стрэйдланда Теодор знает. Им лучше переждать бурю, а уже потом идти к старику с заманчивыми предложениями и крупными суммами.

Теодор сводит брови к переносице и смотрит на приятеля снизу вверх. Сейчас он похож на обиженного ребенка. Мысли его уверенно петляют между хитросплетениями чувств и разумных доводов, чтобы отыскать наиболее удачное решение. Бен не знает, что Теодору нужно просто взглянуть на картину. Взглянуть один раз, найти интересующую его деталь и уйти, даже не прикоснувшись к полотну.

И если Бен не соглашается идти с ним, у Теодора найдется для этого другая кандидатура.

Он резко встает, оставляет за спиной неинтересную кипу бумаг и неинтересного теперь Бена и пересекает комнату, чтобы выйти в коридор к висящему на стене телефонному аппарату.

– Ты что задумал? – летит ему в спину вопрос Бена.

«Не имею ни малейшего понятия», – думает Теодор, пока в трубке раздаются длинные гудки. Господь, он, должно быть, спятил...

После хрипловатого «слушаю» Теодор готов передумать.

– Генри? Это Теодор. Я бы хотел пригласить вашу дочь на завтрашнюю выставку у мистера Стрэйдланда.

8. Леди и мисс

– Кремовое или изумрудное?

Клеменс стоит посреди вороха одежды и держит в руках два платья. С трудом протиснувшись между дверью спальни и распахнутой створкой бельевого шкафа, Генри цепляет на нос очки в толстой оправе.

– Определенно, зеленое.

– Изумрудное, пап.

– Как скажешь.

Пока Клеменс мечется по комнате от письменного стола с открытым ноутбуком к шкафу и обратно, Генри присаживается на край ее кровати, тоже заваленной одеждой. Кажется, неподъемный чемодан, который дочь привезла с собой из Франции, внезапно взорвался, и его содержимое погребло под собой всю комнату. Генри обводит взглядом то, что осталось нетронутым, и вздыхает. Репродукция «Невесты»^[6] у стены и ноутбук на столе. О приоритетах Клеменс можно сделать недвусмысленные выводы.

– Все-таки это немного странно, – наконец заключает Генри.

– Что странно, папочка? – кричит Клеменс из ванной, куда убежала с платьем и туфлями – зелеными, в тон. Привитый Оливией вкус дает свои плоды, даже Генри Карлайл может его оценить.

– Теодор, – отвечает Генри себе под нос, но дочь слышит его, когда возвращается в комнату в полном облачении.

– Мистер Атлас? Он не страннее, чем обычно.

Она придирчиво осматривает себя в зеркале, висящем на дверце шкафа, и берет в руки помаду.

– Обычно ни с кем не делит свое общество, кроме Бенджамина, разумеется, – продолжает свою мысль Генри. – Я, конечно, не могу знать всех подробностей вашего общения, но по твоим комментариям сложно поверить в его...

– Заинтересованность? Ты прав, пап. – Клеменс кивает его отражению, нанося на губы последний штрих. Видя, что отец все еще не разделяет ее умозаключений, она взмахивает руками. – Брось, сразу ясно, что ему что-то сильно понадобилось. Просто так, по доброте душевной, он вряд ли согласился бы даже на простую чашку кофе. Держу пари, от мистера Стрэйдланда ему нужна «Леди из Шалотт». Ты говорил, они враги, да?

– С «Леди»? Вот уж вряд ли. – Генри позволяет себе смешок, на что дочь оборачивается и смотрит на него с укоризной. «Будь серьезнее, папа!» –

с детства говорят ему эти глаза, и зритель художественной галереи не может не признать – его девочка с ранних лет была строга к его юмору и вела себя взрослее, чем он и ее мать.

– Если он берет тебя с собой, только чтобы подобраться поближе к картине...

– То правильно делает! – радостно восклицает Клеменс, хватая со спинки стула сумочку на длинном ремешке. – Компания его друга вызвала бы куда больше подозрений.

Генри думает, что его дочери, кажется, нравится вся эта афера, так что он спокойно может отпустить ее с эксцентричным любителем антиквариата на один вечер.

Они спускаются в гостиную, и Клеменс, оглядывая себя со всех сторон, глубоко вздыхает.

– Ну, как я выгляжу?

Волнуется. Если б Генри не знал, с кем именно встречается его дочь, то подумал бы, что сейчас она немножко влюблена в своего кавалера.

– Ты выглядишь чудесно, Бэмби.

Когда с улицы слышится шорох гравия под шинами легкового автомобиля – «А я думала, нам придется топать до дома Стрэйдланда пешком!» – Клеменс радостно ему улыбается, посылает воздушный поцелуй на прощание и убегает.

* * *

Гостей оказывается больше полусотни, и Клеменс с удивлением замечает, что мероприятие больше напоминает аукцион в отцовской галерее, чем званый ужин. Теодор уверенно проводит ее через несколько комнат, загроможденных антиквариатом не хуже его лавочки, и совсем не замечает, как расталкивает людей. Клеменс вынуждена семенить вслед за ним и извиняться в ответ на рассерженные взгляды господ довольно пожилых лет.

Она и без подсказок знает, куда внезапно бодрый спутник ее ведет.

К своей «Леди», выставленной в отдельной комнате, которая выглядит, как один из выставочных залов Тейт^[7]. Светлый паркет, белый потолок в лепнине. Стены отделаны темно-зеленым сукном, оно – фон для нескольких картин в толстых деревянных рамах из светлого тиса. Пять, если точнее: две на западной стене и по одной – на восточной и северной.

Леди исподлобья смотрит на нарушителей своего спокойствия. Первым в комнату влетает Теодор, Клеменс спешит за ним, молясь, чтобы шампанское из фужера в ее руке не пролилось на платье или туфли.

Теодор подходит к картине слишком близко, непозволительно близко. Стрэйдланда они так и не встретили, и Клеменс думает, что по закону подлости он обязательно должен появиться перед своим заклятым врагом как раз в этот самый миг – чтобы позлорадствовать.

– Как в музее, – задумчиво говорит она, держась чуть поодаль. В пустой комнате ее голос распадается на полутона. Теодор не отвечает, продолжая вглядываться в полотно, словно надеется впитать исходящую от него атмосферу таинственности.

«Словно своей ему мало», – мысленно хмыкает Клеменс и обводит взглядом выставочный зал мистера Стрэйдланда.

Справа – утонувшая «Офелия» Милле^[8]. Эскиз, конечно же. Слева – копии двух пейзажей Тернера^[9], будто окна в другую реальность, светлую и размытую. Точно, как в музее. В галерее Клор^[10].

– У мистера Стрэйдланда неплохое самомнение, – замечает Клеменс. Снова в пустоту. Замерший перед картиной Теодор Атлас ее не слышит – кажется, она перестала для него существовать в тот миг, когда он увидел «Леди». Его интерес к этой картине больше похож на *манию*, чем на увлечение.

Может, он из тех эстетов, что влюблены в образы с полотен больше, чем в реальных женщин? Только на мечтательного Пигмалиона этот человек похож меньше, чем Клеменс – на француженку. А мать всегда повторяет, что французской крови в ней удивительно мало.

– У мистера Стрэйдланда отвратный вкус, – говорит вдруг Теодор и выпрямляется. – Выставить Тернера и Милле в одном зале, да еще и украсить Уотерхаусом... Этот старик – неисправимый кретин.

– Он вообще-то хозяин дома.

Клеменс подходит ближе и останавливается, когда их с Теодором разделяет всего лишь шаг. От него веет напряженной уверенностью, хоть это и два весьма противоречивых ощущения.

– Это мешает ему быть кретином?

– Нет, это позволяет ему выгнать нас отсюда, если вы будете вести себя неподобающим образом, мистер Атлас.

На этот раз что-то в словах Клеменс его задевает. Теодор оборачивается и смотрит на нее через плечо, обтянутое темно-синим пиджаком. Дорогой, мягкий – Клеменс почувствовала приятную ткань рукава,

пока они шагали по усыпанной гравием дорожке от парковки до дома Стрэйдланда, когда – о, боги! – Атлас сам предложил ей локоть. «Мы должны выглядеть правильной парой, мисс Карлайл, самой обыкновенной, ничего не замышляющей».

– Занятно, – замечает он, вырывая Клеменс из мыслей.

Она думает, что Теодор продолжит свои размышления вслух, но он, бросив ей еще один – очередной – заинтересованный взгляд, снова отворачивается к полотну.

– Это не оригинал, вы же понимаете? – вздохнув, кивает она.

– Естественно, это первый эскиз Уотерхауса.

– Нет, я имею в виду... – Теодор осматривает картину так тщательно, словно рассчитывает продырявить сукно кончиком своего носа, и это сбивает Клеменс с толку. Да что же он там ищет, в конце концов?

– Это ведь репродукция, – договаривает она. – Я уверена, что оригинал эскиза, купленный на аукционе, хранится где-нибудь в более надежном месте.

– С чего вы взяли? – спрашивает он, не отрывая взгляда от картины.

– Бросьте, – хмыкает Клеменс. – Не думаете же вы, что такой скряга, как Стрэйдланд, будет выставлять свое сокровище на всеобщее обозрение? Ему достаточно того, что люди *знают*, что оригиналы хранятся в его коллекции, а показывать всем и хвастаться можно и копиями. Подлинники наверняка служат только его глазам и уж точно не подвергаются световому и тепловому воздействию.

В ответ Теодор не говорит ни слова. Клеменс уже хочет сердито шикнуть на него за то, что он ведет себя прямо как... Теодор, но в итоге ограничивается вздохом. Только тогда он одаряет ее вниманием.

– Невероятно, но вы, возможно, правы... – тянет Теодор, отвлекаясь от полотна. Последний взгляд – и его лицо оказывается вровень с ее лицом. Он наклоняется к ней так, будто она тоже картина, которая требует пристального изучения.

– И где, по-вашему, старик прячет свои сокровища? – спрашивает он, понижая голос. В его правом глазу она вдруг замечает блик, белый отсвет настенного бра, но тут же думает, что ей показалось.

– Понятия не имею, он мне экскурсию не устраивал, – огрызается она скорее от растерянности, чем действительной злости.

Теодор вскидывает бровь, замирает еще на секунду и только потом отстраняется.

– Вас явно что-то напрягает, – говорит он с видимым недоумением. В это мгновение он похож на знаменитую версию Шерлока – циничного,

таинственного и совершенно не разбирающегося в эмоциях. Что, конечно же, начинает по-настоящему злить.

За спиной нарастает гул и топот шагов: гости мистера Стрэйдланда наконец-то могут увидеть жемчужину его маленькой картинной галереи, и хозяин дома, должно быть, ведет их сюда.

– Мистер Атлас, что вам нужно от...

Клеменс не успевает договорить – Теодор грубо хватается за руку и тянет под арку, за которой скрывается еще одна комната. Клеменс ахает и роняет сумочку. Вернуться за ней Теодор не позволяет.

– Мисс Карлайл, оставьте бесполезную вещь там, слуги Стрэйдланда подберут ее и отдадут вам позже! – шипит он, как только Клеменс вырывает свою руку из его ладони. Они стоят, прислонившись спинами к разделяющей комнаты стене и отчего-то оба глубоко дышат.

– Почему мы прячемся, как воры? – шепчет Клеменс. В ее голосе – и сердитые нотки, и заинтересованность, и она сама не может понять, чего же больше.

– Разве не очевидно? – фыркает Атлас. – Нас не должны видеть рядом с этой треклятой картиной. Не хочу, чтобы старый индюк начал подозревать меня в чем-то... раньше времени.

– Можно было дождаться официального приглашения вместе с остальными гостями.

Замечание заставляет Теодора вскинуть бровь в немом удивлении – или какую еще эмоцию выражает в его понимании такая мимика? – И только мотнуть головой по направлению к выходу.

«Отчего я на это веду?» – мысленно вопрошает Клеменс, но все же снимает туфли и бесшумно идет вслед за Теодором. Он проходит мимо бюстов Цезаря и Маргарет Тэтчер («Боже, кто додумался поставить их рядом?!»), даже не смотрит в сторону копии Наполеона на коне и исчезает в дверях. Клеменс подумывает вернуться за забытой сумочкой, но слышит голоса и решает догнать Атласа.

Они возвращаются к уже опустевшей гостиной окружным путем. Клеменс с удивлением понимает, что в доме мистера Стрэйдланда необычная планировка – дверей, ведущих во внутренние комнаты, она так и не увидела. Клеменс возвращается к оставленным без внимания закускам, а Теодор опрокидывает в себя бокал красного вина и брезгливо морщится.

– До неприличия дешевое пойло, – заявляет он, ни к кому особо не обращаясь, и только потом оборачивается, глядя на Клеменс. – Что весьма странно, ведь я заметил винный погреб, пока мы сюда шли...

– На заднем дворе? – Она тоже заметила спуск под землю, когда проходила мимо широких окон, выходящих во двор, и подумала, что старый хозяин вполне мог устроить там не погреб, а склеп. – Вы же знаете, какой Стрэйдланд скряга, неудивительно, что своим гостям он хороший напиток не предложит.

– И на оригиналы картин взглянуть не даст...

В глазах Атласа вспыхивает и гаснет все тот же загадочный блик, и Клеменс вдруг ясно понимает, что скрытый Теодор прячет свои скелеты за семью замками, но совсем не прочь пообщаться с чужими, презрев любые тайники.

– Вы же не хотите... – начинает она и осекается. Конечно, хочет.

Теодор оставляет пустой бокал и широкими шагами пересекает гостиную, чтобы вернуться во двор, к загадочному погребу. Чертыхнувшись и позабыв о туфлях, Клеменс бежит за ним. Она успевает прошлепать по паркету, холодной плитке с мраморным рисунком и, наконец, по аккуратно подстриженному газону дворика. Трава щекочет ее босые ступни, и Клеменс жалеет, что так безрассудно оставила обувь.

– Мистер Атлас! – шипит она, как только нагоняет своего нетерпеливого спутника прямо возле лестницы, ведущей вниз. – Вы с ума сошли?

Он уже спустился и теперь с осторожностью дергает тяжелую ручку. Деревянная дверь, обитая железом, напоминает старые ворота средневековых замков. На мгновение Клеменс думает, что умозаклучения Теодора все-таки имеют под собой разумные основания, но тут же отбрасывает эти мысли.

– Это незаконно! Знаете, сколько дают за взлом с проникновением?

– Без отягчающих обстоятельств... – Теодор пригибается, и она почти перестает его слышать. – А у нас таковых не имеется, разве только вы не протащили с собой взрывчатку, – до четырнадцати лет.

– Вот именно! – Клеменс повышает голос, тут же ойкает и, мысленно проклиная и себя, и Теодора, спускается к нему, пока никто не успел заметить ее через окна. – Вы же не хотите провести четырнадцать лет за решеткой?

Приникший к замочной скважине Теодор неопределенно пожимает плечами.

– Четырнадцать лет – пустяки, – слышит Клеменс, но ей кажется, что это ветер шелестит ветвями липы.

– Мы не собираемся ничего красть, – фыркает Теодор, словно все, что сейчас происходит, не беспокоит его ни капли. – Мы всего лишь

посмотрим, что там прячет наш добрый приятель Стрэйдланд помимо винных бочек... Ну-ка, мисс Карлайл, наклонитесь поближе.

– Во-первых, нет никаких *мы!* – шипит Клеменс. – Я не собираюсь помогать вам, чтобы потом сидеть рядом с вами на скамье подсудимых, потому что Стрэйдланд нас точно до суда доведет, а оттуда напрямиком в тюрьму за берглэри^[11]! А во-вторых...

Она не успевает придумать еще одну возмутительную причину – Теодор, нетерпеливо простонав, совсем не по-джентльменски хватает ее за плечо. Клеменс распахивает глаза в невольном испуге, но он вдруг запускает пальцы в ее волосы и осторожно вытаскивает из уже растрепанного пучка одну тонкую шпильку.

– Это совсем мне... – икает Клеменс и слышит в замочной скважине характерный щелчок. Умелые руки ее спутника только что взломали винный погреб мистера Стрэйдланда, самого большого скряги их маленького городка.

– Неужели вам совсем не интересно, мисс Карлайл? – с победной ухмылкой спрашивает Теодор и толкает тяжелую дверь, которая послушно впускает его внутрь с тихим скрипом.

Он сумасшедший, а ее ждет срок за взлом и проникновение – или же наказание от матери. И неизвестно, что хуже. Вздохнув, Клеменс делает шаг вслед за Атласом.

«Если сюда еще не съехалась вся полиция округа, значит, Стрэйдланд не особо охраняет свои винные запасы, верно?» – думает она, пока ее босые ноги нащупывают опору. Полумрак погреба рассеивается, как только в дальнем его углу Теодор находит цепочку от светильника.

Свет вспыхивает лениво и как-то тускло, словно лампа устала еще до появления гостей. Клеменс замечает несколько бочек и деревянные ящики с откинутыми крышками, в которых, заботливо укрытые сеном, лежат пыльные бутылки. Ахнув от неожиданности, она идет вдоль полки – на крепких деревянных полках покоятся годы – десятки лет, закупоренные в стеклянные сосуды и запечатанные так давно, что от дат кружится голова. Тысяча девятьсот шестьдесят третий. Тысяча девятьсот восемьдесят пятый. Девяностый. Совсем непыльная колба «Монраше».

– Неплохой был год, – неожиданно комментирует Теодор. Клеменс вздрагивает и оборачивается. В неровном свете единственной лампы лицо мужчины кажется ей старше лет на сто пятьдесят. Невольное видение стирается, как только Теодор кивает на полку.

«Бароло» урожая тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. Красное сухое.

– Нил Армстронг, Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз совершают первую посадку на Луну, – декламирует Клеменс, подражая голосу диктора из старого радиоприемника. – Один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества.

– Американские войска покидают Вьетнам, мы несем большие потери, – возражает ей Теодор. Его хриплый голос становится заметно ниже, когда он внезапно говорит: – Впервые тогда подорвался на mine.

Клеменс оборачивается, выдыхая облачко пара, – здесь, в погребке, прохладно настолько, что ее кожа покрылась мурашками, а руки и ноги заледенели. Клеменс смотрит на Теодора снизу вверх, не понимая, кого видит перед собой – живого человека или призрака, явившегося сюда ради какой-то неясной цели.

– Ну и какво это – взорваться? – Вопрос соскальзывает с ее замерзших губ совершенно некстати, и не его она хотела задать. Но как не поддержать странноватую игру в прошлое, когда ее заводит сам Атлас? Искушение слишком сильно, чтобы ему противиться, ведь правды она все равно не услышит.

– Не больнее, чем видеть смерть, – отвечает Теодор. В тусклом свете погреба его глаза кажутся не карими, а темно-серыми, блеклыми. Будто их заволокло пеленой, и он утратил зрение.

– Вы были на войне? – кусая губу, хмурится Клеменс. Атлас глядит на нее и вдруг фыркает.

– Шестидесятые, Вьетнам, американская кампания.

Клеменс хочет возразить, но он на этом не останавливается.

– Вторая мировая, английский полк, потом американский в Японии. Странно было спасать жизни. Я ведь пытался умереть.

Теодор погружается в себя и почти натурально вздыхает, так что Клеменс остается только гадать, как в столь угрюмом скрытном человеке уживается фанатичная любовь к столь театральным представлениям. Он ведь даже не улыбается, почти никогда не улыбается, только кривит губы в саркастичных ухмылках, обещающих один яд и оскорбления.

– Вы чертовски загадочная личность, мистер Атлас, – качает головой Клеменс.

– Отнюдь, мисс Карлайл. Я весь – открытая книга.

– Если так, то на очень древнем кельтском языке, который мне не прочесть, как бы я ни пыталась! – парирует она и улыбается.

Ответной улыбки она так и не дожидается: Теодор, если и собирается что-то сказать, отворачивается и отходит. Момент упущен, скорлупа спокойствия разбита одним резким движением. Клеменс едва слышно

вздыхает.

– Вы все еще думаете, что здесь есть тайная дверь к сейфу с картинами? – спрашивает она. Несколько дерганый Теодор не отвечает.

Ей приходится подождать, пока он, борясь с упрямством, изучит каждую полку в тесном темном погребе, прежде чем поймет, что сделал ставку не на ту дверь.

– Мы зря сюда влезли, – вздыхает Клеменс. – Если бы Стрэйдланд держал свои сокровища под землей – в чем я очень сомневаюсь, – то поставил бы более крепкие замки. И систему охраны. И сигнализацию, от которой бы уши закладывало.

Теодор поворачивается к ней с видимым равнодушием и наконец-то смотрит прямо в глаза.

– Ваши умственные способности, мисс, увы, блекнут на фоне вашей поразительной болтливости, – сварливо отзывается он, после чего идет к выходу, отряхивая брюки от пыли и сухих травинок из винных ящиков.

Фыркнув, Клеменс направляется следом за ним.

– Никто не упрекает меня в том, что я много говорю, кроме вас, – бросает она, но тот даже не оборачивается.

Они выбирают из погреба и слепо щурятся: наверху стемнело, тусклый фонарный свет до места их преступления не дотягивается, и они продолжают оставаться никем не замеченными. Клеменс с облегчением думает, что сегодня тюремная решетка ей не светит.

– Наверное, это о чем-то говорит, и вы могли бы сделать выводы, – отвечает Теодор на ее последнюю реплику, пока его руки умело возятся со взломанным замком. Подумать только, они проникли в чужие владения без спросу!

– А я и сделала, – кивает она. – Вы не любите людей, с которыми приходится использовать больше чем пару слов.

– Поразительная наблюдательность, – язвит Теодор. – А теперь, пожалуйста, возьмите меня под руку и замолчите. Мы гуляем.

Они возвращаются неспешным шагом. Клеменс приходится ухватиться за локоть и плечо своего ворчливого спутника, потому что ноги совсем окоченели и она почти их не чувствует. Когда странная пара появляется в доме, их встречает внезапная тишина.

– Атлас! – раздается скрипучий голос Стрэйдланда, и сам хозяин сегодняшнего вечера появляется перед ними с бокалом вина. – Я уже подумал было, что ты снова хочешь украсть одну из моих картин!

– Я никогда не хотел украсть ни одну из твоих картин, чванливый старик, только *взглянуть*...

– Замечательная выставка, мистер Стрэйдланд! – прерывает Теодора Клеменс. – Мистер Атлас и я немного заблудились в вашем чудном доме, а потом просто вышли подышать свежим воздухом. У вас прекрасный сад!

Стрэйдланд мгновенно делается приветливее.

– Рад, что вы оценили, мисс Карлайл. Надеюсь, мое последнее приобретение пришлось вам по душе?

Теодор скрещивает руки на груди и стискивает ладонь Клеменс так крепко, что ей приходится ткнуть его локтем в бок.

– Да, конечно. Ваша «Леди» прекрасна. И мне понравилось, как вы ее разместили. Думаю, отец был бы рад узнать, что вы отнеслись к ней с таким почтением.

Стрэйдланд остается доволен и, кинув на прощание последний презрительный взгляд Теодору, удаляется развлекать гостей.

– Напыщенный индюк, – припечатывает Атлас и наконец отпускает руку Клеменс.

– Странно, что он пригласил вас, если думает, что вы пытаетесь что-то у него украсть, – задумчиво произносит она.

– Еще раз повторяю: я не краду никаких картин. Я всего лишь смотрю на них.

– Ну разумеется. – С этими словами Клеменс направляется к низкой софе в малой гостиной, окна которой выходят на задний двор, и садится. – Именно поэтому вам запретили приближаться к дому Стрэйдланда без сопровождения, верно?

Теодор фыркает, прежде чем сесть рядом. В его руках непостижимым образом оказываются два бокала с белым и красным вином. Один из них достается Клеменс. Она удивленно вскидывает брови.

– Кажется, на подобных вечерах мужчине следует ухаживать за своей дамой, – как ни в чем не бывало говорит Теодор и опрокидывает в себя содержимое своего бокала.

– О, мистер Атлас, – смеясь, бормочет Клеменс, – не думаете же вы, что привели меня на свидание?

Но на ее шутку он реагирует вполне серьезным взглядом, а потом встает и молча уходит.

И возвращается с ее туфлями в руках.

– Думаю, перед тем как уйти, вам хотелось бы вернуть себе и обувь, и сумку, – говорит он своей изумленной спутнице. – Ее, правда, нет в зале с Уотерхаусом.

Клеменс с трудом втискивает ноги в туфли, чуть слышно стонет и поднимается.

– Спасибо. Думаю, кто-то из обслуги забрал ее. Я пойду узнаю.

Она лавирует меж гостей, иногда спотыкается и извиняется чаще, чем с кем-то сталкивается. Только в третьем зале ей наконец-то попадаетеся на глаза один из официантов.

– Простите, – обращается она к девушке в белом переднике. – Вы не видели маленькую бежевую сумочку на цепочке? Я обронила ее в зале с картинами, а когда вернулась, не смогла отыскать.

Девушка непрофессионально пожимает плечами.

– Не знаю, мисс, я не видела. Но могу поспрашивать у наших. Если что, мы оставляем все забытые вещи на столике у выхода.

Клеменс благодарит ее и спешит дальше. Очередной поворот заставляет ее остановиться и перевести дух. Дом слишком большой, гости здесь слишком шумные, а она слишком устала, чтобы таскаться на каблуках в поисках сначала сумочки, а теперь и своего кавалера. Если бы у мистера Атласа был телефон... Но, насколько она знает, мужчина-из-прошлого-столетия не пользуется благами технического прогресса.

– Мисс Карлайл! – звенит за ее спиной голос этого самого мужчины. – Где вы ходите? Нам пора!

Теодор хватает ее под руку и тянет в обратную сторону, к выходу. Клеменс не успевает сказать ни слова, но замечает, что он выглядит воодушевленным и до странности довольным.

Ее сумочка действительно обнаруживается на столике у парадного входа – Клеменс подцепляет ее на ходу, и они сбегают с вечера, даже не попрощавшись.

– Объясните мне! – восклицает она, когда Теодор берет у стойки ключи от своей машины. – Почему мы так спешим?

Атлас молча кивает ей на пассажирское сиденье «Мини-Купера». Клеменс, не преминув вздохнуть как следует, садится, и только когда машина срывается с места, ее молчаливо-радостный спутник решает объясниться:

– Я нашел тайные залы Стрэйдланда.

* * *

Уже вернувшись домой, при свете ночника, переодетая в пижамные штаны и футболку Клеменс вываливает на прикроватную тумбу содержимое сумочки. Помада, которой она воспользовалась один раз за

вечер, пластыри, так и оставшиеся не у дел, хотя были необходимы, ключи от дома, телефон с пропущенным звонком от матери на экране – плевать, Клеменс перезвонит ей утром, – и клочок бежевой бумаги.

В последний момент она разворачивает записку, вместо того чтобы отправить ее в корзину для мусора.

Острым убористым почерком в ней значитя:

«Рад был увидеть тебя, Клеменс. Передавай привет своему новому другу».

VI. Молчаливый страх

Дождь не прекращается третьи сутки подряд. Дороги размыло, уровень воды в океане поднялся на несколько футов, и берег затопило. Вода в окрестных колодцах помутнела и стала грязной, так что Серласу приходится теперь ходить за ней в город, чему он не рад.

Но лучше покидать дом, чем оставаться в четырех стенах с молчаливой Нессой.

Она не говорит ни слова. Не отвечает на редкие вопросы, не приветствует его по утрам и не прощается вечерами. Она молча встречает его к завтраку, утирая украдкой слезы, когда думает, что Серлас не видит. Молча стирает вещи, убирает в доме, молча готовит обеды и ужины. Молча сидит у камина, изредка подбрасывая в него поленья.

Серлас больше не слышит ее тихих песен.

Он плохо спит. Плохо ест. Плохо... живет. Ему кажется, что весь мир его сужается, сжимается чьей-то огромной рукой в одну точку, уменьшается до размеров бледного лица в обрамлении тонких русых волос. Зеленые глаза Нессы глядят теперь куда угодно, только не на него. Губы делают что угодно – приоткрываются в такт дыханию, бормочут немые фразы, кусают дрожащие пальцы – только не говорят.

Эту тишину в их доме-коконе можно потрогать рукой. Ах, если бы ее можно было разорвать!

– В моей утробе растет дитя, которого я не желала.

Почему земля не разверзлась под ногами Серласа и не забрала его в преисподнюю, если страшные слова, напророченные гадалкой в притоне, уже были произнесены?

– Кто... – Серлас с трудом находит в себе силы, чтобы задать вопрос – но не взглянуть на жену. – Кто его отец?

Несса молчит. Кусает губы, обнимает дрожащими руками живот, обтянутый тканью простого ситцевого платья, и прикрывает глаза, словно это может помочь ей спрятаться от правды.

– Ты не скажешь мне?..

Она рвано вздыхает и поворачивается лицом к огню, так что в светлых прядях отражаются рыжие всполохи его искр. Серлас замечает, как ее глаза наполняются слезами, и они льются по щекам на ее скрещенные руки.

– Несса... – Он с трудом выдыхает ее имя, а она дергается и

вжимает голову в плечи. Будто имя ее – хлыст, и он невольным словом оставляет на ее теле раны.

«Я имею право знать», – думает Серлас, сидя в кресле. В камине тихо потрескивают догорающие угли, пустая комната медленно погружается в ночной полумрак. Несса ушла, вновь не бросив напоследок ни слова, еще час назад, и теперь он предоставлен самому себе. Фоморовы демоны в его мыслях беснуются и пляшут на остатках былой уверенности.

«Я хочу знать».

Незнание душит его, а мучительное любопытство жжет, точно пламя. «Я хочу знать». Он пытается отвлечься, вернуться к раздумьям об оставшейся в хлеву кобыле, которую неделю как надо подковать, к остаткам сена, которое, должно быть, уже отсырело. Домашний скот голодает и мерзнет под этим проклятым дождем, пока они с Нессой прячутся в доме и...

Глупости. Нет их с Нессой и никогда не было. Есть она. И есть он. Забытый жизнью мужчина, по воле случая оказавшийся рядом с молчаливой печальной женщиной.

Серлас хмурится – в который раз за этот вечер. Он не любит тайны, не любит загадки. Но в его недолгой жизни их, увы, предостаточно.

Последние угли гаснут под шум дождя. Серлас остается сидеть в полной темноте, не замечая, что из-за двери за ним украдкой наблюдает Несса. Она гасит огарок свечи и уходит, тихо шелестя по полу подолом ночной рубашки.

* * *

Утром становится спокойнее и светлее: тучи, затянувшие небо над Трали, лениво рассеиваются и уступают место слабым солнечным лучам. Полноводный океан сердито шумит, набегают на берег, но вскоре и он прекращает свою незримую битву с Ллиром^[12]. Город впервые наполняется шумом, церковные колокола звонят, зазывая на площадь.

Несса выносит на задний двор чистое белье и исчезает за домом. Пока ее нет, Серлас чинит дверной замок в ее комнате, а потом, закончив, возвращается в гостиную.

Они сталкиваются случайно – Несса с бельевой корзиной в руках и Серлас. Он смотрит на бледную жену, за три дня превратившуюся в немую, и хочет сказать, что...

Он *должен* сказать ей, что имеет право. Пусть она откроет ему свою тайну, пусть назовет лишь имя.

– Нес... – Но она срывается с места и сбегает, словно он прокаженный. Забытая бельевая корзина остается стоять у его ног, такая же одинокая и никому не нужная, как и он.

– Я уйду в город! – хрипло кричит он и покидает дом, сердито хлопая дверью.

Шумный город не приносит успокоения. Серлас бродит меж горожан, невидящим взором осматривает расставленные вдоль улицы прилавки с товарами и не замечает ни косых взглядов, ни шепотков у себя за спиной. Ему нет дела до сплетен и пересудов.

– Здравствуй, Серлас! – звенит над толпой девичий голос. Серлас, помедлив, оборачивается и встречается взглядом с Мэйв. Дочь знахарки Ибхи стоит прямо перед ним в том самом платье, которое было на ней в тот вечер. Заплетенные в тугую косу светлые волосы перевязаны алой лентой, на голове красуется венок из полевых цветов.

– Здравствуй, Мэйв, – тихо здоровается Серлас. Она улыбается ему широко и открыто, и ее, как ни странно, не беспокоят людские пересуды.

– Как дела у тебя и Нессы? Она давно не заглядывала к нам, у нее все хорошо?

Серлас отводит взгляд – оттого ли, что непривычное солнце, отражаясь в волосах Мэйв, светит ему прямо в глаза, или из-за самой Мэйв, которая смотрит на него без утайки и стеснения. Его поношенные ботинки утопают в уличной грязи, полы камзола истрепаны. И он забыл дома шляпу. Совсем не самое приятное зрелище представляет сейчас собой мужчина без прошлого.

– Эй, Серлас... – Мэйв подходит ближе и останавливается всего лишь в шаге от него. – Все хорошо?

Серлас может ответить что угодно, но он отвечает:

– Не знаю.

Он не хочет, не может врать теперь, когда вся его жизнь полна тайн и неразрешимых загадок. Пусть хоть что-то в его мире будет честным и настоящим.

– С тобой что-то стряслось? – тихо спрашивает Мэйв, и, если бы Серлас не был так погружен в свои тревоги, он расслышал бы в ее нежном голосе беспокойство.

Мэйв берет его под руку и ведет, покорного, к старому буку, растущему прямо посреди города между двумя домами – бакалейной лавкой и пабом с невыразительным названием «Кабаний рог».

– Зачем ты... – приходит в себя Серлас, но она тут же вскидывается, будто только и ждала от него пары слов.

– Тебе нужна помощь? У вас... У вас что-то случилось?

Случилось. Случилось все.

Мэйв садится на лавку под толстыми ветвями дерева и почти силой усаживает Серласа рядом. Он безропотно подчиняется. Он никогда раньше не сталкивался с таким упорством и поэтому теперь слушается, как преданный пес.

– Серлас, – растягивая звуки, говорит Мэйв. – Я могу чем-то помочь?

Он поднимает голову, отвлекается от загорелой ладони девушки, держащей его за руку, и переводит взгляд на ее лицо. Курносый нос, голубые глаза, пухлые губы с хлебной крошкой в уголке рта. Мэйв молода и свежа, она выглядит живее многих горожан Трали. Жизни в ней хватит на двоих. Вот только она ничем не сможет помочь ни Серласу, ни Нессе.

– Благодарю тебя, – кивает он и почти заставляет себя улыбнуться. – Нам ты ничем не поможешь.

Взгляд Мэйв тускнеет, и Серлас, спохватившись, добавляет:

– Но твое участие мне приятно.

Он легко сжимает ладошку девушки и встает, чтобы уйти. Мэйв следует за ним, как ребенок.

– Серлас... – тихо зовет она. Он оборачивается, достаточно уже отойдя, и кивает. На этот раз его улыбка шире и светлее.

– Ты добрая душа, Мэйв. Спасибо тебе.

Он оставляет дочь знахарки под тенью бука и бредет вдоль улицы к главным воротам. В шумном городе ему не найти ответов и не залечить душевных ран, поэтому нужно вернуться домой.

Пустые комнаты встречают его запахом свежее испеченного хлеба. Серлас стягивает камзол, вешает его на крюк возле входной двери и обходит все комнаты до единой, кроме спален, но не видит хозяйки дома.

– Несса! – кричит он, в тревоге забывая, что теперь она может и не ответить. Обычно Несса появляется совсем неслышно, как умеет только она, но сегодня Серлас со все возрастающим беспокойством понимает, что на его зов никто не спешит.

– Несса! – восклицает он снова. – Несса, где ты?

После молчаливых дней, проведенных бок о бок в одном доме, ее отсутствие кажется плохим знаком, и тревоги смешиваются в его мыслях со страхами, которые он сам себе выдумал: она сбежала, не сумев найти в себе сил объясниться, ее забрал таинственный незнакомец, с тех пор несущий за нее ответственность, незримые силы явились сюда, на берег океана, чтобы

отнять у человека без прошлого еще и его будущее...

Серлас встряхивает головой, прогоняя наваждение, и проходит по комнатам еще раз. Заглядывает на задний двор, в кухню, осматривает маленький низкий хлев. Ругая себя за странные мысли, заходит к себе и, никого не найдя, останавливается у последней двери.

Дверь ее спальни закрыта, изнутри не доносится ни звука. Серлас мнетя у порога, хватается за ручку, которую чинил только этим утром. Правила приличия не позволяют ему заглядывать внутрь без разрешения хозяйки. Если ее нет в доме, его желания становятся и вовсе кощунственными.

Но Серлас вдруг слышит слабый вздох, всхлип и, забыв об этикете, спешит войти.

– Несса...

Она сидит на полу у изголовья своей кровати и обнимает себя за плечи. В открытое окно задувает с берега сырой ветер, он теребит полупрозрачные занавески, покрывало на постели и подол платья жены, легкого, не спасающего от сквозняка.

– Несса, что случилось? – Серлас падает перед ней на колени, стягивает с кровати шерстяное покрывало и накидывает ткань ей на плечи. Она дрожит, прячет глаза, но за выбившимися из косы прядями волос Серлас видит влажные дорожки от слез на ее щеках.

– Не плачь, – шепчет он и неуклюже обнимает ее одной рукой. – Вс-се будет хорошо, не плачь.

Он не знает, что делать, и не знает, отчего теперь льет слезы эта женщина, но ловит себя на мысли, что ему не плевать. Неважно, кто отец ее ребенка, неважно, что с ним стало. Если он жив, то пусть придет и вернет Нессе спокойствие, пусть заберет ее тревоги и печали. Пусть сделает хоть что-то, что поможет ей, потому что видеть, как она страдает, Серлас не хочет.

– Несса, пожалуйста, не плачь... Пожалуйста.

Она не отвечает, лишь позволяет крепче себя обнять, притянуть ближе. Серлас чувствует, как она неожиданно обнимает его в ответ и стискивает пальцами рукава рубахи, ворот которой уже залила слезами. И, раз простые просьбы не помогают...

– Ра-н^[13], я обещаю тебе, все будет хорошо. Ты слышишь? – Серлас гладит Нессу по влажным волосам, качает, пока она успокаивается, и больше не думает скрывать свои чувства. Если она прогонит его, разгневавшись за некстати вспыхнувшую любовь, он уйдет – лишь бы теперь она прекратила плакать и осталась счастливой.

Несса перестает всхлипывать и затихает в его руках.

– Кэд а... – хрипло отзывается она спустя время. – Как ты назвал меня?

Серлас молчит, внезапно обнаружив, что голоса у него нет совсем. Былая спесь слетает с него шелухой, он больше не кажется себе таким храбрым, каким был минуту назад. Несса, не получив ответа, вздыхает и, чуть помедлив, отодвигается, чтобы заглянуть ему в глаза.

– Ты меня любишь? – несмело спрашивает она.

Серлас не знает, куда деваться от ее пронизательного взгляда. Он опускает голову, но Несса берет его за подбородок, проводит пальцами по щетине и заставляет повернуться к себе.

– Серлас... – В ее голосе столько мольбы, словно она вот-вот снова заплачет. Сердце Серласа сжимается, и он обреченно кивает.

– Да.

Рука Нессы, которой она касается его щеки, дрожит; жена сжимает пальцы, царапая его ободком серебряного кольца, кусает губы и – о, Господь, за что снова? – роняет на его рубаху очередную слезу.

– Ах, мой милый, тебе нельзя любить меня! – запальчиво шепчет Несса, неожиданно притягивая его к себе и обнимая с еще большей силой. – Нельзя, ведь я...

– Мне нет смысла больше это скрывать, миледи, – сердито возражает Серлас. Теперь, когда он открылся ей, страх улетучивается, как туман поутру. – И мне все равно, кому отдано ваше сердце. Пусть отец вашего ребенка придет и станет вам мужем, мне все равно.

Несса ахает и замирает. Стискивает руками его плечи, отстраняется, чтобы вновь посмотреть на него. Серлас видит, как бесконечно печален ее взгляд, и думает, что для них это, должно быть, конец.

– Серлас, – вздыхает Несса. – Я проклята.

Она набирает в грудь побольше воздуха, чтобы сказать еще что-то, чтобы окончательно запутать, *запугать* Серласа.

– Отец моего ребенка – колдун, – говорит Несса тихим, едва различимым в доносящемся с улицы шелесте листвы голосом.

И тут пасмурное небо разрезает белая молния.

* * *

Серлас ходит по комнате. Два шага вперед, поворот. Два шага назад.

Тяжелые ботинки оставляют сердитое эхо, рассерженно же шипят в камине поленья, злится за окном гроза.

Он вернулся минуту назад, с его волос капает дождевая вода, на полу остаются мокрые следы. Несса сказала ему лишь слово – одно слово, которое испугало его и заставило бежать из дома в назревающую бурю. Каким трусом, должно быть, теперь она его считает...

– Ты вернулся, – доносится из дверей спальни, и Серлас, дергаясь, оборачивается. Несса стоит перед ним со свечой в руке и смотрит так спокойно, будто в ее мире нет и никогда не было слез и паники. Не было колдунов и страшных слов «я проклята».

– Я не хотел... – Серлас запинается, но находит в себе силы продолжить, поборов злость. – Не хотел сбегать. Прости меня.

Жена качает головой и чуть улыбается. Сейчас во всем стане ее – мудрость всего мира, будто сама Дану наградила ее всезнанием. Она подходит ближе, оставляя на столе свечу, и Серлас замечает в ее руках крапового цвета мундир английского полка. С порванным обшлагом и дыркой на плече.

Это его мундир.

– Когда ты оказался у меня, при тебе было только это, – тихо говорит Несса. Ее пальцы почти с лаской проходятся по рваным петлицам, словно она не испытывает ненависти к алому сукну, которое носят все англичане. – Может, этот мундир – твоя единственная связь с прошлым. Хотелось бы мне это знать наверняка...

Она вздыхает и, помедлив, протягивает ему старую вещь. Серлас хмурится, сердце в его груди тревожно бьется о ребра, и те стонут, напоминая о ранах.

– Нет... – против воли выдыхает он. Несса дарит ему очередную улыбку.

– Я не знаю, что скрывает твоя память, – продолжает она, не обращая внимания на протест. – Но, пожалуйста, возьми его. И попробуй узнать о себе чуть больше.

– Ты... – слова застревают у него в горле. – Ты прогоняешь меня? Теперь?

Несса смотрит на него самыми печальными на свете глазами и кивает.

– Я не хочу привязывать тебя к себе. Моя участь предрешена, а твоя жизнь может начаться заново!

Серлас стискивает ткань мундира и, вырвав его из ее рук, швыряет на пол. Пусть эта вещь – его прошлое. Пусть он не помнит его. Если это значит уйти и оставить Нессу наедине с ее непонятым будущим, он

откажется.

– Нет, – коротко отвечает Серлас. – Ты прогонишь меня – и кто позаботится о тебе? Колдун ушел и больше не вернется, так от кого ты меня спасаешь?

Несса снова беззвучно плачет, прижимая пальцы к губам.

– Нет, – повторяет он. – Я не уйду. Я не оставлю тебя одну.

Он шагает к ней, берет за руки. Его ладони влажные от дождя, ее же – от слез.

– Ах, Серлас! – восклицает Несса. – Ты не знаешь, на что обрекаешь себя!

Она громко рыдает, вторя раскатам грома, и наконец целует его.

9. Deus ex machina^[14]

Чертовы люди, чертов дом, чертова сумочка чертовой девицы. Теодор нарезает круги в поисках пропавшей вещицы, которая нужна ему, как Морриган – лицемерная вежливость. Ну не могла же она сквозь землю провалиться!

На самом деле, поиски сумочки – всего лишь предлог. Теодор без зазрения совести заглядывает под все кресла, диванчики и столики, не обращая внимания на сердитые восклицания чопорных дам, лишь бы в кратчайшие сроки узнать, где Стрэйдланд прячет свои настоящие картины. Стыдно признать, но девица обскакала его в забеге на сообразительность: Теодор поторопился и не смог распознать в вывешенных экспонатах искусно замаскированные подделки, а мисс Карлайл это удалось почти не глядя.

Стоит заметить (и никогда, ни при каких обстоятельствах не говорить этого Бену), что девушка умна и может составить Теодору конкуренцию в соревновании по сарказму, но Атлас, пожалуй, откажется от такого удовольствия.

– Подумать только! – восклицают позади него. – И вновь мы встречаемся на приеме Стрэйдланда: я в неудобном платье, а ты – в неприличной позе!

Теодор оборачивается, заранее зная, что увидит перед собой Элоизу, мадам знатного происхождения, которая вот уже лет двадцать счастливо, по заверениям лондонской общественности, живет в браке с бизнесменом по фамилии Давернпорт. Мистер Давернпорт владеет несколькими шинными заводами и в народе известен как Резиновый Магнат. Потому, говорят, миссис Элоиза все еще отзывается на свою девичью фамилию Вебер.

– Элиз? Не ожидал тебя здесь увидеть... – Теодор потирает шею и отчего-то оборачивается в поисках своей спутницы.

Миссис Давернпорт ехидно улыбается и подходит ближе, чем ему хотелось бы. Она выглядит все такой же стройной, но Теодор привычным взглядом отмечает угловатость ее фигуры, с годами ставшей не изюминкой, а проблемой, и ниточки морщин на руках. Даже длинные ажурные перчатки не могут скрыть очевидного: прежняя мисс Вебер тает и превращается в миссис Давернпорт. И лучше бы Теодор этого не видел.

– Как странно, – улыбается Элоиза и позволяет себе коснуться его скулы очень личным жестом. – Последний раз я видела тебя много лет

назад, но ты ничуть не изменился, а я... – Она вздыхает в притворном сожалении. – Я, как видишь, с годами не становлюсь моложе.

– Не принижай себя, Элиз, – усмехается Теодор. – Ты все так же очаровательна и, не побоюсь этого клише, свежа, как и прежде.

Он нещадно ей льстит, и Элоиза это видит. В ее глазах отражается уверенность женщины, в жизни которой никогда не было ни лишений, ни особых забот. Но Теодор видит годы, и годы, что были и уже ушли, и теперь перед ним человек, которого он *знал* когда-то, образ из прошлого – стареющий слепок милой, но немного надменной девушки, которую звали Элиз Вебер.

– Правду говорят, – заключает Элоиза после минутного молчания, во время которого изучала лицо Атласа. – Мужчины похожи на вина – с годами становятся только лучше. А женщины, увы, лишь гроздя винограда, из которых вино и делают. Не успеешь оглянуться, как они становятся высушенным изюмом.

– Ты всегда была падка на драматические сцены, Элиз, – кивает ей Теодор и склоняет голову к плечу. – Не стоит торопить время: сейчас ты не выглядишь сухофруктом. Сколько тебе лет?

– А тебе? – смеется она неожиданно хрипло. – Боже мой, я смотрю на тебя, а вижу все того же мальчишку, с которым мы забирались в сад к миссис Ричардсон-Хертли и в три часа ночи воровали у нее вишню! Как ты умудрился остаться таким юным, Тео?

Чтобы скрыть внезапно нагрянувшую неуверенность – проклятье, с ней он и в самом деле чувствует себя на несколько десятков лет моложе, этой поразительной способности у нее не отняло и время! – Теодор присаживается на софу. Приглашать Элоизу он не спешит: она сама садится рядом и доверительно вкладывает свою руку в его ладони, будто не стоит между ними десятилетий и виделись они только вчера.

– Ты проецируешь на меня свои возрастные комплексы? Святая Морриган, Элиз, ты всегда была выше этого!

– И все такой же сквернослов... – задумчиво тянет она. – Нисколько не изменился.

Нужно срочно сменить тему, но Теодор растерян и сбит с толку. Совсем не Элоизу Вебер он ожидал увидеть сегодняшним вечером. Тем не менее, она сидит перед ним, постаревшая на два десятка лет, и кажется ему совсем чужой.

Теодор больше не испытывает к ней влечения. Теперь она – еще один призрак, еще одно сожаление в бесконечной цепочке себе подобных.

Элоиза, не замечая его помутневшего взгляда, качает головой. На

висках ее белеет седина, отчего-то не замаскированная ни накладными прядями, ни краской для волос. Миссис Давернпорт с гордостью, должно быть, носит свой возраст, вот только сейчас, встретившись со своим прошлым в лице Теодора, смеется над ним.

Атлас думает, что понять женщин ему не поможет ни двухсотлетний опыт, ни ведьмовское проклятие, ни даже магия. Элоиза улыбается, прикасаясь пальцами, затянутыми в перчатку, к его плечу.

– Я уже и не думала, что мы свидимся. Я помню тебя уплывающим в Америку столько лет назад, что точной цифры уже и не назову... Не ты ли говорил, что останешься жить там и там же умрешь?

Теодор хмыкает, скрывая разочарование, и отвечает, не поворачивая головы:

– Как видишь, умереть посреди какого-нибудь захудалого штата у меня не получилось. А ты говорила, что никогда не выйдешь замуж и не заведешь детей.

– Да, говорила, – кивает Элоиза и вздыхает. – Дети так и не появились. Только еще одна тема для жалких разговоров ни о чем, когда мать наведывается к нам с мужем на чай.

– Миссис Вебер все еще жива? – усмехается он.

– Побойся Господа, Теодор! Живее всех живых!

– Отчего я не удивлен? Она всегда казалась мне боевой старушкой.

Элоиза смеется, прикрывая рот рукой с массивным кольцом, на камне которого выгравирован фамильный герб ее семьи. У Теодора в память об их встречах остались запонки с таким же отличительным знаком, которые молодая Элиз стащила из сундучка своей матери и вручила ему перед отплытием в Америку. Тогда они в самом деле считали, что больше не увидятся.

– Станным образом идет время, согласишься? – заявляет она вдруг с прежней колкостью. Теодор смотрит на нее и едва заметно кивает. – Вот мы – случайно пересеклись и снова впали в воспоминания, тревожить которые я бы не стала ни под каким предлогом. Ты, как и прежде, вызываешь во мне странное желание ностальгировать.

– Это не я, – вздыхает он. – Это всего лишь *момент*.

– Неправда... Но ты ведь никогда не признавался и не признаешься, что в тебе живет какая-то магия, раз ты до сих пор покоряешь сердца молодых девиц. Твоя спутница... – Элоиза хитро подмигивает растерявшемуся Теодору и хитро же улыбается. – Я заметила вас немного раньше, чем решила подойти. Ох, негодник, тебе должно быть стыдно увиваться за столь юными особами! Только отчего мне кажется, что и ей ты

откажешь?

Она говорит, наполняя слова старыми обидами, а быть может, и колкостями, которых не растратила и хотела адресовать именно Теодору. Он улыбается, думая, что ничто не способно ее изменить. Ни замужество, ни время, ни влияние благородного общества, от которого сам Теодор сбежал, едва лишь почувствовал, как оно затягивает его в свои сети.

– Я всего лишь сопровождаю ее, Элиз. Как ты верно заметила, мне уже поздновато *клеить* столь взбалмошных барышень.

– Взбалмошная барышня – дочь смотрителя художественной галереи, и я на твоём месте была бы поаккуратнее. Говорят, у ее матери хватка железной леди, а улыбка Моны Лизы, и такая, если потребуется, охомукает тебя в два счета. Я слышала, она выставляет свою дочь на выданье французскому обществу, но пока что в этом не преуспела. Не удивлюсь, если юная мисс Карлайл попросту сбежала из-под опеки своей маман.

Изумрудное платье Клеменс будто нарочно мелькает в толпе гостей и растворяется.

– Что ж, тогда мне понятен ее живой интерес, – не преминув съязвить, тянет Теодор. – Эта девица, Элиз, буквально свалилась мне на голову и требует от меня экскурсов в историю, словно я нанимался в персональные репетиторы. У нынешнего поколения нет ни малейшего понятия о личных границах!

Элоиза качает головой и украдкой усмехается. Время стирает многое, но привычки человека остаются прежними: Теодор Атлас, как и был, остался угрюмым брюзгой, и даже внешне не изменился, как ни старается миссис Давернпорт увидеть в нем отпечаток десятков лет.

– А к позеру Стрэйдланду она тебя привела ради просветительских целей? – кидает она ответную колкость. Теодор с видимым неудовольствием кривит губы. – Ах, Тео, не умеешь ты врать и никогда не умел.

– И не пытался научиться.

Элоиза тут же кивает. Безумные рассказы этого человека, даже несмотря на их явный вымысел, всегда были похожи на правду: то, с каким вниманием к деталям подходил Теодор к своим фантазиям, в молодости поражало воображение юной мисс Вебер. Быть может, поэтому она прощалась с ним с куда большей неохотой, чем могла себе позволить.

– Ты по-прежнему представляешься бессмертным и меняешь имя раз в двадцать лет? – улыбается Элоиза, и Теодор серьезно кивает. Разумеется.

– Я и есть бессмертный, Элиз, – с наигранной обидой говорит он. – Думал, ты поняла это за столько-то лет знакомства.

Она смеется, и Теодор слышит в ее смехе новые нотки. Прожитые ею годы оставили отпечатки в бороздках морщин возле глаз и губ, и в ее голосе: теперь он звучит ниже, многослойнее, в нем слышится грусть, даже когда Элоиза улыбается. Теодор отворачивается. Судьба зря предоставила ему эту встречу. Она – насмешка, а не дар.

Все стареют и умирают, Теодор Атлас. Все, кого ты любил, к кому был привязан и кем дорожил. Они тают и растворяются в бесчисленных годах, рок отбирает у тебя каждого, с кем сводит на твоём бесконечном пути. Рядом с тобой остаются только два неизменных спутника: смерть и сожаление.

Иногда Теодор ловит себя на мысли, что проклятие, которым наделила его судьба, слишком жестоко даже для такого грешника, как он. *Невольная слабость.*

– Мне пора, Элиз, – вздыхает он и встает, чтобы у нее не было времени остановить его и увлечь разговором, который, кажется, и не прекращался с момента их последней встречи.

– Снова сбегашь, – не спрашивает, а утверждает Элоиза. Она тоже поднимается, откидывает со лба выбившуюся из высокого пучка прядь волос и несвойственным даме ее возраста жестом кокетливо поправляет рукав шелкового платья.

– К сожалению, ты застала меня в неподходящий момент, моя дорогая, – неохотно говорит Теодор. – Я должен идти.

Элоиза прикрывает глаза, в которых прячется хитрая искорка.

– Ты такой пугливый, Тео. А я ведь даже не приглашаю тебя на чашку чая.

Пусть прошли годы, Теодор все так же думает, что их диалог просто замер в Лондоне пару десятков лет назад, чтобы продолжиться здесь и сейчас. Он вновь чувствует себя так, словно Элоиза Вебер втягивает его в свои хитрые сети и направляет мысли туда, куда ему не следует поворачивать и головы.

– Ты неисправима, – улыбается он и берет ее за руку. Его губы касаются натянутых в тонкую ткань пальцев. Теодор кланяется. – Ты же знаешь, что я не пью чай.

– Кофе, танзанийский, с южных склонов гор. В этом ты не меняешься.

Она склоняет голову в учтивом поклоне и первая покидает малую комнату, напоследок оборачиваясь и даря ему ласковую улыбку. Теперь он уверен, что видит ее в последний раз, и сердце его невольно сжимается в тисках ставших вдруг тесными ребер.

Элоиза Давернпорт. Элиз Вебер. Еще один яркий призрак его серой

жизни.

Чтобы прогнать его, Теодор зажмуривается до рези в глазах. Он думал, что похоронил эту женщину в памяти, но оказалось, что все это время она стояла в дальнем углу, накрытая стеклянным колпаком, и вот теперь выбралась наружу и напомнила о себе. Она не должна была. *Не имела права.*

На мгновение Теодор решает, что было бы вполне разумно сбежать с этого стремительно падающего в пропасть вечера и малодушно забыть о девице Карлайл. Но потом разум возвращает его к оставшейся в тени картине Уотерхауса, и это отрезвляет его.

Эскиз «Леди из Шалотт». Еще одна возможная зацепка в долгих поисках истины. Стоит пойти на риск и отыскать ее в доме скряги Стрэйдланда, даже если после этого Теодора вообще лишат права приближаться к старику и заговаривать с ним.

Он ловит пробегающего мимо официанта – совсем молодого парня с измученным лицом, – хватая с его подноса бокал с вином и выпивает одним большим глотком. Элиз Вебер должна простить ему грубость: сейчас она не имеет значения.

Теодор оставляет пустой бокал и уходит, решив, что дверей, ведущих в тайные залы Стрэйдланда, в этой гостиной он не отыщет.

Коридор и спальня тоже остаются без внимания, пока вдруг в неприметной комнатке с единственной софой и зеркалом во всю стену Теодор не обнаруживает узкую полоску света. Она едва заметно делит погруженную в темноту комнату на две половины и льется прямо из зеркальной стены.

Он подходит ближе, ни на что особо не надеясь, и тут же понимает, что зеркало – это не стена, а дверцы высокого, от пола до потолка, комод-витрины с несколькими полками, на которых лежат кожаные перчатки. Страсть Стрэйдланда к этому предмету гардероба известна многим, но Теодор знает, что она связана не с хобби, а с фобией старика, стремлением к чистоте и порядку во всем, в каждой детали его скудной жизни.

Бен как-то говорил, что за неприметными вещами, за которые старики цепляются с особой тщательностью, может скрываться большой секрет. Что ж, Паттерсон мог бы гордиться собственной проницательностью.

Потому что полки с перчатками разъезжаются, как обувной комод богатой блондинки в одном из старых фильмов, которые так нравятся Бену. Потому что за ними оказывается дверь с цифровым кодом. Потому что сейчас Теодор стоит на пороге разгадки главной тайны Стрэйдланда, и только какой-то шифр отделяет его от «Леди».

Он невольно думает о мисс Карлайл, которая наверняка придет в ужас от мысли, что на взломе погребца все не закончилось. Стоит ли втягивать ее еще в одно преступление, если она так боится оказаться по ту сторону закона?

Раз он собирается взломать замок явно засекреченной комнаты, привлекать девицу Клеменс будет излишне. Но ведь она так любит загадки...

Времени на раздумья у него не очень-то много, так что сегодня, решает Теодор, мисс Карлайл уже достаточно наволновалась, чтобы присоединиться к его последнему веселому приключению. В его сознании тут же мелькает мысль, что Бен совершенно точно поспорил бы с определением «веселый».

Как ему попасть внутрь, не зная шифра? Наверняка Стрэйдланд снабдил свои тайные комнаты всеми возможными средствами безопасности, и при неправильном наборе цифрового кода весь дом взвояет сигнализацией, а вокруг Теодора прямо из-под земли вырастут решетки.

Он склоняется ближе к двери в стальной обшивке и видит то, чего не заметил ранее. «*Deus ex machina*». Буквы тонко выведены чернилами на маленьком клочке пергаментной бумаги, который торчит в нижней дверной петле.

Это странно. Теодор аккуратно вытаскивает находку, и его удивление перерастает в настоящий шок, потому что обратная сторона загадочно поясняет: «Сон и его сводный брат Смерть»^[15].

Подсказка слишком очевидна, чтобы Теодор не испытывал жгучего желания ее использовать. Несмотря на абсурдность ситуации, сейчас он хочет отбросить подозрения и не думать. Кто-то направляет его невидимой рукой и ведет напрямик к Уотерхаусу Стрэйдланда. Жаль, что этот кто-то явно имеет физическую оболочку и пользуется перьевыми ручками, иначе Атлас мог бы списать все это на божественное провидение и божий промысел.

И тем не менее...

Испытывая странное ощущение *правильности* своих действий, что сильно разнится со всеми сегодняшними событиями, Теодор набирает шифр: один, восемь, семь...

«Не верится, что я делаю это», – думает он и вздыхает.

Четыре.

Замок пищит, дверь с тихим шипением приоткрывается, цифры на экране гаснут.

Сигнализация не сработала, небеса не обрушились на голову

преступника. Теодор вздыхает еще раз и с явным облегчением открывает дверь, чтобы проникнуть в святая святых Стрэйдланда.

Подумать о том, откуда в его руке взялась загадочная записка, он успеет и позже.

Тайный зал за секретной дверью встречает непрошеного гостя прохладой. В холодном свете ламп стены кажутся почти белыми. «Леди» Уотерхауса смотрит Теодору прямо в глаза, по обе стороны от нее – пейзажи Тернера. Как ни странно, здесь они смотрятся гораздо выгоднее, чем в нарочито музейном антураже гостевых комнат.

Определенно, Теодор сошел с ума.

Он сжимает в руке странную записку – отчего-то ему кажется правильным забрать ее с собой, не оставив никаких улик своего здесь пребывания, – и идет к картине. Ему просто нужно взглянуть на нее вблизи.

Теодор никогда не врал Стрэйдланду насчет своего интереса к его картинам. Рассмотреть, не найти никаких следов и уйти, оставив картину нетронутой. Он не испытывает мании коллекционировать шедевры мирового изобразительного искусства, они ему безразличны, если не имеют отношения к прерафаэлитам в частности и к восемнадцатому-девятнадцатому веку в общем.

Странно, что после стольких лет поисков картин Милле, Уотерхауса и их приятелей, Бен так и не понял связи между ними: в течение первых двух минут после ее получения картина становится Теодору неинтересна.

Он вглядывается в «Леди» и с привычным вниманием отмечает огрехи: здесь кисть художника оставила грубый мазок, а вот здесь краска не закрыла чернильный штрих. Но потом он вспоминает, что смотрит на эскиз.

Только эскизы художников скрывают то, что нужно Теодору: мелкие, незначительные детали, которые в окончательных вариантах теряются за более крупными или яркими вещами. Неровный штрих, витиеватая петля чернил, означающая букву, знаковый символ. *След ведьм*, позирующих художникам-прерафаэлитам, которые не знали, что имеют дело с нечистой силой.

Большинство моделей, выбранных Россетти, Милле, Уотерхаусом и Хантом из числа продажных женщин, были *рыжеволосыми*. Только не «Леди из Шалотт». Уотерхаус несколько раз менял цвет ее волос, но даже на самом первом эскизе, который украшает теперь стену тайника Стрэйдланда, женщина темноволоса. И все-таки Теодор проверяет ее с такой тщательностью, что сам себе кажется параноиком.

Молодая изящная девушка выглядит нежной и невинной, и только

одно вызывает подозрения: она смотрит Теодору прямо в душу и заставляет его испытывать странный, почти панический *страх*, который не возникает в его сердце просто так. Он не может быть наигранным.

Леди из Шалотт смотрит на Теодора, и он наконец видит: за ее спиной, на спинке кресла причудливо изгибается светлый мазок кисти. Полукружье месяца со змеей, кусающей свой хвост. Уроборос.

Он нашел *след*.

10. Час вепря

В королевской Академии художеств сегодня оживленно. На новую выставку молодых художников явился весь свет английского общества, так что он выглядит неуместно и странно в своих поношенных одеждах и с длинными волосами не по моде. Зачем он вообще сюда явился? Фомор знает, какими тропами ноги привели его к крыльцу Академии, а не в очередной паб к таким же, как и он, пьянчугам. Впервые за многие месяцы он трезв и вслушивается в новые имена. Молчаливый Милле, драчливый Хант. Габриэль Россетти, склочный британец итальянского происхождения. Новости мира, живущего своим временем, огибают его, словно он – одинокий булыжник в русле реки.

Дни, недели, месяцы, годы... Сменяются лица и целые города, но его переменчивость мира не касается, даже если он всей душой хочет стать частью людского рода, чтобы жить, стареть и умирать вместе с ним. Его больше ничто не касается, но сегодня он стоит посреди выставочного зала британской Академии и отчего-то не спешит его покинуть. Ноги привели его, ногам его и уносить.

Ей бы здесь понравилось.

– Эти молодые люди действительно совершили переворот в искусстве, – хмыкает кто-то рядом, и, оглянувшись, он замечает человека лет тридцати, одетого, пожалуй, чересчур вычурно. Рядом с ним стоит и улыбается милая молодая девушка.

Рыжая. С ореолом кудрей вокруг изящного бледного лица.

Ему кажется, что он попал в другую Англию, где рыжеволосым девицам скрывать свою природу не нужно, и для него это так странно, что он поспешно отводит взгляд, пока она не заметила его интереса.

– Раньше здесь выставлялись пейзажи и натюрморты, – хрипло отзывается он в ответ на реплику невольного собеседника. Тот, встряхнув темными волосами до плеч, радостно кивает.

– Именно! Но революция в искусстве все же случилась! Взгляните на эти полотна – в них столько жизни! – Молодой человек говорит бегло и эмоционально, с мягким акцентом, и активно жестикулирует.

– Я считал, что жизнь есть в природе, – отчего-то поддерживает он разговор, а не спешит убраться подальше. – В скалах, в горах, в том, что непоколебимо. Раньше это считалось эталоном.

– И вы согласны? – вспыхивает молодой человек. В его облике видится

что-то странное и неуместное, но сказать наверняка, что это, невозможно. Тем более теперь, когда он и сам выглядит обросшей насмешкой английскому чванливому обществу.

– Уже нет. Жизнь видится мне лишь в том, что конечно. Гранитные глыбы или океанский прибой неизменны на протяжении веков, и в этом нет ничего...

– Прекрасного!

– Ужасного. В этом нет ничего ужасного и в то же время удивительного. А вот люди с их переменчивой натурой и конечностью земной жизни пышут энергией, которую готовы тратить на гадкие, отвратительные, лживые вещи! – Он чувствует, что распалается, поэтому глубоко вздыхает, прикрывая глаза. Его собеседник и рыжеволосая спутница смотрят на него с опаской – опаской ли? – И молчат, ожидая продолжения пламенной речи.

– Простите. Кажется, мне не стоит разбрасываться подобными словами в приличном обществе снобов.

Молодой человек усмехается в ответ на его слова и протягивает руку.

– Габриэль Россетти, художник, ваш покорный слуга, написавший добрую треть этих картин! – С гордостью представляется собеседник, внезапно ставший итальянцем, чьими работами восхищается сегодня все здешнее общество. Он удивленно кивает.

– А я думал, что любитель рыжих дам будет выглядеть несколько иначе, – без зазрения совести сообщает он и протягивает ладонь в ответ.

– Вам они тоже пришлись по вкусу! – бодро отвечает Россетти и кивает на свою спутницу. – Что вы скажете об этой прелестной девушке? Это Элизабет Сиддал, моя муза, моя богиня, заключенная в телесную оболочку прекрасного тела, и, не премину похвастать, моя самая пылкая любовь.

Он дарит рыжеволосой девушке Элизабет учтивый поклон, но глаз на нее не поднимает. Ему все еще удивительно страшно смотреть в глаза рыжим, ему все еще кажется, что за один неловкий взгляд можно получить проклятие или сглаз. Еще одной такой встречи он не переживет.

А, может, это и к лучшему.

– Должен сказать, у вас довольно... необычные предпочтения, – цедит он сквозь зубы. Его невольно охватывает дрожь. Голубые глаза мисс Сиддал следят за ним с некоторым интересом, и ему хочется поскорее уйти.

– Думаете, они необычны? – охотно отзывается Россетти, и он кивает.

– Рыжие дамы. Почти на всех ваших работах. Не мог этого не заметить.

– Но вы ведь должны понимать, в рыжеволосых прелестницах всегда есть что-то чарующее! С малых лет ловлю себя на мысли, что все они – ведьмы, колдуньи, раз меня влечет к ним с невероятной силой!

На этих словах он вздрагивает уже заметнее и отворачивается. Кашель сдавливает его грудную клетку, он подносит ладонь ко рту и сплевывает на нее несколько капель крови. Возможно, ему следовало бы сходить к лекарю, перед тем как прибыть в Англию, а еще лучше – не прибывать сюда вовсе и оставить мысли о плавании в далекие края. Проживать эту несчастную жизнь можно и на мелком британском островке.

– Вы в порядке? – участливо спрашивает спутница художника. Ее рука заботливо протягивает ему платок. – Вам стоит показаться врачу, мистер... Простите, так и не услышала вашего имени.

Он быстро, но благодарно кивает и принимает из ее рук прямоугольник хлопковой ткани в мелкую клетку.

– Не беспокойтесь, лекари мне не нужны. Не помогут.

Девушка воспринимает его слова совсем не так, как он предполагает, и ее глаза расширяются от внезапной горькой догадки.

– Я... Ох, я сочувствую вам, сэр. Может, попробуете попить настой чабреца? Говорят, он творит чудеса.

Знакомые слова всплывают в его сознании, так что, забывая о своем испуге, он смотрит прямо в лицо новой своей рыжей знакомой. Та чуть заметно улыбается.

– Моя бабушка заваривала мне его в детстве, чтобы меня не мучил кашель. Правда, теперь уже вряд ли от него будет польза...

Ее подзывает к себе Россетти, и, кивнув, она возвращается к своему спутнику, оставив его, раздираемого сомнениями и новыми тревогами, наедине с картинами. Из рам, словно из окон, на него смотрят сотни и сотни лиц, и во многих из них он видит Элизабет Сиддал.

Позже ему предстоит узнать, что рыжеволосая модистка маленькой лондонской лавки шляпок стала музой всего братства молодых художников, чей революционный взгляд перевернул традиционное представление об искусстве в Академии художеств. Много позже, уже после десятилетий скитаний ему предстоит услышать, что рыжеволосая поэтесса, художница и покровительница прерафаэлитов скончалась от передозировки лауданума, а Россетти стал безумцем и пьяницей, страдающим от угрызений совести.

Через десятки лет он вдруг осознает, что пожимал руку великому художнику и его музе, и в его памяти они навеки останутся юными и счастливыми. Люди позабудут о склоках между ними, о буйном нраве итальянца и болезни Элизабет. Останутся только его картины с

запечатленной на них рыжеволосой красавицей и приукрашенная история жизни великого живописца.

Но сейчас он ловит себя на мысли, что Элизабет Сиддал может быть той, в чьих венах течет кровь ведьм, знает она сама об этом или нет. И, быть может, ему стоит познакомиться с обществом молодых живописцев поближе.

Когда он покидает выставочный зал Академии, никем не замеченный, Габриэль Россетти спрашивает свою спутницу:

– Ты не обратила внимание на лицо нашего нового знакомого? Я бы хотел, чтобы он мне позировал, мне как раз нужны такие резкие черты для Гамлета...

* * *

Вечер будничной, ничем не примечательной среды Теодор проводит в компании бокала скотча и каталога предстоящего аукциона дома Давернпорт. Элоиза и ее муж неожиданным для всех образом решили устроить торги не в столице, а здесь, среди немногочленной толпы зевак, с которых супружеская чета не соберет и ста тысяч, если вдруг Стрэйдланд, Грейвз или же сам Теодор не решат раскошелиться. Скорее всего, Элоиза пригласит своих гостей из Лондона и свезет всех в одном кэбе в тесную, по меркам столичных снобов, резиденцию Давернпортов. И очень немногие будут этому рады.

Теодор зарекся встречаться с Элоизой впредь, но она, видимо, решила, что им нужно обязательно увидеться снова, потому что на очередном развороте глянцевого каталога его взгляд натывается на факсимиле нескольких работ из альбома Берн-Джонса^[16], и среди них представлены две, наиболее интересные именно ему: «Древо ведьм» и «Золотое приветствие», отсылающее к поэме Россетти^[17].

Чертовка Элиз. Когда она успела приобрести половину акварелей Берн-Джонса?

Явиться ли ему к Давернпортам, чтобы взглянуть на «Книгу цветов» в исполнении одного из умерших копиистов? Теодор откладывает каталог на стеклянный кофейный столик, но журнал упрямо открывается как раз на развороте с акварелями.

Если верить заявленной цене, факсимиле Элоизы являются одними из первых трехсот копий, которые Джорджиана Берн-Джонс выпустила после

смерти супруга, а значит, они наиболее *точные*. Стоят ли эти работы новой встречи с Элиз? Достоянна ли надежда на новый след ведьм столкновения с прошлым, о котором Теодор старается не думать?

Он закрывает глаза, жмурится так, что кожа на висках натягивается, а кровь в ушах стучит все сильнее. Нет, нужно оставить эту идею. Ему хватит одной ниточки от Уотерхауса, за которую можно тянуть сейчас. Модель, позировавшая художнику, уже давно мертва, как и ее дети, и дети ее детей, и их дети, быть может. Но если хоть один из наследников той девушки перенял ее ведьмин дар, то у Теодора впереди есть годы и годы, чтобы отыскать его и выпытать все о проклятиях и сглазах.

Прожив столько лет, он как никто другой знает, что время неизменно, даже если весь мир утверждает обратное. Время – не бурная река, а мутное болото, и оно застыло в одном миге, которое зовется *сейчас*. Прошлое отмирает и забывается, будущее никогда не наступает, но *сейчас* вечно – оно тянется и тянется, и ему нет конца.

Оно стучится в двери с настойчивым криком.

– Мистер Атлас! Откройте мне, это важно!

Теодор почти не удивляется, что в их лавку в такое позднее время рвется некая упрямая мисс.

Он лениво поднимается на ноги, медленно натягивает халат и так же медленно спускается по лестнице. Все это время настырная девица продолжает стучать, словно дверь испугается ее рвения и распахнется перед ее носом сама.

– Мистер Атлас! Теодор!

Когда он появляется перед ней с бокалом скотча в руках, Клеменс замирает с поднятым в воздух кулаком. Она стоит перед ним с глазами в пол-лица, небрежно собранными в пучок волосами, в растянутых джинсах и кофте, слишком легкой для вечерней апрельской прохлады, словно сорвалась к гавани прямо из дома, не успев натянуть что-то потеплее.

– Что могло приключиться в одиннадцатом часу ночи, мисс Карлайл, – как можно спокойнее говорит Теодор, – что вам срочно понадобилось мое общество?

Она заправляет за ухо волосы, облизывает губы и смотрит на него снизу вверх: порог антикварной лавки выше тротуара, на котором стоит Клеменс, и сама она ниже Теодора на полголовы.

– Отцу оставили двенадцать акварелей Берн-Джонса, – запальчиво объясняет Клеменс. – До завтрашнего аукциона Давернпортов. Я подумала, что вы...

Теодор прикладывает все усилия, чтобы не измениться в лице. Ах,

мисс Карлайл, знали бы вы, какую удачу принесли сегодня с собой!

– ...Что вы захотели бы на них *взглянуть*, не так ли?

Язва. Теодор щелкает языком, махом опрокидывает в себя остатки скотча и кивает.

– Не стойте на пороге, это дурной знак.

Она молчаливо следует за ним в лавку и ждет, пока он включит все лампы. Теперь их свет отражается в стеклянной витрине со статуэтками, в напольных вазах с белыми цветами, в широких окнах и в глазах самой Клеменс. Она смотрит, как Атлас стягивает с плеч халат, оставаясь в одной рубашке, ищет пиджак, но находит только жилетку и, плюнув, довольствуется ей одной.

– Надеюсь, вы заявили в такой поздний час, потому что вам не терпится показать мне акварели? – уточняет он.

– Ох, мистер Атлас, вы не персона первой величины, примите это и успокойтесь, – фыркает в ответ Клеменс. – Считайте, что ваш визит в отцовскую галерею будет моим подарком ко дню рождения. Когда бы там он ни случился... Завтра утром акварели отправятся в лабораторию консервации, и вам не удастся взглянуть на них до самого аукциона.

Она скрещивает на груди руки, так что смешной рисунок на ее свитере – Мона Лиза в солнечных очках, и кто такое придумал? – сжимается в странную абстракцию.

– Я решила, что покупать все двенадцать работ за баснословные деньги вам не захочется, а зная вашу любовь к прерафаэлитам...

Пока она говорит, Теодор достает ключи от лавки из нижнего ящика стола и быстрым шагом пересекает небольшой зал.

– В час вепря^[18] приличные мисс не ходят по чужим антикварным лавкам, но вам я отказать не смею, – выдыхает он у выхода и щелкает выключателем. Зал снова погружается в ночную тьму, едва разбавленную светом уличного фонаря. Клеменс запинается на середине фразы.

– Идем? – кивает ей Теодор и первым покидает теплое помещение.

Антикварный магазин «Паттерсон и Хьюз» остается ждать своих хозяев – молчаливый, неприметный и темный.

– Сюда, – кивает Клеменс на старенький «Форд» цвета перезрелой вишни. Теодор справляется с удивлением уже в машине.

Клеменс проворно запрыгивает на водительское сиденье, деловито поворачивает ключ и выезжает с газона.

– Не справилась с габаритами, – поясняет Клеменс в ответ на красноречивый взгляд Теодора. – Машина папина, дома я вожу крохотный «Рено».

– В Париже? – зачем-то уточняет Атлас.

– В Лионе.

Оставшийся путь они проделывают молча: Клеменс включает радио, и салон наполняется отдаленно похожей на мелодию какофонией электронных писков, странным лязгом и ритмичными басами. Теодору все это кажется отвратительной насмешкой над музыкой. Клеменс барабанит пальцами по рулю и тихонько подпевает неизвестному, сообщаящему, что он готов стать для своей возлюбленной даже электрическим счетчиком, если она позволит ему быть рядом^[19].

Теодор абсолютно не понимает музыкальных вкусов современной молодежи, о чем красноречиво говорит его напряженная поза, пришедшая на смену расслабленному спокойному высокомерию.

– Вы, должно быть, любите классику? – хмыкает Клеменс, глядя на дорогу. – Готова поспорить, Рианна у вас в фаворитах не числится...

Уязвленный Теодор хочет ответить этой девице так, чтобы все ее желание хохмить испарилось бесследно, но она его опережает.

– Приехали! Пожалуйста, поторопитесь. Отец дал мне всего лишь час.

Клеменс выпрыгивает из машины так резко, словно сейчас разгар дня, а не поздний вечер. Она хлопает дверью отцовского «Форда», тут же ойкает и спешит по газону к галерее. Теодор едва за ней поспевает и нагоняет ее уже у задней двери, ведущей куда-то вниз.

– И снова мы с вами, как воры, спускаемся в подвалы, – усмехается Клеменс и дрожащими то ли от холода, то ли от нетерпения руками пытается попасть ключом в замочную скважину. Теодор молча берет его из ее пальцев и помогает открыть дверь. Клеменс на мгновение замирает, чтобы тут же, не глядя, кивнуть и зайти внутрь.

Она ведет его в глубь темного помещения – тесного, насколько удастся понять Теодору по тусклому свету из узких окошек под потолком.

– Это склад для старья, – объясняет она, огибая ветхий диван, который лет десять назад еще мог украшать малый зал с репликами пейзажистов. – Когда я была маленькой, папа приводил меня на работу и оставлял здесь, пока гости галереи не разошлись. А после мы с ним ходили по всем залам и рассматривали каждую картину, пока нам не надоедало...

Клеменс отпирает следующую дверь, шарит по стене рукой и радостно выдыхает, нащупав выключатель. Маленькая комната озаряется ярким теплым светом. Всю ее обстановку составляют небольшой стол, заваленный бумагами, пара стульев и кофейный аппарат в углу.

– Я сидела прямо тут, рисовала, читала книги, делала уроки, а папа проводил экскурсии или продавал что-то на аукционе, – договаривает

Клеменс и кивает на стулья. – Садитесь, мистер Атлас. Нам придется немного подождать.

Теодору начинает казаться, что с ним играют в какую-то неизвестную игру, и взбалмошная девица, разглядев в нем интерес к художникам девятнадцатого века, просто заманила его в ловушку и захлопнула крышку. Теперь она может устанавливать свои правила и ничего ему не объяснять.

– Не знаю, понимаете ли вы, мисс Карлайл... – нехотя начинает он. – Но я не большой любитель загадок и тайн.

Она отчего-то фыркает и тут же становится равнодушно-участливой, словно не хотела выдать себя этим жестом. Теодор хмурится еще больше.

– Почему вдруг отец позволил вам взглянуть на акварели, которые ни вам, ни тем более ему не принадлежат? – спрашивает он, но на предложенный стул садится и закидывает ногу на ногу. Клеменс, видимо, расценивает эту позу как вызов и складывает руки на груди.

– Потому что я его попросила, – отвечает она. – Естественно, он будет стоять рядом и наблюдать за тем, как вы наблюдаете. Я обо всем его предупредила.

– Что не может не удивлять.

Это странно. С первого дня знакомства Генри представлялся Теодору мягким, но принципиальным, и подобный шаг с его стороны кажется удивительным. Теодор считал, что смотритель художественной галереи не смешивает семейные отношения с работой.

Или он просто мало знает о семейных отношениях.

– Любопытно, родители всегда потакают вашим просьбам? – спрашивает Теодор. Клеменс покрепче стискивает пальцами локти. Нервничает? С чего бы это?

– Они вовсе мне не потакают, – решительно заявляет она. – Моя мать держит меня и всех вокруг в ежовых рукавицах, а отца я вижу раз в два года с одиннадцати лет.

– Значит, вы совсем не избалованная леди? Ни французским обществом, ни вниманием родителей?

Теодор откидывается на спинку стула и запрокидывает голову, все еще не сводя внимательных глаз с лица Клеменс.

– Откуда же столько прыти и упрямства? Вы не похожи на притесненную особу.

– Считайте это целеустремленностью, – парирует она и опускается на стул напротив Атласа. – Когда живешь на две страны и два дома, особенно с такой матерью, как у меня, приходится решать свои проблемы самостоятельно.

– Вы не очень-то жалуете собственную мать, – замечает Теодор.

Клеменс, не сдержавшись, усмехается. Слабый пучок на ее затылке распускается окончательно. Пряди волос падают ей на спину и плечи. В ярком электрическом свете Теодору на мгновение чудится в них рыжий отблеск.

– Мы не сходимся во взглядах на жизнь, – говорит Клеменс, хмуря брови, пока Атлас моргает и прогоняет невольное виденье. – В частности, на мою личную жизнь. У мамы весьма четкое представление о том, что и как я должна делать, и мое мнение в ее идеальном мире, увы, несущественно.

– Вот как?

– Ее не интересуют мои личные желания.

Клеменс закатывает глаза и, несмотря на напускную серьезность, все равно кажется взъерошенным птенцом. Это мешает принять ее раздражение всерьез.

– И чего же вы желаете? – спрашивает Теодор и сам не понимает, говорит ли это в шутку или же их разговор приобретает более серьезный оборот.

Она удивленно вскидывает брови. Теодор невольно гадает об оттенке ее глаз: мутное ли это болото или ясный родник. Вдруг в тесной комнатке полуподвального помещения художественной галереи он ловит себя на мысли, что граница между его видениями и реальностью стирается быстрее, чем он думал. Чем он бы того желал.

– Чего я хочу? – переспрашивает Клеменс. Она кусает губу и выглядит очень неуверенной, напускная бравада сползает с нее, обнажая маленькую девочку, забытую родителями в тесной кладовой.

– Да, – выдыхает он, прикрывая глаза. – Чего бы вы хотели для себя?

Теодор позволяет миру кануть в полумрак опущенных век. Он слышит только, как Клеменс часто дышит, ерзает на стуле и наконец находит точку опоры. Теодор открывает глаза и натывается на ее упрямый взгляд.

– Я бы хотела знать правду, – говорит она. – Скажите мне, кто вы такой?

Вопрос звучит неожиданно.

– Хотите услышать правдивую сказку, мисс? – вздыхает Теодор и умолкает, будто ему действительно нужен ее ответ. Клеменс разочарованно поджимает губы. Сверлит его сердитым взглядом. И сдается.

– У нее счастливый конец?

– У нее нет конца.

VII. Солнце в русых волосах

Влажный утренний ветер гуляет по комнатам. В доме душно, воздух с океана – соленый, тяжелый. Он оседает на всем, до чего способен дотянуться, и остается лежать каплями утренней росы, пока солнечные лучи, которые пробьются сквозь тучи уже к полудню, не прогонят его прочь.

Серлас просыпается первым. Он глубоко вздыхает и выбирается из постели, стараясь не потревожить спящую Нессу. Ее лицо в сиянии утра кажется ему прекраснее всех лиц на свете, даже если бы он видел их миллионы и миллиарды.

Он улыбается, натягивает штаны, меняет ночную рубаху на рабочую и выходит, тихо прикрывая за собой дверь их маленькой спальни. Постель Нессы не широка – вдвоем они умещаются в ней с большим трудом, – но теплая, нежная: из нее не хочется выбираться. С сожалением он идет на задний двор, где умывается холодной колодезной водой. Воду для Нессы он приносит с собой в ведре. Ставит его в кухне, ворошит угли и разжигает новый огонь.

За эти три месяца в его жизни почти ничего не изменилось: он все так же помогает Нессе по утрам, днем косит траву для домашнего скота в роще неподалеку или вспахивает поле под новые посевы, ездит в город за рыбой и одеждой, ругается с бакалейщиками; изредка перебрасывается несколькими добрыми словами с Мэйв и ее матушкой, здоровается с мельником, а дом Дугала обходит стороной. Только все эти три месяца он возвращается по вечерам и знает, что его ждут.

Несса прядет и поет песни, пока в ней растет дитя. Серлас сидит у камина, слушает ее старые сказки и засыпает у ее ног, как преданный пес. Тогда жена отводит его в спальню, их спальню, и убаюкивает колыбельными – ребенка в своем чреве и мужчину, который спит рядом крепким хорошим сном.

Она больше не говорит, что ему рядом с ней не место. Не просит его уйти. Наоборот, цепляясь за него, как за спасительную соломинку в бушующем море назревающих перемен, она, кажется, впервые принимает Серласа как мужа.

Об отце ребенка они не говорят. В тот единственный раз, когда Серлас попытался спросить, его свело судорогой и он не смог вымолвить ни слова. В тот вечер она догадалась обо всем сама и медленно качнула головой,

закрывая глаза, так что по щеке ее скатились две слезинки. Они растаяли, едва Серлас прикоснулся к ним.

Он вспоминает тот вечер, будто это было вчера, а не три месяца назад, еще весной. Сейчас в Ирландии царит лето, влажное и пасмурное, но посевы всходят на благодатной земле у берегов их гавани, а рыбаки добывают столько рыбы, что ее теперь приходится отвозить в соседние города.

Серлас идет в кособокий маленький хлев, чтобы задать корове сена, и бледный луч солнца, появляющегося из-за облаков, режет его по глазам. Он жмурится, прикрывает лицо рукой.

Перед внутренним взором встает заплаканное лицо Нессы в тот роковой вечер. Зачем она видится ему такой? Почему он не вспоминает, закрывая глаза, другие моменты – счастливые, радостные, от которых захватывает дух? То, как она поет, мнет голыми руками тесто, развешивает над притолокой пучки собранных в поле трав, то, как она улыбается или тихо наговаривает пряже свои мысли, или сидит у камина и смотрит в огонь, и лицо ее в такие моменты умиротворенно и спокойно. Почему Серлас не видит его, засыпая, а всегда вызывает в памяти только залитые слезами щеки и большие глаза цвета поздней сухой травы, в которых не видно дна?

Кажется, кто-то заговорил его наблюдать в самом себе только страдание той, кого он любит, а не ее счастье. Оттого, быть может, каждая ее улыбка отдает горечью, словно Серлас пьет дикий мед, ощущая на языке приторную сладость, которая всегда оборачивается ложью?

У него нет ответов, он не хочет задавать вопросы даже самому себе, а уж спрашивать подобное у Нессы... Немыслимо. Незачем.

Он должен радоваться каждому дню с ней и жить этой новой жизнью, потому что впервые ему не хочется ворошить прошлое и копаться в памяти, чтобы вспомнить себя прежнего. Он рад тому, что есть у него сейчас.

Это ли не счастье?

Он возвращается в дом, когда солнечные лучи уже пронизывают их маленькую кухню насквозь, а ветер, утихомирившись, треплет траву у берега, не задевая развешенного за окном белья. Тихо мурлыча под нос очередную мелодичную песню, у стола стоит Несса и наливает в глиняную чашку только что заваренный травяной чай, от которого пахнет мятой.

– Ты рано проснулся, – говорит она вполголоса, словно в их доме спит еще кто-то, кого она боится потревожить. Круглый живот, обтянутый свободным платьем, делает Нессу неуклюжей, и во всех ее движениях теперь сквозит осторожность. Серлас смотрит на жену, устало

привалившись плечом к дверному косяку.

Грудь сжимает от болезненной, тянущей нутро нежности.

– Что? – улыбается она, прячась от его взгляда под распущенными волосами. – Что ты на меня смотришь?

– Любуюсь тобой, – говорит он и, подойдя к столу, отнимает у нее тяжелый глиняный чайник.

Несса пытается делать вид, что его слова ее не смущают, только Серлас все равно видит, как румянец неровно заливает ее щеки. Иногда она краснеет так сильно, что даже ее волосы опалает жар, и кажется, будто они делаются ярче, рыжее. Серлас гонит воспоминания и снова оказывается в теплом доме с мятным запахом чая. Жена наклоняется к нему над столом.

Ее пальцы аккуратно убирают за ухо непослушные жесткие пряди его волос, темные, как смола. Две ладони с сердцем на обручальном кольце путаются в них, и Несса тихо смеется.

– Тебя бы подстричь, – улыбается она. Серлас медленно кивает, хотя слов разобрать не может – он утонул в теплом прикосновении и закрыл глаза против своей же воли.

Несса может веревки из него вить – он не против.

Пока они неспешно завтракают и вместе приводят в порядок и кухню, и поросший травой задний двор, солнце успевает по дуге обойти их побережье и впиться лучами в согнутую спину Серласа. Он рубит дрова, скинув с себя рубаху, а Несса, напевая громче, чтобы ему было слышно, сидит у открытого окна и вышивает на маленькой хлопковой сорочке веточку рябины.

В солнца лучах голос речь поведет:
Шорох, и шепот, и олова звон...

Серлас на миг замирает, переводя дух: пот градом стекает по его лицу, тело охватывает жар, кожа спины покрывается спасительной испариной. Душно, влажно. На губах остаются соленые капли, которые он слизывает языком и тут же трясет головой, как собака, чтобы согнать с себя лишний пот. Замечает косой взгляд Нессы и невольно усмехается. Она смущенно поджимает губы.

Глухой стук топора возобновляется. Звук разносится на милю вокруг – рядом нет ничего, что стало бы ему препятствием, и потому он стелется вдоль земли и падает с обрыва прямо в океанский прибой. Ветер возвращает только напоминание, а Серлас слышит только шелест травы

под своими голыми ступнями.

– Воды? – спрашивает Несса, когда он подходит к ее окну и, склонившись к раме, опускает на руки тяжелую горячую голову.

– Я схожу к бухте, искупаюсь, – отдышавшись, отвечает он. – Дождешься меня? Я вернусь и накрою на стол.

Несса смеется.

– Серлас, накрывать на стол – моя забота! Ты же знаешь правила, я учила тебя.

– Не все ли равно? – Серлас улыбается и, перегнувшись через окно, оставляет на губах жены легкий поцелуй. Она хмурится. – Твои котлы слишком тяжелые, а Ибха говорила, что теперь ты должна...

– Да, знаю, – сердится Несса. – Должна себя побережь.

Иногда Серласу кажется, что он заботится о нерожденном ребенке Нессы больше, чем она сама, и это смущает его. Он ходит к знахарке за микстурами и порошками раз в две недели, слушает ее наставления, запоминает их куда лучше уроков этикета, которые по вечерам дает ему Несса. Все в городе считают, что она ждет его дитя, даже Ибха и Мэйв не знают всей правды. Несса говорит, что так будет лучше, и Серлас согласен с нею: если кто-то из горожан вдруг поймет, что она понесла от колдуна, ребенка убьют.

Только ведь он невинен. Верно?

Эти сомнения терзают душу Серласа по ночам, когда он не может уснуть и слушает тихое дыхание Нессы, стараясь унять бешеное сердцебиение. Что, если его убеждения неправильны? Что, если детей колдунов и ведьм стоит убивать так же, как и их родителей? В Трали твердят лишь об этом: ведьмы не должны ходить по их землям и нести смерть в дома мирных жителей. Ничего хорошего не следует ждать от прислужниц дьявола, не стоит им верить.

Их стоит бояться и предавать огню.

Что, если колдовские дети – то же зло?

Вот что ядом отравляет разум Серласа. Расходится со всеми его убеждениями – сколь бы многочисленными они ни были. За все то время, что он жив, по-настоящему жив сейчас, больше, чем в Господа, больше, чем в навязанные правила этикета, пересуды горожан, больше, чем в загадочные предсказания, Серлас верит в любовь.

В тихие песни Нессы, ее улыбку, разметавшиеся по подушке русые кудри волос, в мягкость ее кожи и губ, в тихое дыхание ранним утром, в то, как смешно она морщит нос, когда недовольна, что он снова перепутал столовые приборы... И даже в растущее внутри нее дитя. Несса не

замечает, как легонько проходится пальцами по круглому животу, подставляя его солнечным лучам, как улыбается вечерами, думая, что Серлас не видит, как радостно говорит, что ребенок отозвался на ее голос. Не значит ли это, что она *любит* его?

Кем бы ни был отец его, ребенок любим Нессой. И оттого он невинен.

Если бы Господь внял молитвам Серласа и подтвердил терзающие его сомнения... Но Он нем к его душевным мукам, поэтому Серлас следует зову сердца, а не разума.

Сердце держит его в маленьком Трали, сердцу и вести его дальше по жизни. Бок о бок с женщиной, спасшей его от смерти. Бок о бок с ребенком, что обязан родиться в любви, даже если зачат он был в горе.

Он невинен.

Серласу приходится повторять себе это каждый день с той самой ночи, приходится просыпаться с этой мыслью и засыпать, а в свете дня бороться с сомнениями, что грызут нутро.

Он чист.

Ребенок еще не родился, но с каждым мгновением он растет, и Серласу страшно за тот день, когда он появится на свет. Каким будет его первый крик? Как его примет Несса?

Как его примет Серлас?

Холодные воды океана принимают его в соленые объятия, и на несколько минут он забывает обо всем. Смыть с себя пот, смыть сомнения – они напрасны и бессмысленны. Ему хочется верить в свои идеалы, пусть похвастаться долголетием они и не могут.

Все, что Серлас знает, живет в нем всего полгода, но этого срока достаточно, чтобы он понимал: своему сердцу нужно верить.

* * *

Ноги приводят его к дому лишь спустя час. Штаны намокли, рубаха побывала в кустах можжевельника, так что одежду пришлось сушить при догорающем свете дня. Серлас устало бредет к своему двору, лениво водя пальцами по высокой сухой траве. Мысли едва ползут: забыл подоить козу – упрямыца отчего-то перестала даваться Нессе – и молока в доме не осталось, а микстуру от Ибхи она принимать без него не может, скосить бы завтра половину участка, иначе к концу июля тот зарастет целиком...

Когда довольный миром и всем в нем Серлас возвращается домой,

Несса его не встречает. Вместо этого он слышит плеск воды на заднем дворе и идет посмотреть, в чем дело.

Жена выливает в бадью для скота грязно-коричневую воду. В ее сгорбленной спине Серлас мгновенно читает напряжение и... Испуг? Словно она не ожидала столь раннего его возвращения.

– Что ты делаешь? Что за вода?

Несса выпрямляется и смахивает с лица влажные волосы. Серлас смущается еще больше.

– Ты упала в чан с водой?

– Не говори глупостей, – отвечает она резче, чем обычно. Выпускает из рук ведро, и оно с глухим стуком падает ей под ноги. – Промывала волосы крапивой.

Ах, опять эти выдумки травницы... Серлас кивает, решив, что ответом он доволен, но внутри него что-то дрожит и нервно скребется. Почему Несса злится? Как будто бы на него.

– Давай я заберу ведро, – говорит он, чтобы как-то загладить странно возникшее чувство вины. Что его так побеспокоило? – Иди в дом, пока не простыла.

– Ох, да я в порядке! – всплескивает руками Несса, но послушно уходит. В дверях, пока Серлас не видит, она оборачивается, вздыхает и устало улыбается.

Пока они вместе молча готовят нехитрый ужин, Серлас замечает слабый аромат, исходящий от ее волос. Точно, крапива. И чай, быть может?

– Пока тебя не было, к нам заходила Мэйв, – говорит вдруг Несса. Серлас опускает руку с занесенным над хлебом ножом.

– Отчего не дождалась ужина? Последний раз я видел ее в том месяце на базарной площади. Мы едва перемолвились парой слов.

– Спешила, должно быть, – пожимая плечами, отвечает Несса. – Мы тоже недолго говорили. Она хотела с тобой повидаться.

Серлас не продолжает разговор, зацепившись взглядом за сбившийся фартук на животе Нессы. У нее в кармашке лежит веточка крапивы, и это забавляет его в той же степени, сколь и смущает. Последний месяц Несса приносит в дом все больше трав, хотя продавать их уже некому: сама она в город не ездит, а Серлас в травах разбирается так же, как и в этикетке.

– Зачем столько крапивы? – спрашивает он, усмехаясь своим мыслям. А Несса вдруг злится, бросает плоску на стол и отходит, словно его охватил огонь.

– Ты слушаешь меня? Мэйв хотела с тобой повидаться. Ради тебя приходила.

Она не повышает голос – она никогда не повышает голос на любого, кто входит в ее дом, но Серлас прекрасно слышит гнев, который она пытается скрыть за напускным спокойствием, видит сцепленные в замок пальцы рук – костяшки на них белеют от напряжения.

– Что с тобой? – опешив, спрашивает он. – Я ни словом, ни делом не хотел бы тебя обидеть, но ты злишься, беснуешься даже. В чем причина?

Несса резко выдыхает и обхватывает руками живот. Отворачивается и упирается взглядом в сиреневые веточки вереска на подоконнике, которые сама же с утра разложила сушить. Серлас не знает, стоит ли ему подходить к ней и протягивать руку – или же лучше уйти совсем?

Он не двигается несколько долгих мгновений, тяжело дышит, слушает ее дыхание. Она похожа на вспыхнувший огонек в камине, вся напряженная, странно злая. Косые лучи заходящего солнца высвечивают в ее волосах яркую рыжину.

– Прости меня, – выдыхает Несса и наконец возвращается и мыслями, и взглядом к Серласу. Он со страхом замечает, что в ее глазах застыли слезы.

– Господь... Что случилось?

Ему хочется подскочить к ней, схватить за плечи, прижать к себе, чтобы уберечь-убережь-убережь от всего пугающего, от всего, что ее страшит, но Серлас будто пригвожден к полу этим неожиданным взглядом. Он не может пошевелиться, только чувствует, как покрываются мурашками спина и шея.

– Несса!

Она всхлипывает, окончательно приводя его в смятение.

– У меня рыжие пряди в косе, Серлас! – восклицает Несса. – Рыжие, понимаешь?

Сердце Серласа ползет из груди в пятки и застревает где-то посередине. Его удары отражаются в животе, в дрожащих коленях, в горле, куда отдаются эхом.

– Это ничего не... – Слова застывают в ставшем холодным воздухе и звонко падают на пол. Несса медленно качает головой, так что Серлас сразу же все понимает. – Мэйв заметила?

Когда она кивает, он и сам это видит: у корней кудри ее волос становятся огненными, будто их целует закатное солнце. Только оно уже село, и мир медленно погружается в вечерний сумрак, а волосы Нессы продолжают пылать.

– Мэйв думает... – тихо говорит она, словно продолжая свою речь, а не запинаясь на каждом звуке. – Она думает, что я ведьма, Серлас.

Редкие рыжие пряди вспыхивают при этих словах, их становится больше. Рыжина расползается по всей голове Нессы.

11. Разбитые сердца

– Жил-был Человек, – говорит Теодор. – Он так хотел быть любимым, что закрывал глаза на Обман.

Клеменс кивает, чувствуя, что ситуация противоречиво смешна: Теодор Атлас рассказывает ей сказки в подвале под галереей ее отца и делает это с таким видом, будто ничего серьезнее она в жизни не слышала.

– Поразительно, что единственная сила, способная возродить, – как говорят все истории, которым сказать больше нечего, – именно эта сила может и низвергнуть человечество до самых низших форм существования. И это всего лишь за мгновение, заметь.

Клеменс выгибает бровь, и, хотя Атлас смотрит на нее, скепсиса на ее лице он не замечает. Она уверена, что он сейчас далеко за пределами этой тесной каморки. Он тербит кольцо на мизинце, и мелькающие туда-сюда серебряные ладошки на нем заволаживают.

– Человек так желал любить, что не видел, как его оплетают лживыми обещаниями. Он взял на себя обязательства, ему не принадлежащие. Он взвалил на свои плечи тяготы, которые не были ему предназначены. А в благодарность ему не досталось ни одного хорошего воспоминания. Только боль.

Едкое слово наливается тяжестью и повисает в душном воздухе. Атлас, сгорбившись, сидит на неудобном стуле. Клеменс дрожит от холода. Если бы сейчас она вдруг стала невидимой, для Теодора ничего бы не изменилось.

– Сильно же вас обидели... – хмыкает она. Где-то в груди, не давая поймать себя за хвост, скребется странное ощущение, будто ей неприятно (*неприятно?*) все это слушать, но Клеменс заталкивает его поглубже.

– Что ты... – Он словно просыпается, выныривает из океана чего-то своего. – Вы. Что вы сказали?

Придумать ответ, не сочавшись язвительным цинизмом, Клеменс мешает скрип двери. Она открывается, и на пороге появляется Генри Карлайл.

– О, вы уже здесь! – восклицает он таким тоном, будто говорит: «Конечно же, я так и думал и специально выжидал, когда вы наговоритесь». Клеменс кидает на отца укоризненный взгляд, но тот отмахивается.

– Мистер Атлас, рад видеть вас, хоть и час теперь довольно поздний.

Пройдемте? Я дам вам минут сорок.

Теодор встает и, не глядя на Клеменс, кивает ее отцу. А потом разворачивается и уходит вслед за ним по узкому коридору, заставленному коробками и пыльными стопками книг. Клеменс хочет возмутиться, но времени на капризы не остается – она вскакивает со своего места и догоняет уходящих мужчин.

Втроем они минуют несколько дверей: одна ведет к уборным для персонала, другая – в западное крыло, где хранятся экспонаты перед выставками, третья – к лестницам на первый этаж, где обыкновенно проходят званые вечера. Генри шагает к той, что открывает аукционный зал. Если пройти его насквозь, знает Клеменс, можно попасть в дальние комнаты, где отец подготавливает лоты.

Сейчас, в половине двенадцатого ночи, просторный зал кажется чересчур пустым и пугающим. В детстве Клеменс боялась приходить сюда в одиночестве: ей мерещилось, что из темных углов на нее смотрят злые глаза, а из-под пустых картинных рам лезут бледные руки чудовищ, которые хотят утащить маленькую девочку в свой потусторонний мир. Когда Клеменс было всего семь лет, она считала, что по другую сторону картин есть иной мир: в нем нет красок, в нем все черно-белое, а красота и жизнь оборачиваются уродством и смертью. Как только мать забрала ее во Францию подальше от отца и его галереи, эти мысли перестали посещать ее голову.

Теперь, когда она повзрослела, пустой темный зал больше не являет ее воображению чудовищ, но мир своих фантазий Клеменс все еще помнит. Там было жутко. Как он вообще зародился в голове доброжелательной девочки?

– Ума не приложу, чем вы сумели так очаровать мою дочь, – доносится до нее голос отца. Обращается он к Теодору, и оба выглядят удивленными. – Шучу-шучу, – тут же смеется Генри, заметив, каким взглядом опалает его Клеменс.

Он открывает последнюю дверь и впускает посетителей внутрь. Здесь – его мир. Клеменс с детства знает, что прикасаться к вещам в кабинете отца ей запрещается. Став взрослой, она все еще боится дотрагиваться до стоящих на подставках экспонатов, словно не доверяет рукам.

Зато господин Атлас, находясь среди неживых предметов искусства, чувствует себя прекрасно. Гораздо комфортнее, чем среди людей.

– Сорок минут, мистер Атлас, – говорит Генри, кивая в дальний конец комнаты, где на стене висят в подготовительных рамах все двенадцать миниатюр кисти Берн-Джонса.

Света в помещении преступно мало – только пара настенных бра

напротив дверей и слабая флуоресцентная лампа под потолком, которая выхватывает из теней только центр зала, а углы оставляет во мраке. Клеменс замирает рядом с Генри и касается его плечом, пока Теодор неспешно идет к ожидающим его акварелям и так же неспешно, вальяжно даже, разглядывает каждую миниатюру с вниманием, коему могла бы позавидовать любая девица. Не зря говорят, что мистер Атлас ценит только тех людей, которые давно умерли и оставили в мире след из своих произведений. На живых ему наплевать.

– Пап. Спасибо, что разрешил нам взглянуть на картины, – шепчет Клеменс. Генри хмыкает, скрещивая на выпирающем животе пальцы рук.

– У тебя странные предпочтения, Бэмби, – говорит он. – Сходили бы лучше в кино или паб неподалеку от нашего дома.

Клеменс вспыхивает и радуется, что в сумраке зала не разглядеть ее щек.

– Это не свидание, папа! – шипит она. – Я просто хочу понять, что он ищет на этих чертовых картинах!

Генри скептически щурит глаза и косится на пышущую неподдельным возмущением дочь. Она поджимает губы.

– Прежде тебе нравились мужчины куда глупее, чем он.

– Очень смешно. Он мне *не* нравится. Он мне *интересен*. Это... другое.

Отец издает странный звук, призванный означать смесь недоверия и скепсиса, но поскольку он добродушнее женщин своей семьи, Клеменс не может утверждать, будто Генри Карлайл вдруг снизошел до сарказма.

– Я сегодня говорил с твоей матерью, – говорит он внезапно. Столь резкий переход, тем более в сторону матери, Клеменс совсем не нравится.

– Вы же не общаетесь, – удивляется она. Не раздражаться не выходит.

– Она искала тебя, а ты забыла телефон дома, – объясняет отец. По его тону можно понять, что он тоже недоволен. – Пришлось поговорить. Тебе следует отвечать на ее звонки, Бэмби.

– Нет, не следует. Она обещала, что будет звонить только по самым неотложным случаям, но это вовсе не значит, что я должна подбегать к телефону каждый час в течение дня. Я здесь отдыхаю от ее тирании, и ей это прекрасно известно.

– Вот поэтому она и злится, – говорит отец. – Ты же знаешь ее.

– Она злится по любому поводу, – отмахивается Клеменс. – Не вижу смысла пытаться избежать неминуемого.

Упоминание о матери раззадоривает и ее саму, так что она недовольно поджимает губы и скрещивает руки на манер отца. Внутри сворачивается

тугой узел, который, как она надеялась, остался во Франции, в доме Оливии, потому что здесь ему не место. Тем более теперь, когда она так близко к разгадке...

– Твоя мать была очень удивлена, что ты *все еще* пишешь свой диплом, – говорит отец тоном, по которому становится ясно: он завел этот неожиданный разговор только ради финала.

Клеменс чувствует, что по позвонкам на спине к ее затылку начинает подбираться неприятный зуд.

– Странно, что мама вообще интересуется моей работой, – отвечает она. *Пожалуйста*, пусть сейчас отец ничего не говорит!

– Это к слову пришлось. Но теперь я тоже пребываю в замешательстве. Ты же сказала, что...

– Папочка, давай потом, – скороговоркой выпаливает Клеменс и срывается с места, будто под ней горит пол.

Потом, они поговорят об этом потом! *Не при Теодоре!*

Клеменс подходит, а он ни жестом не выказывает, что ее заметил. Стоит, сцепив руки за спиной, и пристально смотрит уже на третью по счету акварель. «Пламенная пустошь»^[20]. На взгляд Клеменс, «Шиповник» все-таки не нуждался в подобиях.

– Вы же знаете, что это отсылка? – спрашивает она спустя пару минут молчания. Собеседник из Теодора Атласа совсем неважный, но стоять рядом и не пытаться хоть как-то расшевелить его просто невозможно.

Естественно, он и глазом не ведет.

Даже в такой поздний час Теодор непостижимым образом оказывается одет в брючный костюм, и Клеменс рядом с ним выглядит домашней девочкой – не хватает только тапок с мордой зайца или лисицы. От этого разительного отличия она чувствует себя еще неувереннее.

– Папа говорил, что две работы из цикла «Шиповник» висели в его галерее лет семь назад, – продолжает гнуть свое Клеменс. – Вам бы они понравились, Берн-Джонс писал очень мягко и...

– Я видел их, – отрезает Теодор. Сердце девушки ухает в желудок.

– Правда? – хрипло переспрашивает она. – И вы оценили?..

– Первые две^[21] я не разглядывал, а за «Садом во дворе» и «Беседкой Розы» пришлось гнаться через полстраны в Оксфордшир.

Фраза только подтверждает догадку Клеменс: Теодору неинтересны полотна, на которых не изображены женщины. И это у нее странные предпочтения?

– Их вы тоже просто рассматривали?

Он оглядывается на нее и шикает, прежде чем шагнуть к следующей миниатюре. Значит, «Пламенная Пустошь» ему тоже не понравилась.

– Вы создаете впечатление благовоспитанной леди, – говорит вдруг Теодор. – До тех пор пока не открываете рот. Ваша язвительность порой совсем не к месту.

На очередную провокацию Клеменс не поддается только потому, что он продолжает говорить вслух:

– Вы очень похожи на ведьму... Ту, с энциклопедией в голове. Она теперь символ всех зазнаек.

– Гермiona? – удивленно отзывается Клеменс. – Она мой кумир.

– Не сомневаюсь...

Теодор минует две-три акварели. Замирает перед «Wake Dearest»^[22], и Клеменс отмечает про себя некую последовательность в его выборе. Только он недовольно хмурится и уходит дальше.

– Что вы так упорно ищете на картинах?

Он раздумывает пару мгновений – на хмуром лице сменяются сомнение, недоверие и, наконец, согласие с внутренними противоречиями.

– Ведьм, – просто говорит Теодор. Клеменс не знает, когда ее удивление будет иметь предел.

– В работах прерафаэлитов?

Теодор смотрит на нее с таким снисхождением, что ее скепсис тут же испаряется.

– Разумеется! – отвечает он. Ах, ну конечно...

– Значит, вы не думаете, что все женщины – ведьмы? – заводит Клеменс, следуя за ним вдоль стены. – Ищете особенных?

– Не говорите глупостей, мисс, – фыркает Теодор. – Абсолютно каждая из вас – ведьма. Просто не все это понимают.

На языке снова вертится язвительная фраза, но Клеменс заставляет себя смолчать. «Вы знаете, мистер Атлас, а я ведь...». В чувство ее приводят шаркающие шаги отца.

Не стоит говорить об этом так прямо. Тем более сейчас. Тем более при отце.

Неуверенность в себе оборачивается совсем не теми словами, на которые она рассчитывала:

– Должно быть, та женщина разбила вам сердце?

В груди снова скребется неприятное, ненужное чувство, будто какой-то мерзкий зверек проковыривает в ее солнечном сплетении дырку. Клеменс отворачивается, чтобы не смотреть в лицо Теодору, хотя больше всего ей хочется видеть реакцию на свой выпад.

Он отвечает не сразу. Отходит в сторону – прочь от нее, вдоль акварелей – и останавливается напротив последней, двенадцатой.

– О какой женщине вы меня спрашиваете? – спрашивает он. Клеменс вспыхивает против воли.

– А их было несколько? Я думала, сердце разбить можно только однажды.

Только бы не заметил, какой обиженный у нее тон, думает Клеменс, а сама ждет от себя новых язвительных комментариев, не имеющих права на жизнь.

– Вы бы знали, что это не так, если бы вам хоть раз его разбивали, – усмехается Теодор. Клеменс приближается и поднимает голову. У его глаз нет дна, в них сплошная темнота, а в полумраке зала нет и надежды на проблеск. Даже на тот странный блик в левом глазу, который она замечала ранее.

– И сколько же раз *ваше* сердце было разбито?

Она думает, что он уйдет от каверзной темы, увильнет, как и раньше. Но Теодор отвечает почти сразу же.

– Десятки, любопытная мисс. Но лишь дважды – женщинами. – Он кривит губы и подливает масла: – Вы ведь это хотели узнать?

Витиеватая фраза никак не складывается в картинку. Видимо, Атлас замечает ее недоумение, потому что спешит разуверить.

– Не только люди способны на подобные зверства. Когда вы станете старше, то поймете меня. Сердце человека – слишком хрупкая вещь, которая бьется от любого неверного слова или поступка.

– Так вы сами себя мучили? Зачем?

Теодор усмехается. Горькой, совсем не похожей на его обычную, усмешкой.

– Достойный конец, мисс Карлайл, нужно заслужить.

* * *

Клеменс раздумывает над его словами все то время, пока он оценивает акварели и переговаривается с ее отцом. И даже за тихим чаепитием, которое радушный смотритель галереи устраивает после, она не может выкинуть из головы въедливую фразу. Странную, будто сошедшую со страниц классического романа, не в меру пафосную. И неправильную.

– Некоторые считают, – говорит она, прерывая разговор Теодора с

Генри, – что искупление возможно только через страдания. Не хочу вас судить, мистер Атлас, но подобная философия до добра не доводит. Равно как и до самого искупления, если вам действительно есть о чем сожалеть.

Теодор отнимает ото рта чашку с чаем – жасминовый, любимый сорт Генри и Бена, на почве пристрастия к которому эти двое сошлись едва ли не ближе Атласа.

– Но вы судите, мисс Карлайл, – ехидно отзывается он со своего края квадратного стола. Клеменс сидит напротив и крутит в прохладных пальцах белую чашку с принтом кувшинок Моне. – Любопытно, за вас говорит ваша неуверенность или воспитание?

– Простите?

– Вы не хотите осуждать – и осуждаете. Не хотите показаться язвительным циником – и выворачиваете слова наизнанку. Это ваш характер или привитые матерью-француженкой привычки?

Генри тихо смеется, не разжимая губ.

– От матери ей многое досталось, мистер Атлас, но язвить она научилась самостоятельно.

– Папа!

Клеменс надувает губы, но, спохватившись, пытается сдержать лицо. В итоге оно выражает неуверенное раздражение, словно она сама не может решить, разозлиться ей или обидеться. Теодор в который раз видит смесь этих эмоций. Это забавляет и пугает его одновременно.

Бен всегда выражает и словами, и действиями то, о чем думает в данный момент, его эмоции направлены и имеют один окрас. Понимать его просто с малых лет. Сидящая же перед Теодором девушка, несмотря на спокойный с виду нрав, кажется заключенной в сосуд бурей. Все, о чем она думает, отражается на ее лице, и оттого понимать ее сложнее в разы: она говорит тихо, в глазах пылает негодование. Как ей верить? О чем она думает, пока ее губы сжимаются в тонкую линию и говорят: «Я не пытаюсь судить, а выражаю собственное мнение»?

Теодор усмехается, делая последний глоток.

– Как скажете, мисс Карлайл.

Он со стуком ставит на стол чашку с «Баром в Фоли-Берже»^[23], виновато потирает ее ручку за дерзкое обращение и наконец встает с места.

– Спасибо за этот вечер, Генри, – говорит он. – И за чудесную возможность пообщаться с... Берн-Джонсом. Я понимаю, что с вашей стороны это был рискованный шаг, и я его оценил.

– Благодарите Клеменс. – Генри тоже поднимается на ноги, протягивая Теодору руку. Они обмениваются прощальным рукопожатием резко и

быстро.

– Мисс Карлайл. – Клеменс смотрит ему в глаза. – Спасибо за заботу о моих предпочтениях. Провожать не нужно, разве что вы решите присоединиться ко мне в пабе. Нет? Вижу, что нет.

Он уже направляется к дверям каморки, когда она кидает ему уверенное: «До встречи, мистер Атлас». Теодор не может сдержать усмешки. Язва-девчонка.

Как только он покидает галерею, отец оборачивается к Клеменс. Ее сердце мгновенно ухаает в пятки: папа смотрит на нее с недоверием, чего не бывало уже лет десять.

– Могу я узнать, что за игру ты затеяла? Мать сказала, ты сдала диплом в прошлом месяце. – У нее холодеют руки. – И вовсе не на тему кельтской мифологии.

– Я знаю! – восклицает Клеменс. Допрос отца ей в новинку, к ответам она не готова, и внутри расплывается чувство, что ей снова шесть лет и она уронила бюст Демокрита прямо перед предстоящим аукционом. – Это... – Она нервно перебирает цепочку на шее. – Это сложно объяснить, папа, но я... Мне очень нужно узнать его поближе.

– Обманывая? – Генри качает головой, хмурится. – Бэмби, так отношения не начинают.

– Боже, да я не хочу с ним отношений!

– Неужели? Мать говорит, ты сбежала от всех ее женихов.

– О, папа, ты бы их видел, один другого краше!

Она вспыхивает, подобно свечке, даже волосы встают дыбом. Генри примирительно поднимает руки.

– Я не придерживаюсь политики твоей матери, Клеменс. Навязывать тебе кого-либо в мужья будет последним делом моей жизни, ты же знаешь. Но... – Он демонстративно делает паузу, давая ей время успокоиться. – Если мистера Атласа на роль ухажера ты не рассматриваешь, тогда я тем более не понимаю...

Клеменс зажмуривается до рези в глазах.

– Папочка, даю тебе слово, я все расскажу позже. Пока мои теории не подтвердятся, ты мне не поверишь, и мистер Атлас не поверит, и оба вы будете считать меня сумасшедшей.

Отец молчит. Клеменс чувствует исходящее от него недоумение. Пусть лучше оно, чем злость и цинизм, которыми изрядно угощала ее мать на протяжении нескольких лет, прежде чем сумела «вытравить бредовые мечты» из головы дочери.

Только они никуда не делись, как бы Оливия ни старалась их

уничтожить светскими вечерами, элитным образованием, зваными ужинами с именитыми женихами юго-восточной Франции и парижскими высшими школами.

Клеменс не хочет больше сталкиваться с неприятием в глазах родителя. Пусть ее действия оправдаются, пусть этот обман будет во благо.

Пусть у нее все получится.

– Лгать нехорошо, Бэмби, – все-таки вздыхает отец. – Думаю, ты уже знаешь, что обман для Теодора Атласа хуже яда.

– Да, – кивает Клеменс. – Да, знаю.

Пусть он простит ее.

12. Холодные воды Гудзона

Седьмой час утра обыкновенной прохладной субботы Теодор встречает на берегу гавани. Солнце, проглядывая из-за облаков, постепенно выкраивает из тени очертания серых жилых домов и два ярких пятна – незатейливые двухэтажные магазины с сувенирами и разной мелочью, которые стоят по обе стороны от антикварной лавки и выделяются на фоне ее бесцветных стен. Кирпичная кладка соседнего здания по неуместности может посоперничать только с терракотовой раскраской «Фина МакКоула», разве что против кричащих стен паба Теодор не возражает. Сувенирная лавка же мозолит ему глаза: в разгар сезона здесь всегда многолюдно и шумно.

Он не спал всю ночь, размышляя над уроборосом и ведьмами. Сон не идет к нему третьи сутки: днем Теодор кое-как отсыпается, а ночами бродит по лавке, перебирая свои старые вещи, которые теперь служат предметами интерьера или выставляются на продажу. Кожаные перчатки с тиснением, похожим на кельтские узлы. Трость из бука, покрытая темным лаком и местами потрескавшаяся. Саквояж, который Теодор привез из, кажется, Нью-Йорка году эдак в шестьдесят втором. Они дышат давно прошедшим, навевая плохие воспоминания.

В болоте его разума слишком много сокрыто на самом дне, но бесконечные дежавю этой весны стряхнули с поверхности мутную пелену и разогнали туман. Одни невольные воспоминания тянут за собой другие, вытаскивают из глубин почти забытое, старое. Отболевшее. В такие моменты Теодору кажется, что воздух становится плотным и давит на плечи. Как теперь.

Отболевшее? Нет-нет, там, глубоко внутри, все еще что-то впивается под ребра и болит, болит...

Закрывая глаза, Теодор снова видит искры костра в ночном небе. Это пугает его сильнее приближающегося конца, о котором он грезит.

Если потянуть за ниточку «Леди из Шалотт», найдет ли Теодор смерть?

* * *

– Поздравляю, ты едешь со мной в Оксфорд, – с порога заявляет

Теодор продирающему единственный глаз Саймону. Бармен закидывает на плечо выдавшее виды полотенце с незатейливым кельтским орнаментом и хмыкает.

– И тебе доброго утра. И нет, никуда я отсюда не двинусь.

Теодор падает на шаткий стул перед барной стойкой и привычным жестом просит бокал, на что получает красноречивый взгляд Саймона.

– Тебе полезно будет проветриться. Это всего на один день, – говорит он. Саймон достает из-под прилавка стакан со сколотым краем, отработанным движением снимает с полки холодильника темную бутылку «Гиннеса» и протягивает ее Теодору. Тот без лишних слов откупоривает крышку. Немой диалог между ними течет своим чередом.

В раннее – по меркам завсегдатаев-ирландцев – субботнее утро в пабе никого нет. Саймон вполне мог бы отпирать двери своего заведения ближе к вечеру и не переживать, что упустит клиентов, но нынешний хозяин приземистого «Финна МакКоула» имеет странную привычку дожидаться гостей с одиннадцати часов каждого дня. Даже девушка-официантка Шейла нагло приходит только к вечеру и так лениво протирает столики, будто паб до этого не работал.

Сегодня утром причуды бармена Теодору только на руку.

– Давно ты был в Оксфорде? – хрипло спрашивает он, подавившись глотком пива. Саймон качает головой.

– Ни разу не был. И не особо рвусь, если ты не заметил. Какая муха тебя укусила?

– Не муха, а леди, – поправляет Атлас. – Та, что из Шалотт и смотрит на Ланселота.

– О, святой Патрик...

Саймон вздыхает и, видимо, с трудом воздерживается от слишком красноречивой гримасы.

– А разве ты не должен тащить с собой Бена? Я как-то не особо тяну на любителя нарисованных женщин.

Теодору они тоже интересны совсем не в том понимании, о котором привычно думает и Саймон, и смотритель художественной галереи, и старик Стрэйдланд, и добрая половина участников торгов их города. Но никто из них не проявляет интереса к причудам Атласа, и потому он живет здесь, на южном побережье живописного графства Корнуолл, уже более десяти лет и не боится быть уличенным во лжи.

Хотя, стоит признать, Теодор не пытается скрываться и врать. Только Бену такой подход к жизни не по душе, и только Бен переживает, что в какой-то момент Теодор станет жертвой, к слову, полиции, медиков и

прочих любителей экспериментов, жаждущих предать его неумиряющее тело науке. Так уже было в годы Второй мировой. И напрасно Теодор рассказал о тех нескольких днях впечатлительному Паттерсону.

– Бен уезжает на материк, – задумчиво произносит Атлас. – И вернется только через пару недель.

– И твоя леди-миледи совсем не может подождать его возвращения, – кивает как будто себе Саймон. Его большие руки медленно и манерно протирают стаканы на барной стойке и расставляют их в порядке, известном одному ирландцу. Теодор следит за его размеренными движениями вполглаза.

– Не может, – говорит он. – Да и в последнее время Бен... – Атлас пытается подобрать слово помягче, но только безнадежно отмахивается. – Слишком дерганый. Чем старше становится, тем более параноидальные мысли его посещают.

– У него, кажется, полно причин беспокоиться о твоей заднице, – со знанием дела соглашается Саймон. – Бедняга Бен знаком с тобой – сколько? Пятнадцать лет? Удивительно, что он еще не поседел с таким-то компаньоном.

Теодор фыркает и делает последний глоток. «Гиннесс» заканчивается быстрее, чем он успевает прогнать из головы сонный туман, и его рассудок все еще пребывает где-то на грани яви и сна. Мысли не к месту возвращаются к приставучей девице, акварелям Берн-Джонса и старым воспоминаниям о портовом городке где-то на берегу Ирландии.

Он несколько раз моргает, потирая шрам над бровью. Зацепка на эскизе Уотерхауса разбередила прошлые раны, добавила тяжелых дум, и теперь Теодор все чаще ловит себя на такой путанице в мыслях, что даже наяву он видит и слышит то, чего видеть и слышать не должен.

Рыжий отблеск в темно-русых волосах девицы Карлайл. Мутно-зеленые глаза прохожих. Старые напевы времен ирландских восстаний в домах чопорных англичан. *Ветер колышет ольху над волной, солнце и зной, лето и зной...*

Теодор сходит с ума, и лучше бы его больные фантазии развеялись как можно скорее.

– В понедельник, – говорит он Саймону. – Ты и я едем в Оксфорд в понедельник.

Бармен не имеет привычки закатывать глаза – он счастливый обладатель лишь одного. Но сейчас ему, похоже, не хватает именно этого.

– И какой же это черт побудил тебя думать, будто я соглашусь?

Тот, что отравляет разум Теодора больше двухсот лет.

– Ты можешь взять с собой дочку своего любимого старика из галереи, – как бы невзначай вспоминает Саймон. – И самого старика. Ставлю свой глаз, что оба будут пищать от восторга.

Теодор морщится. С удивлением понимает, что делает это уже скорей по привычке и замирает в недоумении. Взять девицу Карлайл на вечер к Стрэйдланду было вынужденной мерой, пойти у нее на поводу, чтобы взглянуть на акварели Берн-Джонса – профессиональным интересом. Позвать же ее с собой в Оксфорд теперь кажется ему... *желанием?*

Странное, не поддающееся логике чувство Теодор не может пока приписать ни к чему адекватному, поэтому прячет его поглубже и запирает на семь замков. Лучше об этом не думать.

– Дельный совет, которым я воспользуюсь в самое ближайшее никогда. Девица слишком болтлива, – загибает он пальцы, – Генри слишком внимателен. Так что ты, мой друг, – самый подходящий вариант. Я даже позволю тебе взять с собой тот таинственный блокнот, куда ты все время что-то записываешь, и даже расскажу пару историй – на трезвую, заметь, голову.

– Благородный жест, – хрипло смеется Саймон. – Но я все равно не впечатлен. Да и блокнот куда-то задевался.

Он демонстративно шарит рукой под барной стойкой. Там пусто. Должно быть, пухлая тетрадь в кожаном переплете провалилась в щель между досками пола и лежит теперь в погребе. Будь здесь Бен, он поднял бы тревогу на пол-округи, так что хорошо, что Атлас пришел в бар один.

– Сожги его, когда отыщешь, – бросает Теодор. Пустой бокал из-под пива лениво перекачивается в его руке, отражая в стекле рассеянные солнечные лучи. По темной бутылке «Гиннесса» медленно стекает крупная капля конденсата. Теодор следит за ней, не обращая внимания на хитро улыбающегося бармена.

– Я столько лет собирал твои сказки, и тебе было наплевать, что с ними станет, – говорит Саймон весомо. – А когда один из девяти блокнотов пропал, ты решил забить тревогу? На тебя не похоже.

Теодор хмыкает.

– Подожди, пока твои записи не попадут в руки...

– Врага?

– Бена!

Они слаженно оборачиваются на дверь, будто ждут, что Паттерсон ворвется в бар прямо сейчас. Только вряд ли любитель чая сочтет, что пасмурное утро субботы стоит проводить именно так. Теодор кривит губы в усмешке и снова смотрит в бокал.

– Нaley-ка мне еще.

Саймон качает головой, заканчивая со стаканами и принимаясь за пивной кран.

– Уверен, что утро стоит начинать с алкоголя?

– Нет, – с готовностью отвечает Атлас. – Но теперь точно знаю, что ты и Бен одинаково способны довести меня до самоубийства.

Он сползает со стула и уже на пути к дверям кидает:

– Это значит, что тебе придется ехать со мной вместо него. Кто-то должен будет вести машину, если я напьюсь по дороге.

* * *

Еще только поворачивая массивную дверную ручку антикварной лавки «Паттерсон и Хьюз», Теодор слышит женский смех и возгласы Бена. Если бы Атлас не знал своего приятеля, то решил бы, что Бен устроил свидание, но, к сожалению, голос его собеседницы Теодору хорошо знаком.

– Мисс Карлайл, – привычно кивает ей Атлас, едва только звяканье медного колокольчика возвещает о его приходе.

Клеменс оглядывается, перегибаясь через спинку его любимого кресла. Они с Беном устроились прямо в зале, разместили между собой столик на кривых ножках, расставили фарфоровые чашки, чайник и пару тарелок, и теперь делают вид, будто ничего особенного в этом нет.

Теодор хочет рявкнуть на них обоих, но бессонные ночи слишком его вымотали, и сил на злость у него уже не осталось.

– Во имя Морриган, что вы тут делаете? – говорит он. Присутствие в лавке этой девицы его уже не удивляет – скорее, он воспринимает ее как болтливый предмет интерьера, слишком надоедливый и мозолящий глаза, выкинуть который рука не поднимается: больно уж хрупок на вид. Но только на вид.

– Пьем чай, – послушно отвечает она. – Присоединитесь?

Такой наглый в своей простоте ответ сбивает его с толку. Он переводит взгляд на замершего в другом кресле Бена.

– На часах вроде не пять вечера, чтобы ты устраивал званые... чаепития.

– Твои стереотипные шуточки тут не к месту, – поджимает губы приятель. – Мы с Клеменс вели приятную беседу ровно до тех пор, пока ты не заявился. Где ты был?

Мы с Клеменс? Теодор решает оставить вопрос беспокойного Бена без ответа и, напроочь игнорируя его колкие взгляды, проходит мимо.

– Теодор!

Он не отвечает, с чувством хлопая дверью. Уже на лестнице до его слуха доносится едкое замечание Бена: «Обиделся, что устроили игры в его песочнице, такой ребенок...», и он злится уже по-настоящему.

С каких это пор Бен так близок с Карлайл, что позволяет себе панибратство? Отвратительная привычка превращать их немногочисленных знакомых в друзей когда-нибудь сыграет с Паттерсоном злую шутку, и Теодор будет первым, кто ткнет его в это носом.

Он думал, что сумеет поспать под тихую возню Бена, которая его успокаивает, но теперь, зная, что внизу, в его любимом кресле, восседает эта девица, Теодор не сможет и пяти минут провести с закрытыми глазами.

Балоров огонь, как его раздражают внезапные гости!

Он спускается в зал, успев только сменить вчерашний костюм на свежий. Домашний халат, висящий на спинке стула, Теодор игнорирует – в костюме он чувствует себя увереннее.

– Итак, мисс Карлайл, – демонстративно выделяя обращение, произносит Атлас. Гостья оборачивается. – Вы же не на чашку чая забежали. Ведь так?

Клеменс едва заметно улыбается, прежде чем огорошить его очередным предложением:

– Хотела узнать, нет ли у вас желания прокатиться до Оксфордшира?

Если бы Теодор не проверил ее биографию задолго до этого, то теперь окончательно бы уверился, что дочь Генри Карлайла – ведьма. Но она улыбается ему и невинно хлопает ресницами, словно ничего необычного не предлагает.

– Мисс Карлайл... – выдыхает Теодор, устало прикрывая глаза. – Вы преследуете меня?

– Атлас! – шипит Бен. – Как ты можешь говорить такое девушке!

– Разумеется, – бодро кивает Клеменс. – Неужели это не было очевидно с самого начала?

Несчастный Бен кажется сбитым с толку настолько, что не разберется в происходящем до конца времен. Теодор хмыкает. Хорошо, что он не так впечатлителен, как его приятель, иначе от головокружения, с которым мисс Карлайл кидает из отважной прямооты в смущенное молчание, его бы замутило.

– Уважаю вашу смелость, – кивает ей Атлас, – но не ценю активность. Вам следует поискать друга в какой-нибудь другой лавке. Например, по

соседству с нами живет премилая мадемуазель Анетта, которая не прочь послушать истории о странствиях. Уверен, вы с нею сойдетесь.

Он идет в кухню, чеканя шаг, и слышит, как Бен намеренно громко вздыхает. Клеменс вскакивает с кресла и увязывается за Теодором.

– Мне не нужны друзья для каких-то бесед.

Он уже ставит на маленькую плиту джезву – настоящую, привезенную Беном из Турции, – достает из холодильника два яйца и нарезанные с вечера помидоры. Клеменс останавливается в дверях кухни и наблюдает за ним взглядом любопытной зверушки. Любопытной и оттого приставучей.

– А кто же вам нужен? Явно не знаток мифологии, об этом я уже догадался.

Если бы в этот миг он соизволил поднять глаза, то заметил бы, что Клеменс покраснела до кончиков волос. Но он ничего не видит, и поэтому удивляется, когда она роняет дрожащим голосом:

– Бен рассказал мне, как вы познакомились. Я восхищена вашим мужеством.

Ему не нравится эта тема. Теодор хмурится и стискивает в правой руке пустую яичную скорлупу. Ох, мисс Карлайл, как же вы любите интересоваться тем, о чем принято молчать в обществе Теодора Атласа!

– Это вовсе не мужество, миледи, – цедит он. – Я удивлен, что Бен настолько разговорчив в вашем обществе. Мы не делимся этой историей. Как правило, – добавляет Теодор, пожимая плечами, – жест, который сам он не любит, но перенял у приятеля помимо своей воли.

– Разве? – смущенно переспрашивает Клеменс, стискивая пальцы рук то ли от страха, то ли от нетерпения, потому что ей все же хочется высказаться – ясно как день. – В общепринятом значении ваш поступок считается мужеством.

Теодор снимает с плиты закипающий кофе и выливает половину в приготовленную чашку. В голове навязчиво, как заезженная пластинка, звучат слова Бена: «То было дело случая, и мне повезло, что ты оказался рядом».

– Прыгнуть в холодную воду, чтобы спасти тонущего ребенка, это... Сколько вам было? Пятнадцать? Это очень храбрый поступок.

«Мне повезло, что ты вытащил меня».

Теодор с грохотом бросает джезву в раковину. Клеменс вздрагивает и замолкает.

– Это вовсе... – задыхаясь, шипит Атлас, – не храбрость. Это вовсе не мужество, мисс Карлайл. Мне было почти столько же, сколько и теперь – лет двести сорок. – Она бледнеет на глазах, а он видит перед собой только

темные воды Гудзона и отпечатки рук на лобовом стекле тонущего автомобиля. – Для такого, как я, спасение одного ребенка – не поступок, а оплошность. Бен разве не сказал, что в машине были его родители? Нет?

Теодор выдыхает и отворачивается к окну, позволяя дневному свету согреть его лицо. Если бы его не оказалось на мосту в ту злополучную ночь, Бен Паттерсон погиб бы вместе со всей своей семьей, это верно. И он прав, когда говорит, что Теодор спас его жизнь и не мог спасти никого другого.

Только это не помогает.

– Один ребенок или два взрослых, мисс Карлайл, – говорит Атлас ломающимся голосом. – Как за короткое мгновение определить, кто из них достоин жизни больше? – Когда она не отвечает, он оборачивается, но на нее не смотрит. Его взгляд незряче скользит по обоям, светлому дереву кухонных полок. Опускается к плите, на которой все еще стоит холодная сковорода с разбитыми яйцами.

– Вы выбрали ребенка, – тихо произносит Клеменс. У нее в глазах стоят слезы, и Теодор с удивлением обнаруживает, что все это время она молча плакала.

Почему она вдруг прониклась жалостью к нему, а не к Бену? Он чувствует себя предателем, вором чужого горя – а когда было иначе? Эта история должна была стать историей Бена, а стала очередной страницей его жизни.

Несправедливо. Боже, как несправедливо.

Почему плачет эта девочка?..

– Я не выбирал, миледи. – Теодор качает головой, и Клеменс всхлипывает, зажимая рот рукой. На этот звук сердце в его груди отзывается слабым уколом... Ревности? Нет, раздражения. И злости.

– Это было делом случая, – вдруг продолжает Бен, появляясь на пороге. Она вздрагивает, смотрит на него и бормочет себе под нос: «Мне очень жаль». Бен мягко улыбается. – Мне повезло, что я был на заднем сиденье, вот и все. Теодор успел вытащить меня, а потом машина пошла ко дну. И в этом нет ничего удивительного. Никакого божественного провидения или судьбы – просто так вышло.

Он поднимает глаза к Теодору, и тот видит, что Бен продолжает улыбаться.

Теодор до скрипа сжимает зубы. Чертов оптимист.

– Вам знакома проблема вагонетки^[24], мисс Карлайл?

Когда она поворачивается к нему и мотает головой, он почти ждет любых ее слов, чтобы опровергать, спорить, отстаивать свое. Это все она

виновата. Она подняла тему, которую не обсуждают в их доме. Она заставила Бена вот так улыбаться, как будто чертов Паттерсон знает все тайны бытия и мирится с ними, как будто в их странной семье Теодор – единственный, кто пытается найти смысл существования, но так его и не находит. Он открывает рот, чтобы продолжить.

– Хватит, – обрывает Бен. Теодор прожигает холодным взглядом и его, но молодой человек фыркает и покровительственно кладет руки на плечи худенькой, внезапно маленькой Клеменс.

– Раз уж ты позволил ей обо всем узнать, – злится Теодор, – то пусть дослушает до конца. С точки зрения морали я был...

– Идиотом, – заканчивает Бен. – И не нужно винить в своей вечной злости всех вокруг. Пойдемте, Клеменс, вам стоит выпить чай и успокоиться, оставим этого огра наедине с его личной драмой.

Они уходят – Клеменс оборачивается и обеспокоенно глядит на Теодора поверх руки Бена, – и оставляют «этого огра» наедине с собой. Он слушает мерное тиканье настенных часов. Злится. Пытается вернуть себе самообладание.

Чертова девица выпотрошила ему всю душу назойливыми вопросами.

Часы бьют половину второго, и Теодор с мстительным удовольствием отправляет в раковину остывший кофе, подернутый мутной пленкой.

Всего одна чашка напитка богов, и он будет в норме.

* * *

Одной чашки оказывается мало. Теодор выпивает две, а третью берет с собой в надежде, что Клеменс уже ушла, но чуда не происходит. Он балансирует подносом с кофейной чашкой и тостами, видит ее, все еще сидящую в его кресле, и посуда в его руках начинает слабо позвякивать.

– Я уже ухожу, мистер Атлас, – кивает Клеменс, правильно истолковав этот звук. Слез на ее лице больше не видно, выглядит она вполне спокойной. Смущенной, улыбающейся. Собой.

Если бы Теодор мог прыгнуть в жерло вулкана в обмен на то, что ему сейчас нужно сделать, он бы раздумывал не дольше минуты. К сожалению, никто и никогда не тянет его за язык, заставляя ругать ни в чем неповинных девушек и срывать на них за свои обиды.

Поэтому Теодор очень аккуратно ставит поднос на столик перед Беном и Клеменс и, вздохнув, выпрямляется.

– Я прошу прощения за то, что сорвался на вас, миледи, – отчетливо, с расстановкой говорит он. Бен давится чаем, запах которого перебивает даже ароматный кофейный кокон вокруг Атласа.

От удивления Клеменс распахивает глаза. Кусает губу. Молчание между ними натягивается, как напряженная тетива лука, готового выпустить стрелу. Но невысказанный посыл достигает цели.

– Я сама виновата, не следовало мне... Простите, я не хотела беречь старые раны.

Теодор готов поклясться, что она хочет сказать еще что-то, но в итоге лишь стискивает в руках кожаную сумочку и поднимается с кресла. Ей под ноги падает скомканный лист бумаги. Теодор наклоняется за ним, и она, ойкнув, принимает бумажный шарик у него из рук.

– Я все-таки надеюсь, что вы составите мне компанию, – говорит Клеменс. – Оксфордшир. Фарингтонская коллекция. Я хотела взглянуть на серию Берн-Джонса, подумала, что вам это тоже будет интересно...

– Но мы уже говорили на эту тему, мисс, – хмурится Теодор. – Мне неинтересен «Шиповник», я видел эти картины и...

– И с радостью взглянешь еще раз, – встревает Бен, отодвигая поднос с посудой от края столика. Боится, что Атлас в очередном порыве раздражения опрокинет его на пол? – Ты все равно хотел ехать в музей Эшмола в понедельник. Уверен, вам по пути, *не так ли?*

Теодор готов проломить Бену череп золотой статуэткой Ганеши, датированной началом восемнадцатого века, которая очень кстати стоит напротив. Но он сегодня и без того неприлично много наговорил, чтобы извиняться за доставленные неудобства еще и перед приятелем.

– Я беру с собой Саймона, – бурчит Теодор.

– О, я уверен, что он просто счастлив от перспективы провести с тобой целый день! – фыркает Бен. – Клеменс, если вас не пугает компания этого угрюмого глупца, то он с радостью – *верно, Теодор?* – прокатится с вами.

– Нет, не верно, я...

– Вот и славно, – понижая голос, продолжает Паттерсон. И, не глядя уже на Атласа, кивает девушке. – Он будет рад, Клеменс, поверьте мне. Значит, в понедельник?

Ошарашенная напором Бена не меньше самого Теодора, Клеменс кивает и, слабо улыбнувшись, уходит из антикварной лавки.

Теодор вовсе не будет рад. Но его гложет чувство вины, такое непривычное и гадкое, что ему ничего не остается, кроме как обреченно вздохнуть и согласиться с Беном. Саймон же все равно не собирался с ним ехать.

Атласу не дает покоя мысль, что странная девушка Клеменс Карлайл всегда оказывается на шаг впереди него. И именно это вызывает интерес – такой сильный, что он готов признать: порой он терпит ее компанию и по собственной прихоти, а не по принуждению.

13. Биполярное расстройство

За день до разговора с Теодором.

Клеменс ждет Шона в самом ирландском пабе их самого крохотного города южной Англии. Если он опоздает, как и раньше, на час или два, ей придется уйти, так его и не дождавшись. Клеменс с подозрением косится на официанта – светловолосого долговязого парня с жилистыми руками, одетого в грязно-зеленую футболку. Он тоже наблюдает за ней вполглаза, пока протирает столики в другом конце зала. Приходится напоминать себе, что ей, черт возьми, не одиннадцать лет, чтобы пугаться каждого незнакомца.

К сожалению, неприятное чувство, будто за ней следят, не покидает ее ни на минуту. Возможно, она сама накручивает себя из страха, что в любой момент в паб может заявиться Теодор, заметить ее, пристроившуюся в самом неприметном углу, и... О том, как она будет выкручиваться, Клеменс старается не думать. Будет непросто.

Непросто? Будет сложнее, чем прыгнуть с парашютом, написать второй диплом, объездить полсвета в погоне за картинами, поговорить с матерью!..

Если Шон не появится в ближайшие пятнадцать минут, она сбежит из паба через черный ход.

Но он входит в заведение вместе с парой престарелых любителей пива. На нем вечно потертые джинсы, старая кожаная куртка и растянутая рубашка поверх футболки. Он оброс еще больше: серо-русые волосы спадают на лоб, закрывая даже глаза. Клеменс облегченно вздыхает, когда видит его, хотя сказать, что ее друг в порядке, не решается.

– Какого черта, Шон? – вместо приветствия бросает она. – Ты что, не в курсе, что это место вообще не создано для наших с тобой посиделок?

– У-у, притормози, мелкая, – тянет Шон фальшивым фальцетом. Он падает на деревянный стул напротив Клеменс, показывает бармену два растопыренных пальца и только потом переключается на подругу. – Чего такая нервная? Слезла с таблеток?

– Очень смешно, – фыркает Клеменс. – Ты опоздал. Назначил встречу в пабе. *В пабе*, Шон! Глупее было бы только транспарант повесить на грудь с заявлением: «Теодор Атлас, я слежу за тобой»!

– Что было бы чистойшей правдой! Да не кипятись ты. Не придет сегодня твой прекрасный принц.

Клеменс проглатывает заготовленную фразу. Подозрительно щурится.

– А вот рот лучше держать закрытым, – покосившись на нее, роняет Шон. И, едва получив увесистую кружку пива от молчаливого рыжебородого бармена, добавляет: – Ты всегда такая дерганая, или это на тебя Англия дурно влияет?

Клеменс предпочитает пропускать псевдоостроумные фразы своего давнего друга-по-интересам мимо ушей – без подобной выдержки их общение не продлилось бы дольше месяца – и усмехается, видя перед собой такую же пивную кружку.

– Я за рулем. Откуда ты знаешь, что он не придет?

– Большое упущение с твоей стороны, малышка Клеменс. Не знал, что ты такая ханжа.

– Шон.

– Да-да. – Он делает большой глоток и утирает пену с губ рукавом потертой черной куртки. – Твой мистер Атлас разбирается с документами, сам полчаса назад видел. Он и его приятель *Бе-енджамин* укатили в Лондон, похоже.

Клеменс сердито поджимает губы. Окидывает Шона строгим взором.

– Ты тоже за ним следишь, что ли?

Вместо ответа молодой человек красноречиво молчит и смотрит на Клеменс, как на глупышку. Она знает его уже десять лет, но всего третий раз видит вживую – и третий же раз мечтает раскрошить об его голову какую-нибудь старинную вазу. Шон сочетает поразительное равнодушие с фанатичной увлеченностью, и оба этих качества скручиваются в единый узел, когда речь заходит об интересах Клеменс.

Это странно. Это непонятно. Это выводит из себя хотя бы тем, что она понятия не имеет, станет ли сейчас Шон смеяться, выкинет ли очередной трюк и покинет ее в три секунды или же вытрясет из нее всю душу, внезапно пожелав узнать все-все-все, что сама она знает о Теодора Атласе.

– Ты просила подмечать детали, – манерно растягивая слова, говорит он, – и я подметил. И если бы ты была внимательна, то поняла бы, что и место встречи сегодня я подобрал специально для тебя. Этот паб – любимое пристанище твоего кумира.

– Он не мой кумир! – привычно огрызается Клеменс. – Большое дело, Шон, выяснить, в каком пабе обретается последний ирландец города – он у нас один.

Ее неказистый друг обиженным не выглядит. Пожимает плечами, отводит взгляд, будто теперь она ему совсем не интересна, и продолжает тянуть свое пиво. Клеменс смотрит, как по ее бокалу стекает капля воды. В

голове крутится миллион вопросов, но она молчит, сцепляет пальцы в замок и кладет руки на стол.

Она познакомилась с Шоном, когда ей было тринадцать, а ему – семнадцать. Тогда маленькая Клеменс не успела еще обзавестись друзьями, говорящими без надоедливого акцента с каркающей «р», и все свое свободное время проводила в интернете. Там они и пересеклись. Сейчас Клеменс двадцать три, а Шону...

– Все еще удивительно видеть тебя, – признается она, даже не задумываясь, услышит ее приятель или нет. Но Шон блаженно щурится и косится на нее, не поворачивая головы. – Не могу поверить, что в свои тридцать ты выглядишь на двадцать. Ты что, пьешь кровь младенцев?

– Эй! – дергается он. – Мне *почти* тридцать, не перегибай!

– Хорошо, – послушно кивает Клеменс. – В свои *почти* тридцать ты выглядишь на *почти* двадцать.

С этим заявлением Шон неожиданно не спорит. Хмыкает, допивает пиво и тянется за кружкой подруги.

– Ты не будешь, да? Старый добрый «Гиннесс» все же предпочтительнее детской крови.

Клеменс открывает рот в недоумении – и тут же его закрывает. Разговоры с Шоном всегда выходят двухфазными: приходится задавать по два вопроса, слушать два ответа, ждать сразу двух реакций на свои слова – и почти все время они оказываются противоположными ее ожиданиям и друг другу. Одно время Клеменс всерьез полагала, что у ее странного приятеля прогрессирующее биполярное расстройство. Но эта мысль испарилась до того, как мозг принялся анализировать поведение молодого человека.

Потому что от него она узнает такие вещи, что с легкостью могла бы закрыть глаза и на шизофрению.

– Итак! – Шон хлопает по столу ладонью, привлекая внимание немногочисленных дневных посетителей паба и молчаливого бармена. – Он Тот Самый, да?

Тот Самый. Наричательное прозвище, выведенное заглавными буквами, Клеменс помнит еще по их с Шоном переписке, когда она жила во Франции, а он – где-то в Европе. Когда у Того Самого не было ни лица, ни имени, Шон называл его только так, и Клеменс не знала, шутит он или же воспринимает ее фантазии всерьез. Сейчас, казалось бы, от этих сомнений не должно было остаться и следа. Но приятель умеет вывернуть любое свое слово так двояко, что приходится напрягать мозг. Как сейчас.

– Я не уверена, – с нажимом говорит Клеменс. Она повторяет это

приятелю с самого первого дня своего пребывания в Англии.

– Сколько ты будешь мяться, мелкая? – усмехается Шон. – Смотри, сбежит он на другой конец света, как сто лет назад, и поминай, как звали!

– Откуда тебе знать, что он делал сто лет назад? – шипит Клеменс. Выбранное для *тайной* встречи место ей совершенно не нравится, даже если Теодор не появится здесь в ближайшие пару дней. – И «сто лет» это, по-твоему, сколько?

– Я же говорил, у меня есть свои источники, и о них тебе пока знать рановато. Не знаю, лет десять засчитается в твоём понимании за сто?

– Шон, ты... – Запаса терпения на биполярного Шона у нее всегда не хватает, а уж после вчерашних бесед онлайн ей вообще хочется свернуть все разговоры и сбежать из душного паба куда подальше. И не видется с приятелем... Лет сто!

– Я должна убедиться, что не вешаю на обычного человека свои сказочные фантазии, – шепчет Клеменс. – Тем более что он и так не особо мне доверяет. Не хочу портить с ним отношения из-за больных бредней.

– Ага, *ясно*. – Шон грохает о деревянную столешницу тяжелую пустую кружку, ойкает, но совсем не выглядит виноватым. Откидывается на спинку скрипучего стула, некоторое время лениво рассматривает полупустой зал и вдруг выпрямляется, словно ему в спину вонзили кол. – Погоди-ка. А что ты будешь делать, если этот Атлас не Тот Самый?

Клеменс ждала этого вопроса.

– Не знаю, – отвечает она, но очень уверенно. Эта мысль, как опухоль, разрастается в ее голове с каждым днем. Чем ближе она к разгадке, тем больше у нее сомнений: если Теодор Атлас на самом деле не тот, за кем она бежит, *что* она будет делать?

Клеменс затеяла все это, потому что хотела знать ответ на один вопрос. И если вдруг он окажется не таким, как она рассчитывает, то ей придется...

Оставить поиски? Оставить в покое Теодора Атласа? Будет ли он интересен ей в той же мере без вуали из тайн, которой она сама же его опутала?

– Так тебе он нравится просто так? – Шон не глядит даже в ее сторону, но с поразительной точностью вытягивает на поверхность то, о чем Клеменс думает. – *Ни за что?*

– Он мне не нравится, – вздыхает Клеменс, чувствуя себя героиней ситкома, в котором сцены повторяются раз за разом, пока не наскучат зрителю окончательно. – Он мне интересен. Как человек.

– Хм...

По многозначительному выдоху она никак не может определить,

относится ли Шон к ее убеждению серьезно или снова решил, будто она себя выгораживает.

– Знаешь, то, что ты за ним бегаешь, только тешит его самолюбие, – замечает наконец он, ковыряя отросшим ногтем дырку в столе. Клеменс закатывает глаза.

– А ты завидуешь?

– Черта с два. Он пафосный ублюдок, и с ним все возятся, как с ребенком.

На секунду ей кажется, что она слышит недовольные нотки, но наваждение проходит, едва перед ним ставят еще одну кружку, на этот раз с какой-то красно-коричневой пенящейся бурдой. Шон радостно хлопает в ладоши и садится ровнее, быстро стягивая с плеч кожаную куртку. Клеменс мотает головой. С чего бы ему, равнодушному, выказывать недовольство?

– Так он взял себе новое имя? – Она ерзает – стул кажется ей неудобным (или это неудобные вопросы вызывают физический дискомфорт?) – и тянется к Шону через столик.

– Может быть, – уклончиво отвечает тот.

– Шон!

– Что? Я не выдаю конфиденциальную инфу своих клиентов.

– Ах, теперь он твой клиент, да? – шипит Клеменс. Когда три месяца назад Шон сообщил ей, что остановится поблизости и наведет справки, чтобы помочь, она посчитала это удачей. Теперь же ей кажется, что друг-по-интересам только тормозит ее дело.

Шон хранит молчание добрую минуту, и она решает, что внятных ответов ей сегодня не дожидаться. Но он вдруг говорит, совершенно на нее не глядя:

– Ты знала, что Робертов Уитменов в Америке около тысячи?

Клеменс качает головой.

– Это его нов...

– А вот Джеймсов Беккетов не больше пятисот.

Она готова пристукнуть Шона тяжелой кружкой с остатками темного пива, которое он выдул в два счета, но вместо этого глубоко вдыхает, набирая полные легкие спертого душного воздуха. К вечеру в пабе собирается все больше посетителей. Она почти расслабляется и даже забывает о подозрительном официанте.

Шон вытягивает ноги и качает правой из стороны в сторону, стучая носком пыльного кроссовка о деревянную ножку стола. Тук-тук-тук. Он выглядит сонным и меланхоличным, зато его нога отстукивает нервный бит. Даже сейчас его разрывает от противоположных ощущений, и эта

нервозность передается сидящей напротив Клеменс. Чтобы вернуть себе самообладание – в висок назойливо бьется мысль, что один удар по лбу Шону совсем не повредит, – она перебирает в уме названия картин. «Первая годовщина смерти Беатриче», Россетти. «Милосердный рыцарь», Берн-Джонс. «Видение Данте», Россетти. «Ламия», Уотерхаус.

Который год она думает, что просто принимает желаемое за действительное.

А на самом деле сошла с ума и бредит.

– Когда ты будешь полностью уверена? – спрашивает Шон. Клеменс выныривает из водоворота картинных образов, почти с облегчением оказываясь в шумном ирландском пабе.

– Что?

– Очнись, мелкая! – Друг пинает ее той самой ногой, которой до этого стучал по ножке стола. – «Доброе утро, звездный свет! Земля говорит: “Здравствуй!”». Когда ты будешь уверена до конца?

Чтобы понять, о чем он толкует, у Клеменс уходит секунд десять.

– Я не знаю. Надеюсь, что мне все разъяснит «Шиповник».

– Цикл Берн-Джонса? Почему именно он?

Теперь настает черед Клеменс загадочно ухмыляться, чувствуя небольшое превосходство над приятелем.

– Он ближе всех, в Оксфордшире. Я свожу туда Теодора, покажу ему полотна и... Не знаю. Пойму все окончательно?

Шон жует добытую неизвестно откуда зубочистку. Он сгрызает ее наполовину, прежде чем выдать приговор:

– План у тебя – дерьмо. На этот «Клоповник» он может и в интернете насмотреться, айпад ему принеси да сунь под нос. Что тебе действительно нужно – если хочешь получить свои доказательства – так это... – Он понижает голос и горбится, пригибая голову так, что отросшие пряди волос ложатся прямо на влажную от кружки столешницу. Клеменс приходится последовать его примеру. – Так это найти всех друзей нашего мистера Ти и расспросить их обо всем, не вызывая подозрений.

– И как нам, по-твоему, это сделать? – фыркает Клеменс и выпрямляется. – У него *нет* друзей, только Бен. И я *не* буду расспрашивать его.

Бровь Шона выгибается такой дугой, будто вот-вот готова сорваться со лба и начать жить собственной жизнью.

– Что, ты и *его* в друзья записала? Ох, вот теперь я завидую тебе, малышка Клеменс. Нет, правда! – вскидывается он, забывая о недопитом пиве. – При всем своем уме ты поразительно наивна. Тебя маменька не

учила проверять людей прежде, чем называть их приятелями?

Замечание о матери неприятно колет ее под ребра. Клеменс обиженно дует.

– А ты говоришь, как Теодор! – возмущенно бросает она в ответ, на что Шон даже не ведется. Он снова делается безучастным, падает внутрь себя: Клеменс видит, как тускнеет его взгляд, как морщинка над бровями разглаживается. Сейчас Шон действительно кажется ей школьником или первокурсником. Он не похож на взрослого ни внешностью, ни поведением, и только знания выдают в нем человека лет тридцати.

– Шон, – зовет она осторожно. Тянется к нему через стол и легонько касается его руки. – Мне нужен твой совет.

Шон вздрагивает.

– Ну наконец-то, – говорит он, будто только этих слов и ждал весь вечер. – В самом деле, не языками чесать собрались. Болтать ты не любитель, кстати.

«Кто бы говорил», – скептически думает Клеменс, пока выуживает из сумки смятый листок. Маленький клочок крафтовой бумаги, который она нашла в своей сумочке после вечера в доме Стрэйдланда, изрядно попорченный ею же. Он не давал ей покоя все то время, пока она придумывала очередной повод, чтобы оказаться рядом с Теодором Атласом, но всякий раз эта загадка оставалась для нее второстепенной.

Сейчас, пока у нее есть время и Шон рядом, Клеменс хочется ее разгадать.

– Как думаешь, от кого эта записка? – спрашивает она, протягивая ему листок. – Такого почерка нет ни у кого из моих знакомых, а еще это написано, похоже, пером. *Пером*, представляешь?

Шон вертит находку в руках, даже нюхает и – Клеменс распахивает глаза от удивления – лижет кончиком языка уголок затертой бумаги.

– Где нашла? И что это за «друг»? Странный привкус у чернил, они из дубовой коры?

– Я не знаю, – качает головой Клеменс. Она не может сказать наверняка, почему показывает записку от неизвестного Шону, который точно никакого отношения к тому вечеру не имеет. Только он – единственный, кто порой способен объяснить ей происходящее так, чтобы примирить ее логику с ее же фантазиями. Несмотря на то что понимать его самого Клеменс удается с трудом.

– Думаю, кто-то над тобой пошутил. Тот же мистер Атлас, а?

– Нет, вряд ли. Кто тогда этот таинственный «друг»?

Шон кривит губы и пожимает плечами.

– Спроси отца, может, это он тебе записки подбрасывает.

– Мне кто-то подкинул ее в доме Стрэйдланда, – вздыхает она. – Папа говорит, Стрэйдланд не так пишет, так что это не может быть он. Я ломаю голову над этой шуткой уже которую неделю.

Задумавшись, Клеменс совсем не замечает, что лицо ее приятеля бледнеет быстрее, чем загораются в резко потемневшем зале паба лампы. Шон стискивает свою пивную кружку, медленно выдыхает и почему-то оглядывается по сторонам.

– Забей, мелкая, – отмахивается он. – У тебя есть загадки поинтереснее.

– Думаешь?

Он вдруг проворно вскакивает с места, вероятно, решив, что разговор у них выходит слишком уж последовательным, напряженно всматривается в толпу посетителей, хмурится. И оборачивается к подруге.

– Свистни мне, когда бармен появится, ОК?

Секунда – и вместо него остается только едва уловимый сладковатый аромат его одеколona.

– Шон! – окликает она, но зажимает себе рот, в последний момент вспоминая, что они оба здесь сегодня инкогнито. Что он творит?.. Клеменс хочет всласть выругаться, желательно на таком языке, который не поймет ее мать. Хорошо, что ее нет в этом городе.

Она довольно усмехается. Матери нет даже в этой стране.

Шон возвращается к ней, взмыленный и бледный. Волосы топорщатся в разные стороны, как будто он только что побывал в эпицентре урагана.

– Ты допила? Пошли! – Его голос звучит напряженно и взбудораженно. – Да оставь свою мелочь, я уже заплатил. Идем же!

Клеменс покидает паб вслед за Шоном в такой спешке, будто за собой они оставляют полыхающий на целый квартал пожар, не иначе.

– Что происходит? – на ходу спрашивает она. Потемневшую улицу освещает всего пара фонарей. Вдоль домов, узко прижатых друг другу, гуляет сильный ветер. Шон шагает вниз по Камбэлтаун-уэй и явно держит путь к гавани, хотя от паба до нее добрых полчаса.

– Шон!

Он не останавливается и даже не притормаживает. Клеменс замечает, что приятель держит спину чересчур прямо.

– Эй, да что за муха тебя укусила? – сердится она и нагоняет парня в три длинных шага. Ей приходится почти бежать, пока Шон, размахивая руками, словно солдат на марше перед королевой, спокойно идет вниз по улице.

– Я тебе говорю, нужно опрашивать друзей и знакомых, а не по картинным галереям этого индюка таскать!

Он снова переключается на полузабытую тему, так что Клеменс трясет от беззвучной злости.

– Больной, – вместо ответа припечатывает она и чувствует, как вместе с обидным словом уходит скопившееся за вечер раздражение. – Либо ты объяснишь мне, что задумал и почему мы несемся, как ужаленные, либо...

– Жила-была маленькая девочка... – Шон будто нарочно берется за старое. – Которая придумала себе сказочного героя, только чтобы не чувствовать себя одинокой в стране, где никто ее не понимает. Спас он тебя, Клеменс?

Клеменс вздыхает. Все, терпение кончилось.

– Пока, Шон, – бросает она и сворачивает на Куорри-хилл. Дойти отсюда до дома можно и пешком, на это понадобится каких-то десять минут. А Шон может развлекать себя и все свои двадцать три личности в полном одиночестве.

Жила-была маленькая девочка, которая придумала себе сказочного героя.

Спас ли он тебя, Клеменс?..

VIII. Дочь колдуна

Из-за теплого океанского течения июнь выдался пасмурным и влажным. Покорно следующий за ним июль отличился только парой совсем дождливых дней. Его ливни заполнили водой борозды пшеницы и овощные гряды, и фермеры, смеясь над собственной неудачей, предлагали сажать вместо привычных зерновых заморскую восточную траву.

В начале августа на побережье пришли духота и желанное солнце. В первые дни оно ласково грело поля и вершины лесных сосен, но уже к концу второй недели месяца Луга^[25] стало нещадно жечь все поля и иссушило русло реки, бегущей у мельничной заставы под городом. К первой жатве всем стало ясно, что не успевший в свое время созреть без солнца урожай теперь из-за него же сгорает на корню.

Но все, что волнует в этом месяце Серласа, связано отнюдь не с посевами.

Он подгоняет старую Матильду, наверняка больно впиваясь в ее серые бока каблуками сапог, и лошадь несется уже галопом. Сухая трава под ее копытами мелькает и сливается в единое полотно из желтых, светло-зеленых и бурых мазков, а выливающийся за горизонт океан лениво наблюдает за ними издалека.

Серлас спешит к главным воротам Трали, чтобы, ворвавшись в город, промчаться – едва ли не впервые – по главной улице, скорым галопом пронзить ее до базарной площади, а там спешиться и отыскать в толпе Ибху.

У него очень мало времени, и он боится так сильно, что, кажется, вот-вот готов потерять сознание от страха.

Старой знахарки нет ни среди гуляющего в воскресный день разноликого люда, ни в тени раздавшейся вширь церкви. Серлас мечется от старика Джошуа, дерущего глотку криками: «Козье молоко! Козье молоко, теплое, отдам за две монеты!» к мельнику, багровеющему от гнева в споре с женой.

– Ибха! – осмелев или же решив, что времени на безмолвные поиски у него уже не осталось, кричит Серлас в толпу. – Кто-нибудь видел сегодня знахарку? Помогите же мне!

Люди перед ним расступаются, как волны, ударившиеся в огромную каменную глыбу где-то посреди океана, и он снова чувствует себя одиноким. Перед глазами мечутся образы: вот желтое от сползающего

загара лицо кузнеца Финниана, вот – бледное и худое – сорокалетней продавщицы тканей из лавки через два дома от площади, вот промелькнули заплетенные в две косы волосы дочки судьи, а теперь...

– Мэйв! – запоздало зовет Серлас. Она, должно быть, вовсе не ожидала увидеть его в базарный день на оживленной площади, и потому оборачивается с удивлением на лице. Оно тут же перерастает в испуг.

– Серлас? – хрипло переспрашивает Мэйв и тянется к нему поверх пухлого плеча коренастой продавщицы рыбы. Та ворчливо огибают их обоих и по-гэльски ругается. – Что ты здесь делаешь сегодня? А если Дугал...

– Я ищу Ибху, – перебивает Серлас и мотает головой, стирая со лба выступившие капли пота. Опасность в лице Дугала Конноли сейчас волнует его меньше всего – плевать, пусть увидит его, пусть снова обвинит во всех бедах своего народа, только бы не мешал.

– Она ухаживает за ребенком мистера МакКинона, – отрезает Мэйв. – И сейчас занята. Что случилось, Серлас?

Он не дает панике встать комом в горле и выдыхает:

– Несса рождает. Ей очень плохо.

О том, что жена теряет сознание, приходит в себя и снова погружается в забытие, разрывая ему сердце уже второй час, Серлас не упоминает.

Мэйв вмиг делается серьезной и бледной, как пена у берегов океана.

– Это по кривой улице вниз налево, в Лисьем переулке. Пойдем, я провожу тебя.

Они идут сквозь толпу: Мэйв рявкает на бегающих под ногами мальчишек, извиняется и тут же расталкивает в стороны плечистых мужчин и тучных женщин, а Серлас, как пристыженный пес, идет следом.

Как только площадь с ее недовольными горожанами оказывается позади, Серлас прибавляет шагу, и Мэйв приходится его нагонять. Они спешат, спотыкаются – девушка задирает длинный, до земли, подол летнего простого платья, и Серлас краем глаза замечает, что она снова ходит босиком.

– Это не должно быть моим делом, – вздохнув, говорит она и сворачивает в переулок. – Я вообще не обязана помогать ей, ты знаешь.

Серлас молча кивает. Сейчас он не способен поблагодарить ее, но, может, позже, когда все разрешится?

Они приближаются к невысокому дому в тупике переулка.

– Жди здесь, – коротко бросает Мэйв и входит внутрь, прикрывая за собой дверь. Серлас остается снаружи, в тени соседних домов. Над головой у него висят на бельевых веревках серые простыни с желтоватыми

пятнами. В такой сухой день они превратились в хрустящие на слабом ветру заплатки для небесных прорех. Он опускает взгляд. Темная от влаги земля впитывает смрадный аромат помоев, и тот поднимается на полфута, обволакивая его ноги. Вдоль стены, воровато озираясь по сторонам, бежит толстая упитанная крыса с голым розовым хвостом.

Должно быть, сын мистера МакКинона сильно болен, думает Серлас запоздало. Должно быть, ему не обойтись без присмотра знахарки. Но он поведет Ибху в дом Нессы, даже если та будет упираться.

К счастью, до угроз дело не доходит: спустя пару минут на пороге лачуги мистера МакКинона появляется усталая Ибха, а позади, за ее спиной, – Мэйв.

– Давно пора было разродиться, – вместо приветствия говорит ему старуха и выходит на свет. Серлас замечает, что за месяц ее лицо еще больше постарело и пожелтело, но щеки Ибхи не покрыты загаром и отливают зеленцой.

Он кивает ей, не утруждая себя пожеланиями доброго здоровья. Все они – Серлас, Ибха и Мэйв – возвращаются к площади в напряженном молчании. И там Мэйв вдруг идет к кузнецу Финниану.

– Одолжи нам телегу на полдня, – говорит она. Обрывки разговора доносятся до Серласа сквозь шум голосов говорливых горожан. Он не подходит к кузнецу и не заговаривает с ним сам, потому что широкоплечий грузный Финниан внушает ему немалый трепет, в котором Серлас боится себе признаться, с первого дня их знакомства.

– Сильно плоха? – спрашивает Ибха скрипучим голосом. Вместо внятного ответа Серлас кивает, пожимает плечами, снова кивает. – Ясно, слова из тебя сегодня не вытянешь. Да не беспокойся ты так, не первая она, кто рожает, уж как-нибудь разберемся.

Ее слова приободрили бы Серласа, если б он только не видел, какой бледной, болезненно бледной выглядела Несса с самого утра, а после скудного завтрака, который она не доела, начала стонать, стенать, выть. И волосы...

Несса потеряла половину волос, ее темные волнистые локоны превратились в жидкие рыжие пряди за какую-то пару недель.

Этого Серлас не говорит никому.

И когда они спешат, подгоняя Матильду, запряженную в телегу, Серлас думает оглянуться на Мэйв и Ибху. Сказать им и про волосы, и про ребенка, и про то, что он больше всего сейчас боится за Нессу. Но горло сжимает сухой кашель, скребется по небу и не дает вымолвить ни слова. Серлас молчит и сильнее хлещет лошадь по бокам.

В их доме странно тихо, *страшно* тихо. Серлас идет через кухню, маленькую комнату с очагом, оставляя двери открытыми нараспашку, – створки сердито скрипят, колотятся о стены. «Опоздал, опоздал, Серлас!» – воют они и дребезжат, рассыпая эхо стонов по немым комнатам.

Несса снова впала в беспамятство. Вот почему она не издает ни звука: жена провалилась в лихорадочный сон, на бледных впалых щеках – и пот, и слезы, порыжевшие пряди прилипли ко лбу и вискам. Серлас замирает рядом, но его тут же отталкивает грубая рука Ибхи.

– Уйди, припадочный, – рявкает знахарка. – Мэйв, что ты возишься! Неси воду и тряпки!

Серласа выталкивают за дверь. Он бы и сам оступился, запнулся о порог и вывалился в дверь, не устояв на ногах. Но теперь по дому мечутся в нервном, паническом напряжении две женщины, и он не знает, может ли довериться им. Отчего, отчего теперь его мучают эти мысли? Никого другого в целом мире Серлас не сумел бы позвать на помощь, кроме них двоих.

Но Мэйв, подающая матери чистые тряпки, которые она нашла без помощи Серласа, бросает на него сердитые, *злые* взгляды, как будто он провинился в чем-то, о чем понятия не имеет.

Сейчас все вдруг кажется ему болезненно важным: вздох Ибхи и ее красноречивый взгляд на дочь, Мэйв, босыми пятками скребущая по полу, – вытянутая, как струна, хмурая и немногословная, и то, что ветер, нечастый августовский гость, ворвался вдруг в распахнутые окна и треплет занавески, то, что сапоги Серласа давно не мыты и выглядят хуже, чем у бедняка... Когда Несса издает вялый стон, – Серлас с остервенением трет рукой их потертую кожу.

– Прикрой дверь, Мэйв, – хриплым голосом просит Ибха. Девушка, перед тем как захлопнуть ее прямо у носа Серласа, снова смотрит на него жгучим взглядом. И Серлас читает в ее глазах обиду.

Но тут же об этом забывает; он не может сосредоточиться ни на одной мысли, только мечется по комнате, словно весь дом его объят огнем, и он не находит спасения. И внутри у него все горит, жжется, грудь спирает и нечем, нечем дышать.

Спаси ее.

У Серласа нет таких сил, которые вытащат его любимую из забвения и помогут преодолеть мучения. У Серласа нет сил даже на то, чтобы стоять на собственных ногах: весь мир вдруг кажется ему шариком-игрушкой, что вертится с небывалой скоростью, и потому его ведет, и кружится голова.

Несса снова стонет за закрытой дверью. А потом начинает выть,

стенать, срываться на крик и плакать, плакать, плакать – Серлас замирает, перестает дышать, жить, *существовать*. Все в нем натягивается, кровь застывает прямо в сердце, оно сжимается, и ему чудится, что он снова умер.

Он погиб на поле в лесу под Трали, и его сволокли, как других солдат в краповых мундирах, в одну яму и спалили дотла. То, что сейчас являет ему воображение, не более чем предсмертная агония, чистилище.

«Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». [\[26\]](#)

Если все так, то он проиграет огню и попадет в ад. Сейчас Серлас думает, что ничего хуже, чем этот миг, с ним еще не случилось. Несса сипло вздыхает, и ее вздох рвет его самого на части.

Нет, он не вынесет мучений.

Лучше бы это его раздирала изнутри болезнь, колдовская сила, новая жизнь – чем бы она ни была. Лучше бы это он страдал и метался в лихорадке, чем стоял здесь, выставленный за дверь, как провинившийся пес, и не находил себе места.

Ибха рывкает на дочь, шепчет что-то на гэльском – не разобрать. Новый женский вздох-вскрик звучит теперь по-другому. До ушей Серласа доносится хриплый, булькающий звук, и он не может понять, что это значит. Но тот пугает еще сильнее. Ему хочется сорвать с петель эту чертову дверь, оказаться в спальне, чтобы своими глазами увидеть Нессу, чтобы просто *видеть* ее.

Она ведь не умрет?

– Господь, позволь ей жить дальше, – молит Серлас, впервые обращаясь к всевышнему вслух – до этих пор он молился изредка и нехотя, как будто понимал, что для молитв у него недостаточно прав, ведь просить больше, чем ему уже дано, он не смеет.

Сжатый паникой разум внезапно пронзает – точно молния пронзает грозовые тучи – мысль, которую Серлас тут же гонит прочь. Какая глупая, грешная мысль! И он, трус, допустил ее!

Она вытягивает из него последние силы. Серлас падает на колени перед запертой дверью и сидит, более не шевелясь и ни о чем не думая. Слушает, как в спальне мечется от мук Несса, как топают тяжелые ноги Ибхи. Как вскрикивает Мэйв, роняя ведро с водой.

Как в спальне мечется от мук Несса. Как топают тяжелые ноги Ибхи. Как вскрикивает Мэйв, роняя ведро с водой.

Как мечется от мук Несса.

* * *

Солнце лениво скатывается за горизонт, с тихим шипением опускается в соленые воды океана и пронзает небо последними оранжевыми лучами. Дом травницы утопает в сумерках, тени столов и стульев вытягиваются и бегут по стенам. Лицо Серласа темнеет вместе с приближающейся ночью, незрячие глаза бездумно шарят по трещинам двери. Они складываются в очертания причудливых зверей из дальних стран, в которых он никогда не бывал.

Страны, звери и узор из трещин внезапно пропадают.

Серлас поднимает голову: на пороге стоит, оперев руки в бока, взмокшая от пота Мэйв. Подол ее бледно-зеленого платья выпачкан в крови и влажен, но она победно улыбается.

– Что, испугался? То-то же! – Она отчего-то веселится, и Серлас не может взять в толк, что произошло. – Вставай же! – восклицает Мэйв. Она подхватывает его под руки и неожиданно сильным рывком поднимает с колен. – Вот же припадочный, верно матушка сказала! Иди уже, смотри на дочь!

Нетвердой походкой Серлас вваливается в спальню. Воздух здесь пропитан потом, кровью, стремительно испаряющейся из грязной кадки водой. Кажется, будто в их комнате побывал Мор, но ушел, не насытившись, не получив желаемого.

– Жива твоя жена, жива, – ворчит Ибха. Бледные желтоватые ее щеки блестят от воды и пота. Знахарка утирает лоб грязно-серым платком и отходит.

– Серлас?

Голос Нессы звучит тихо-тихо, надрывно – пересохшее от криков горло способно только шептать. Но Серлас слышит ее и падает к изголовью кровати. Охнув, знахарка удаляется из спальни, оставляя супружескую пару наедине друг с другом и родившейся только что жизнью.

В руках у Нессы лежит сверток. Сама она бледная, белая даже, как луна, слабая и хрупкая, вся сделанная из фарфора, который Серлас видел издали в дорогой лавке с заморскими товарами. Бледно-рыжие теперь волосы слиплись и облепили лицо, но Серлас больше не замечает преступно огненного их цвета.

– Это девочка, Серлас, – едва слышно шепчет Несса. – Девочка.

Из свертка на мир и мужчину рядом несмело взирает младенец. Краснощекий, с ясными глазами-бусинками. Темными, как болотный омут.

Серлас не знает, как выглядят только что рожденные девочки, но если все они одинаковы и точно так же смотрят на всех, как эта... Что ж, они ему нравятся. Рожденные девочки.

Он невольно улыбается и тянет к пухлой щеке младенца руку, но тут же отдергивает ее. У него пыльные пальцы, он чистил ими сапоги, и сам он весь грязный. И мысль, эта темная мысль слабовольного глупца уже успела очернить его.

– Что же ты? – удивляется Несса. – Возьми ее, она всего лишь ребенок.

Наверное, ей кажется, будто он испугался. Решил, что дочь колдуна проклянет его в один миг. Но Серлас боится не девочки, а себя.

Забери себе ребенка, оставь Нессу мне.

Он будет винить себя за эту невольную слабость до самой смерти.

– У меня... – заикается Серлас. – У меня руки грязные. Не хочу ее замарать.

Девочка смотрит на мать блестящими глазами, на Серласа – лицо искривляется в гримасе, и он думает, что ребенок вот-вот заплачет. Но она разевает беззубый рот и начинает копошиться в пеленках.

Сомнения испаряются на глазах. Серлас видит ее и винит себя еще больше. За то, что думал о ней плохо, за то, что терзался бессмысленными муками совести. За *мысль*, что пронзила его сознание в минуту слабости.

– Я назову ее Клементина, – шепчет Несса, доверяя ему самую сокровенную тайну. Она улыбается дочери и смотрит на мужа в ожидании: «Поддержи, улыбнись тоже!»

Серлас выдыхает:

– Это чудесное имя.

* * *

На небо выплзает огромная яркая луна. Сегодня полнолуние, середина месяца Луга, и такой ночи нужно радоваться, если за нею последует долгожданный сезон дождей.

Серлас покидает спальню, оставляя измученную родами жену наедине с ребенком – они обе заснули, но очень скоро опять проснутся. Он должен отмыть себя от пота и пыли и вернуться, чтобы сторожить их чуткий сон.

Только на заднем дворе его встречает не бадья с колодезной водой, согретая дневными солнечными лучами, а Мэйв. Уставшая, бледная от переутомления, она сидит на скамье у дома, сложив руки на выпачканном в

крови переднике.

Все это время она была здесь и терпеливо ждала его. Серласу вмиг становится стыдно, и вместо слов благодарности, в которых должен бы рассыпаться, он не говорит ничего.

– Так и будешь молчать? – спрашивает Мэйв. Вот и в голосе ее Серлас слышит обиду. Удивленный, он смотрит на нее и видит, как она выпрямляет спину. Будто и не было в ней усталости.

– Спасибо вам, – кивает Серлас. – Если бы не ты с матерью...

– Она уже уехала в город, – отрезает Мэйв. – Взяла вашу кобылу, завтра я вернусь с ней.

– Хорошо.

Где-то в поле, некошенном с той недели, трещат сверчки. Тихую, мелодичную трель выводят ночные птицы, перебрасывают ее с ветки на ветку на разные голоса. Серлас вздыхает.

– То, что ты видела, – начинает он и смолкает, не зная, как выразить свои опасения словами. – Ее волосы, это...

– Не хочу о ней ничего слышать, – шипит Мэйв. Она говорит тихо – чтобы не потревожить сон младенца? чтобы не услышала Несса? – но Серлас все равно отмечает это. Мэйв злится. – Видит Бог, я старалась не верить слухам, что с некоторых пор ходят в городе.

Серлас хмурится. Он слышал только домыслы о себе, что еще нового могли придумать языкастые горожане?

– Не знаешь? – встряхивает головой Мэйв. Щурится, поджимает губы. – Все же считали тебя чужеземцем и невесть каким злодеем. А теперь только и говорят, что о ведьмином наговоре.

Серласа как хлыстом вытягивает прямо по щеке. Он отшатывается, неверяще оглядывает Мэйв. Высокая, сильная, вечно босоногая, она всегда была единственной, кто не шел на поводу злых рассказней, и приходила к ним с Нессой в дом как к родным.

Что изменилось?

– Ты же не думаешь, что это...

– А что еще мне думать, Серлас? – зло огрызается Мэйв. – Она *рыжая*. Теперь рыжая, как солнце на закате. Она такой не была, пока ребенка не понесла. – Она делает несколько шагов из стороны в сторону и, не успокоившись, снова замирает перед Серласом. – Знаешь, что люди говорят о ведьмах? Те все силы свои отдают своему чаду, вот почему слабеют!

Каждое слово бьет Серласа наотмашь. Больно. До рези в глазах. Он ищет в своей прежней подруге ту силу и тот свет, которые его восхищали, а находит только клокочущую в горле обиду. Будто Мэйв чувствует себя

обманутой.

– Несса не может быть ведьм... – Язык отказывается произносить порочащее жену слово, и Серлас запинается, обрывает себя. – Это не из-за нее.

– Не выгораживай! – звенит в темноте голос Мэйв. – И она ведьма, и дочь ее рожденная!

– Нет.

И снова эта *мысль*. На этот раз она вонзается ему в мозг гораздо сильнее и тверже. *Убедительнее*. Он обречет девочку на гибель, если скажет это.

– Мэйв, умоляю, – шепчет Серлас. – Сохрани все в тайне.

Он слаб и труслив, раз боится за женщину больше, чем за ее дитя. Клементина. Ее ведь не тронут, раз она ребенок, невинный младенец. Верно?

– Серлас, – вдруг охнув, склоняется к нему Мэйв. – Чей это ребенок?

Видит Бог, он гнал от себя и страх, и слабоволие, но он бессилен, когда речь заходит о Нессе.

– Это дочь колдуна, Мэйв.

* * *

К спящим Нессе и Клементине Серлас приходит измученным и пустым. С его волос стекает колодезная вода, успевшая остыть и стать почти ледяной, мокрая рубашка противно прилипла к телу. Нет, нельзя ему в таком виде сидеть в изголовье кровати только что родившей женщины.

Кинув на них последний взгляд, Серлас идет к себе.

Если кто-то из них закричит, он услышит.

Только захочет ли прийти на помощь? Сомнений в нем теперь больше, чем было до этих пор, и нутро терзают вопросы, нет которым конца и края.

Мэйв вздохнула и покачала головой, когда услышала жестокую правду. А потом посмотрела на него так, словно в ней таилась мудрость тысячелетий.

– Ах, Серлас, – сказала она. – Разве ты не знаешь, что колдунов не существует?

14. В дороге

Из динамиков старенького отцовского «Форда» доносится хрипловатый голос Алекса Тернера^[27], и Клеменс стучит пяткой по колесу, отбивая ритм. Когда Теодор появляется в дверях антикварной лавки, она напевает уже третью по счету песню.

– А вы не слишком-то расторопны! – Клеменс вскидывает руку в приветствии. Ее глаза при этом скрыты огромными солнцезащитными очками. Теодор кивает ей, морща лоб.

Сегодняшний день, на редкость солнечный, начался для Клеменс с торопливых сборов и беготни по комнатам – она умудрилась пропустить все пять будильников, проспала и боялась, что опоздает. Только оказалось, что Теодор тоже не спешил.

– Едем? – хмуро спрашивает он, и по его голосу становится ясно, что предстоящая поездка не вызывает в нем того восторга, который трепещет в груди Клеменс. Возможно, правда, что он только старательно *делает вид*, что злится за навязанные ему условия.

Она усмехается и садится за руль.

– Я поведу туда, вы – обратно. – Того, как Теодор закатил глаза и воззвал ко всем известным ему богам, она уже не видит. – Ну же! – кричит она, склоняясь к рулю. – Садитесь! Нам надо успеть все за день!

Он устраивается рядом и снова морщится – теперь уже от воплей вокалиста, завывающего под гитарные аккорды. Сдержав растущее нетерпение, Клеменс убавляет звук.

– Не похоже, что вам двести сорок с чем-то лет, как вы говорите, – замечает она. – Ведете себя хуже ребенка.

Клеменс знает, что любое неловкое слово может спугнуть и без того хилый энтузиазм Теодора. Он выпрыгнет из машины в считанные секунды, если вдруг решит, что обойдется без музея Эшмола и ее едких комментариев. Но ради всего святого! Пусть прекратит строить из себя обиженное дитя.

– Зачем вам в Эшмолианский музей, мистер Атлас?

– Взглянуть на Уотерхауса и Россетти, – говорит он. – Хочу проследить за некоторыми моделями с их картин. В путь, мисс Карлайл, и задавайте поменьше вопросов. Пожалуйста.

Двести пятьдесят две мили, четыре с половиной часа езды – эта поездка будет долгой. Клеменс выруливает с газона, куда снова заехала с

непривычки, и сворачивает к загородной трассе.

– Вы слушаете современную музыку? Помню, что не особо. – Она беззаботно кивает самой себе, поглядывая в зеркала, но замечает краем глаза хмурые густые брови Теодора и усмехается. – Специально для нашей поездки я сделала чудесную подборку, – говорит она. – Будем знакомить вас с шедеврами музыкального искусства.

Теодор в очередной раз закатывает глаза. Устало откидывается на подголовник. Вздыхает.

– После того как Майкла Джексона окрестили гением, я вряд ли хоть что-то из современной музыки сочту шедевром, – говорит он.

«Форд» медленно пересекает мост через реку, на развилке сворачивает на первый съезд и продолжает размеренно двигаться по дороге на северо-запад. Клеменс тщательно изучает указатели, чтобы не сбиться с маршрута, но все равно пропускает табличку с немного пугающей надписью «Добро пожаловать в Пенрин». В голову приходят ассоциации с «Твин Пиксом», «Соснами» и еще одним мистическим сериалом – там тоже все начиналось с похожих табличек.

Алекса Тернера в записи сменяет Эдит Пиаф.

– Ну хорошо, – вздыхает Клеменс под хриловатый голос дивы. – Если никто после Майкла Джексона вам не нравится, то что вы слушаете из более раннего?

Теодор лениво приоткрывает один глаз. Молчит, смотрит на нее и чуть хмурит брови.

– Оперу? – допытывается она. – Вагнера, Моцарта или Верди, например? О, или, может быть, русских классиков? Рахманинова, Чайковского? Ну что-то же вы слушаете, верно?

– Не оперу, – коротко отвечает он. Зевает, прикрывая рукой рот, и добавляет: – Оперы любит Бен. Мне они кажутся затянутыми и скучными.

На узкой дороге попадаются три ямы подряд, и Клеменс, ойкнув, переключает передачу, чтобы ехать медленнее и глядеть теперь еще внимательнее. Притормозив перед светофором, она достает из кармана в дверце машины бутылку с водой.

– Удивительно, – заключает она после минутного молчания. – Я про оперу. Мне казалось, вы должны ее любить, раз современная музыка вам не по душе.

– То есть, по-вашему, я могу любить только новомодную электронику или оперу и балеты?

Светофор моргает. Автомобиль трогается вслед за облупленным стареньким «Пежо», который обогнал их на предыдущем перекрестке.

– Нет, но... – Клеменс посматривает в боковое зеркало. Ей кажется, что красный «Ситроен» она видела мило назад, еще на первом съезде у развилки, но она предпочитает думать, что у нее паранойя. Теодор, похоже, ничего необычного не замечает.

– Мне нравится джаз, – говорит он внезапно.

– Джаз? – ахает Клеменс. – В нем же столько импровизаций!

– И это лучшая его часть.

– Неужели? Мне казалось, вы не любите неожиданности.

Теодор хмыкает и отворачивается к окну. Некоторое время он просто наблюдает за сменяющимися друг друга домами на узких английских улочках, пока машина не выезжает на трассу.

– На самом деле, – говорит он, – теперь меня мало что способно удивить. А соло на саксофоне – это приятный сюрприз.

Клеменс понимающе кивает.

– Джаза, к сожалению, у меня нет.

После пяти песен Эдит Пиаф обиженно удаляется, решив, что на нее никто не обращает внимания. Ей на смену приходят «Битлз» с «Мишель», отдельно – Джон Леннон и Пол Маккартни, а за ними – подборка песен из «Собора Парижской Богоматери».

– *Берет начало этот сказ,* – тихо подпевает Клеменс по-французски, – *в Париже в год больших проказ...* Мистер Атлас, а вы любите мюзиклы?

– Нет, – морщится он, – но вы, похоже, их ценитель?

– Невозможно не полюбить мюзиклы, живя во Франции, – кивает она. – Гораздо интереснее балета и почти так же красиво, как театральные пьесы. Когда я с друзьями впервые попала на «Собор Парижской Богоматери», то решила, что...

– Так у вас все-таки есть друзья? – перебивает ее Теодор. Клеменс обиженно дергается, подрезав на повороте белый «Шевроле».

– Конечно! Просто они все живут во Франции.

Задетая за живое, больше она не говорит ни слова и ведет машину смелее, чем прежде. В Труро, где они останавливаются, чтобы заправить полный бак и перекусить, Клеменс наконец бросает Атласу:

– Женевьева.

Он задумчиво жует гамбургер и посматривает на стоянку через дорогу от кафе, куда они заглянули, поэтому не сразу реагирует на короткое слово спутницы. Клеменс пьет кока-колу и хмуро косится на сторбленную фигуру Атласа.

– Что? – переспрашивает он. Она вздыхает.

– Женевьева. Так зовут мою подругу во Франции. Женевьева, Нильс, Луиза и Джей-Эл. Мои друзья.

Только теперь Теодор, похоже, замечает, что ее губы против воли капризно надуваются, а лицо пошло бледно-розовыми пятнами. Он смотрит на нее удивленно и чуть усмехается.

– Вы уверены, что это не какая-то театральная труппа? Имена больше похожи на творческие псевдонимы.

Клеменс вспыхивает еще сильнее.

– Да что вы? Ваше имя тоже, знаете ли, изрядно приправлено пафосом.

Она решает, что в кафе им двоим тесно, и уходит, оставив на столе деньги и телефон. Когда Теодор разделяется со своим нехитрым завтраком и присоединяется к ней на парковке, Клеменс уже нетерпеливо барабанит пальцами по рулю. Ненавистную музыку она врубила на полную.

– Прекратите вести себя как инфантильное дитя, мисс Карлайл, – вздыхает он, садясь в машину, и протягивает ей телефон. – Вам звонили. Видимо, друзья.

Клеменс молча забирает у него из рук свои вещи и мельком просматривает звонки. Шон, мама, снова Шон. Что ему нужно? Она же ясно сказала, что уезжает в Оксфордшир до самого вечера!

«Не буду звонить», – решает Клеменс. Еще не время.

Спустя полчаса Теодор, провалиться в сон которому мешает грохот музыки, восклицает:

– Сжальтесь, мисс Карлайл! Никакие задетые чувства не стоят *такого* издевательства.

Клеменс, усмехнувшись, убавляет громкость. Люк Причард^[28] захлебывается словами повторяющегося третий раз припева.

– Надо отдать вам должное, – с неудовольствием говорит она. – Два моих друга действительно играют в театре. Но их имена настоящие.

«А вот ваше – вряд ли».

– Ох, мне все равно, мисс Карлайл, – вздыхает Атлас. – Я вовсе не ставил перед собой цель обидеть вас и довести себя до обморока подобной музыкой.

Перед очередным светофором машина тормозит так резко, что Теодор, не удержавшись, дергается вперед. Клеменс удовлетворенно поджимает губы.

– Извиняться вы не умеете, мистер Атлас.

– Я и не пытался.

* * *

Остановку в Тонтоне они делают через два часа. Клеменс стоит, облокотившись на капот машины, которая довольно урчит, поглощая новую порцию бензина. Теодор изучает карту, так и не выйдя из салона.

– Мистер Атлас! – зовет она его. – Сейчас тепло и солнечно, не хотите подышать свежим воздухом?

Теодор даже не ведет головой, чтобы показать, что он ее слышал. Клеменс вздыхает и, с трудом вспоминая причины, которые побудили ее тащиться в такую даль с самым занудным человеком во всей Англии, возвращается за руль.

– Можете хотя бы сделать вид, что вы благодарны? – спрашивает она. Теодор издает возглас удивления. – Я не только составила вам компанию в долгом скучном путешествии, так еще и везу вас сама.

– Я не просил вас об этом.

Чтоб он сквозь землю провалился! Клеменс стискивает пальцами оплетку руля. Цикл Берн-Джонса, ей просто нужен цикл Берн-Джонса. Теперь она готова молиться, чтобы ее надежды не оправдались, иначе она понятия не имеет, что делать с этим пафосным снобом.

– Эй, мистер Атлас! – вспоминает она внезапно. – Может, вы поможете мне с одним вопросом?

Теодор водит пальцем по карте, отмеряя оставшиеся до Оксфорда часы, и отвлекается, только когда Клеменс сует ему под нос скомканную пергаментную бумажку.

– Я нашла ее в своей сумочке после вечера у Стрэйдланда, – говорит она. – Сломала всю голову, даже другу показывала. Отец, кстати, считает, что ее написал не Стрэйдланд.

Теодор молча разглядывает витиеватые буквы и недоумение в его взгляде сменяется неподдельным интересом.

– Знаете, кто автор?

– Нет, но...

Он замолкает, кусает губу в несвойственной ему манере и щурится. Клеменс нетерпеливо елозит в кресле.

– Ну?

– У меня есть точно такой же кусок пергамента, – говорит наконец Теодор. – И я готов голову дать на отсечение, что почерк совпадает.

Новая информация заставляет Клеменс подпрыгнуть на месте.

– А что там написано?

– Deus ex machina, – отвечает Атлас, явно ушедший в себя – взгляд стекленеет, морщины на лбу становятся глубже.

– «Бог из машины»? Странный выбор.

– Там было еще послание. Код, отпирающий замок Стрэйдланда.

Клеменс требуется несколько секунд, чтобы сложить воедино все эти разрозненные факты. К сожалению, общей картины она все равно не видит.

– Кто-то явно хотел вам помочь, – кивает она своим мыслям. – А вот что ему нужно было от меня, я не совсем...

– Может, это просто игра, – отрезает Теодор. – Отвлекающий маневр, уловка. Вас могут использовать, чтобы увести от цели, если я подобрался к ней слишком близко.

– Какой цели? – переспрашивает Клеменс. Ответа она не получает, поэтому заходит с другой стороны: – Но зачем кому-то... У вас есть враги, мистер Атлас?

Он на мгновение выпрямляется и вглядывается вдаль, позабыв о записке, которую все еще держит в руках. На его лице мелькают тени.

– Не знаю, – наконец отвечает он. – Наверняка есть.

– Как это понимать?

– Мисс Карлайл, – вздыхает Атлас, косясь на нее в привычной чуть высокомерной манере. – За двести лет врагов у меня мог набраться не один десяток. Другой вопрос – все ли они уже отошли в мир иной, или же кто-то доживает свой век и хочет поквитаться за какую-нибудь мелкую драку или глупую обиду, которой я бы точно не вспомнил.

– С вашим характером сложно вообще кого-либо не обидеть, – фыркает Клеменс. Игры в двухсотлетнего человека ей порядком надоели, если только не принимать во внимание тот факт, что сам Атлас верит им безоговорочно. Что, впрочем, делает ее догадки не просто фантастическими, а фантастически верными. Только поэтому она продолжает все это терпеть.

– Сомневаюсь, что кто-то из тех, с кем мне довелось столкнуться, еще живы, – задумчиво произносит Теодор. – Конноли умерли, потомки Лучано считают меня мертвым, американские власти...

– Лучано? – прерывает Клеменс, не сдержав удивления. – Вы знакомы с потомками Лаки Лучано^[29], того самого, из «Коза Ностры»?

Теодор выныривает из своих мыслей и будто впервые замечает, с каким вниманием его слушает Клеменс. Он оценивающе рассматривает ее застывшую фигуру, лицо, освещенное косыми солнечными лучами, бьющими в боковое стекло, и вздыхает. Снова с присущим ему высокомерием.

- Потомки? Я работал на самого Чарльза, мисс.
- Что, – усмехается Клеменс, – грабили и убивали по приказу мафии? Устраивали рэкет? Это же... Это же тридцатые годы того столетия, верно?
- Вы не верите? – Он словно удивляется этому и в свою очередь кривит губы в саркастичной ухмылке. – Между прочим, довольно прибыльный бизнес для того, кому не страшны ни ножи, ни пули.
- Клеменс поджимает губы. Уязвленный, Теодор договаривает:
- Хороших людей я не убивал. Только отлавливал охотников до спиртного.
- Ах, так все ради алкоголя?
- Мисс Карлайл. А как еще в годы Сухого закона можно было добыть жалкую бутылку виски?

* * *

День незаметно переваливает за середину, когда они наконец оказываются в Оксфордшире. До Оксфорда всего миля, но машина то и дело застревает в пробках. Довольно уставшие и изрядно потрепанные дорогой, Клеменс и Теодор появляются перед Эшмолианским музеем только в три часа дня.

– Не хотите перекусить? – спрашивает Атлас, останавливаясь прямо у входа. От музейных дверей и фарингтонской коллекции Клеменс отделяют всего лишь три каменных ступени, и она нервно вскидывает руки.

– Мистер Атлас! Давайте осмотрим и ваши, и мои картины, и тогда уже поедем.

Он оборачивается и со скучающим видом осматривает высокие колонны.

– Они никуда не денутся, мисс Карлайл. Эти картины висели тут столетие и провисят еще десятки столетий, а вот мы с вами устали. И нам нужен отдых.

Что именно движет им в этот момент, Клеменс знать не может и даже не думает узнавать. Вздохнув, она послушно переходит через дорогу и идет в выбранный им ресторан. Теодор снова кажется ей непостижимым персонажем из прошлого, который прямо сейчас отчего-то увлечен подъехавшим автомобилем. Оттуда выходит дама в длинном темном платье со шляпой.

В музей Клеменс попадает только спустя сорок долгих и абсолютно

молчаливых минут, которые она провела за столиком напротив Теодора. Он не говорил, не смотрел в ее сторону и вообще вел себя так, будто ее рядом вовсе не было. Но едва они пересекли порог Эшмолианского музея, схватил ее за руку.

– Мистер Атлас? – тихо спрашивает Клеменс. Ее вопрос этом разносится по просторному залу.

Теодор коротко дергает головой. Что это значит? Молчи? Следуй за мной? *Что?*

Они ищут картины – Теодор идет быстрее, чем Клеменс, и ей приходится почти бежать, раз уж он ведет ее, будто слепую, за руку.

– Мистер Атлас! – возмущенно шипит она. – Да в чем дело?

В секции прерафаэлитов он замирает, будто статуя, только что увиденная Клеменс на лестнице. Она высвобождает руку из его хватки и собирается гневно выразить неудовольствие, но к ним кто-то идет.

Это женщина – высокая, хорошо одетая, в шляпе с широкими полями, какие носят благородные знатные дамы из окружения ее матери.

– Миссис Давернпорт? – удивленно ахает Клеменс.

– Черт, – коротко бросает Теодор. И оборачивается к ней, уже узнавшей их. – Элиз! Какая внезапная встреча!

Элиз? Клеменс пытается привести растрепанные волосы в порядок и замирает с поднятой рукой. Разве они знакомы?

– Тео! – восклицает миссис Давернпорт и явно собирается не по-светски заключить его в объятия.

Тео?

– Что ты здесь делаешь, да еще и в компании... Мисс Карлайл, верно же? – Она смотрит на Клеменс так неприкрыто оценивающе, что у нее зудит позвоночник. Она пытается списать это на неудобное кресло в машине и на долгую дорогу, ведь миссис Элоиза Давернпорт не знает ее и видит впервые. Отчего же тогда ей кажется, будто та глядит на нее с осуждением?

– Мы здесь ради искусства, – говорит Теодор. – Приехали посмотреть на прерафаэлитов – ты же знаешь, мои предпочтения не меняются.

– Я бы так не сказала...

Элоиза кидает на Клеменс последний взгляд и больше не уделяет ей внимания. Теперь Клеменс чувствует себя забытым ребенком, которого взрослые не посвящают в свои серьезные разговоры.

– Как видишь, я тоже. Мы могли бы приехать вместе, если б ты решил хотя бы на один звонок.

– Элиз, я не думаю, что при нынешних обстоятельствах...

– Это ведь из-за тебя я приехала, – перебивает миссис Давернпорт. – Отдаю музею нераспроданные на аукционе работы Берн-Джонса. Думала, они будут тебе интересны, а ты даже не явился на бокал вина.

Клеменс хмурится и кусает губы. Она знает Элоизу Давернпорт, бывшую Вебер, только по рассказам матери. Та говорила, что эта утонченная леди могла бы послужить для Клеменс примером: вышла замуж, как только ей исполнилось двадцать три, по совету родителей, и живет в достатке при красивом богатом муже. Клеменс не думает, что рецепт счастья от миссис Давернпорт был бы ей полезен. Да и счастлива ли сама Элоиза?

Судя по тому, как цепляются сейчас ее увитые кольцами пальцы за плечи Теодора Атласа, любви этой женщине явно недостает. Клеменс закатывает глаза и складывает руки на груди. Строить из себя вежливую особу по настоянию матери? Вот уж нет.

– Мистер Атлас? – Она позволяет себе вмешаться, только когда между собеседниками повисает неловкое молчание. Теодор смотрит на нее с таким видом, что ей внезапно кажется, будто он и сам не прочь сбежать отсюда как можно скорее. – Не хотелось бы прерывать вас, но нам еще ехать обратно. Путь неблизкий.

– Да, ты права, – растерянно отвечает он. Элоиза вцепляется в его плечо еще сильнее.

– Милая, погуляйте пока здесь самостоятельно, хорошо? Я бы хотела переговорить с Тео наедине.

– Э...

Клеменс неуверенно отходит. Вот же настырная женщина! И откуда она только взялась? В самый, казалось бы, неподходящий момент, когда до полотен «Шиповника» рукой подать! Клеменс оглядывается и видит в проеме арки Берн-Джонса. Напротив, насколько она помнит, должны быть еще работы Россетти, а среди них, возможно, – хотя бы одна из цикла о Данте.

Ну же, мистер Атлас, осталось всего ничего!

– Ты можешь прогуляться с нами, Элиз, – говорит Теодор. Клеменс видом красноречиво выражает протест.

– Прогуляться? С вами? – Голос Элоизы подскакивает на целую октаву.

– До Уотерхауса, это в соседнем зале. Верно, мисс Карлайл?

– Зачем тебе Уотерхаус, Теодор? По-прежнему ищешь несуществующие подсказки несуществующих женщин?

Клеменс наблюдает за тем, как меняется выражение его лица, уже на пути к прерафаэлитам. Ей не терпится поскорее увидеть «Шиповник», и

раздражение, вызванное появлением Элоизы, растет с каждой секундой.

– Я уже нашел одну, Элиз, – победно усмехается Атлас. – Она на эскизе «Леди из Шалотт» со смуглой девушкой в красном платье. Я почти на сто процентов уверен, что она была из ведьмовского рода.

– О, такую я знаю, – кивает Элоиза. Устав ждать и смотреть, как жеманится эта особа, Клеменс идет к Берн-Джонсу одна.

Негромкий разговор теперь еле слышен, но она все равно разбирает последнюю фразу миссис Давернпорт:

– Моя бабушка говорила, что модель приходилась ей сестрой. Так что, Тео, можно сказать, что ее ведьмовской род – и мой тоже.

15. Тот Самый

– Что ты так смотришь? Не ожидал?

Теодор не может отвести глаз от благородной бледности ее щек, носа с горбинкой и правильного точеного подбородка. Только теперь он, вдруг прозрев, замечает, что взгляд Элиз Вебер всегда оставлял в нем незначительный, но бесспорный след, что-то в ней заставляло его откликаться на ее взгляды и жесты, как будто она и тогда, и теперь могла бы увлечь его за собой. Лет двадцать назад он чуть было не попался на ее уловки, но сейчас...

– Что же ты молчала? – выдыхает он. – Ты знала, что я, как фомор заведенный, ищу картины не просто так!

Элоиза поводит плечом, поправляя сползший с шеи атласный шарф.

– Ты никогда не говорил, для чего они тебе. Да и про ведьм я, признаться, слышу второй раз в жизни.

Каково было бы его удивление, если бы о родстве Элоизы с неизвестной моделью Уотерхауса он узнал не сегодня, а спустя месяцы долгих поисков? Как бы ни клял Теодор свою судьбу, иногда она бывает к нему благосклонна, раз свела с Элоизой именно сегодня.

Но сейчас, пригвожденный к месту неожиданным открытием, он совершенно не знает, с чего следует начать разговор с потомком ведьмы. Да и настоящим ли потомком?

– Вижу, ты вновь не находишь слов, – кривит губы Элоиза. – Что ж, раз теперь я, похоже, тебе интересна, приглашаю на обед в наше поместье. Мы с мужем будем тебя ждать, позвони мне. А сейчас прошу меня простить...

Она приседает в плавном реверансе и уходит, взмахнув на прощание легким сине-голубым, в тон шляпке, шарфом.

– Элиз!

– Мне некогда, Тео, я спешу!

Она исчезает за статуями античных героев. Атлас качает головой ей вслед и стоит, сраженный новыми знаниями о той, с кем знаком дольше, чем с Беном.

Удивительно. Он мог бы полжизни – не своей, а Паттерсона – потратить на поиски потомков ведьм с полотен прерафаэлитов, но так и не вытащить на свет правду, которая маячила прямо перед его носом.

В тишине музея, необычно безлюдного, Теодор слышит только, как

громко стучит его сердце, разгоняя кровь по онемевшим рукам и ногам, и как неподалеку разговаривает с кем-то по телефону покинутая им мисс Карлайл.

– Я в порядке, почему ты спрашиваешь? – звучит ее сердитый, почти шепчущий голос. – Еще нет, я хочу сравнить их, когда... Хватит заикаться, Шон! Да в чем дело?

Голова постепенно пустеет. Остается только шум крови в ушах и шепот говорливой мисс, который кажется сейчас пустым потоком слов.

От судьбы не сбежать, Теодор Атлас. Быть тебе навечно привязанным к ведьмам, от них ждать и беды, и спасения.

Что ему делать теперь, когда ниточки, ведущие от картинных моделей, сплелись вдруг в единый узел по имени Элоиза Вебер? Каждая встреча с ней заканчивается для Теодора растревоженным ворохом воспоминаний, от которых становится плохо и на душе, и в сердце. Их история завершилась двадцать лет назад, а теперь вдруг должна обрести эпилог?

Теодор не любит эпилоги. Они – обещание сказочных финалов при плохом конце. Всем известно, что сказки врут.

– Мистер Атлас!

Громкий возглас мисс Карлайл разносится эхом. Вздохнув, смяв в кулаке желание закатить глаза, он идет в соседний зал и находит ее замершей напротив полотна Берн-Джонса. Цикл «Шиповник» – «Заколдованный лес».

– Откуда в вас такая любовь к Берн-Джонсу? – спрашивает Атлас, останавливаясь прямо за ее спиной. Клеменс вздрагивает.

– Взгляните!

Наплевав на приличия, она тянется рукой к полотну через заградительный шнур.

– Мисс?

Тонкий палец с ободком золотого кольца указывает на спящего рыцаря, одного из четырех, которых на своем пути к принцессе встречает принц. Рыцарь откинул голову на куст шиповника, прорастающего сквозь брошенные латы прежних защитников короля, он смугл и темноволос, об острые скулы можно, как говорят романтики, порезаться.

Теодор рассматривает его не дольше пяти секунд.

– И?..

– Разве этот человек никого вам не напоминает? – спрашивает она, округляя и без того большие глаза.

– Кого, например?

Клеменс сердито вздыхает и делает шаг назад, не сводя глаз с полотна.

Затем глядит на Теодора, несколько раз моргает и всматривается в его лицо с таким вниманием, что ему становится не по себе.

– Это не вы... – шепчет она, не сводя с него пристального, пугающего уже взгляда. Теодор открывает рот, чтобы ответить остротой, но в последний момент решает дождаться пояснений.

Тишина становится невыносимой оттого, что нарушается лишь прерывистым дыханием Клеменс.

– Это все? – интересуется Теодор, все еще пребывая в недоумении. – Без авторских ремарок ваша реплика звучит странно. Хотелось бы более развернутого... ответа.

Клеменс мотает головой с таким видом, будто только что похоронила любимую зверушку.

– Поверить не могу, – тихо говорит она, снова вглядываясь в лицо стражника. – я же была почти на сто процентов уверена, а теперь...

Клеменс кусает губы, оглядывается на Теодора, вновь внимательно смотрит на полотно с четырьмя спящими стражниками и принцем в латных доспехах. Все они немного похожи друг на друга, а еще на персонажей других работ Берн-Джонса и Россетти, но Атлас замечает это только теперь. И отбрасывает совершенно лишнюю мысль в сторону.

Мисс Карлайл мечется между «Заколдованным лесом» и «Палатой советов».

– Поверить не могу, – повторяет она убитым голосом. – Какая же я глупая дура!

Сейчас она больше похожа на сумасшедшую, но Теодор молча наблюдает за ее суетой и ждет, когда она успокоится.

– Я же была уверена, я была так уверена... – бормочет Клеменс. Потом вдруг оборачивается и хватает замершего у «Шиповника» Теодора за рукав. – Подойдите-ка сюда!

Что за отвратительная привычка у нынешней молодежи – так бестактно цепляться за руки!

Она тянет Теодора к картинам Россетти. Останавливается, взгляд ее снова мечется между ним и фигурой Данте.

– И?..

Клеменс ловит ртом воздух, часто моргает, прикрывает на мгновение глаза.

– Это не вы, – повторяет она странную фразу, от которой отчетливо веет помешательством. – Не стражник, не Данте – даже не рыцарь Ламии, и прочь сомнения!

Она вдруг шагает к Теодору и оказывается так близко, что он видит на

ее щеках трепещущие тени ресниц. Клеменс хмурится, кусает губу, осматривает каждый миллиметр его лица.

– Как же так... – начинает она, и он не выдерживает.

– Хватит!

Она слишком близко. Тяжело дышит, будто пробежала не одну милю, и глядит не моргая. От нее едва уловимо пахнет травами и лавандовым шампунем, волосы у корней золотятся светлым.

– Вы не в себе? – огрызается он. – Меня не было всего полчаса, а вы ведете себя, как...

Он не договаривает. Он злится и на нее – за внезапные прикосновения, на которые он разрешения не давал, и на себя – за нелепые сравнения.

Никакая она не Клеменс. Всего лишь девица с таким же именем и похожим разрезом глаз.

Подобных ей – миллионы.

– Если вы уже насмотрелись, – говорит он, – то нам пора в путь. Я хочу быть дома до заката.

Он покидает зал, не глядя по сторонам. Клеменс остается наедине со своими кумирами.

В неподвижном воздухе раздается звонок ее мобильного.

– Да, Шон, – еле слышно отвечает Клеменс. – Я ошиблась.

* * *

Обратная дорога по ощущениям Теодора занимает гораздо меньше времени. Клеменс устроилась на заднем сиденье и делает вид, что спит, хотя он то и дело замечает в зеркале заднего вида ее неподвижный взгляд.

Теодор предпочитает хранить молчание, да и она, хвала Морриган, рта не открывает. Но ее пристальное внимание начинает его нервировать.

– Если хотите задать вопрос, – вздыхает он, – то лучше задать его, а не пытаться просверлить дыру в моем затылке. От ваших взглядов у меня мигрень.

Вместо ответа она отворачивается и закрывает глаза.

Теперь Теодору кажется, что она обижена – на него ли, на себя, на свое странное поведение в музее или же из-за сотни других причин, которые вообще могут возникнуть в голове столь непостоянной особы. Разбираться в них у него нет ни малейшего желания.

Чтобы не ехать в полной тишине – теперь она напрягает и заставляет

нервно оглядываться – Теодор сам включает магнитолу. О, боги! Общение с молодым поколением окончательно его испортило.

Голос ведущего объявляет час блюза. Теодор облегченно прикрывает глаза. Дорога огибает цепочку небольших холмов и прямой стрелой пересекает Эйншем.

* * *

Уснувшая было Клеменс скатывается с сиденья и ударяется головой о дверную ручку. Теодор пристраивает «Форд» на обочине между развилкой и Кориниум-авеню, как гласит пыльная табличка со стрелкой вправо.

– Машина голодна, – комментирует он, ловя в зеркале заднего вида сердитый взгляд Клеменс. Она кое-как выбирается из автомобиля, тихо ругаясь по-французски, и Теодор невольно усмехается. Взбалмошная девица с манерами дочери рыбака, вот кто она такая.

– Я собираюсь в супермаркет, – вдруг говорит она, склоняясь к открытому окну. – Вам что-нибудь взять?

Теодор молча качает головой и смотрит ей вслед, пока она, стягивая с волос резинку, медленно бредет к виднеющемуся вдалеке «Сайнсберис». На фоне ярко-оранжевой вывески супермаркета фигура Клеменс пропадает из виду уже через десять футов.

Всю дорогу она то делала вид, что спит, то молча смотрела на пролетающий за окном пейзаж, то разглядывала Теодора и выглядела при этом грустной и вмиг осунувшейся, как будто то, что поддерживало в ней силы, вдруг покинуло ее. Он не особо разбирался в эмоциях, тем более, в женских, переменчивых, как погода, но сейчас ему отчего-то кажется, что мисс Карлайл потеряла интерес и к поездке, и к нему самому.

Это его... *задевает?*

Удивляет. Это его удивляет; не стоит путаться в чувствах, вызванных новостями об Элоизе.

Ох, Элиз.

Теодор прикрывает глаза рукой, шумно выдыхает, позволяя скопившемуся напряжению медленно покинуть грудную клетку вместе с воздухом. Если все правда, ему предстоит долгий, трудный и – он готов поспорить на следующую сотню лет жизни – выматывающий разговор с этой женщиной. Ему придется увидеть ее еще не раз, выяснить, осталась ли по женской линии ее семьи хоть капля прежних сил, выпытать из нее

все, что она может об этом знать...

Элиз потребует плату. И Теодор с огромной неохотой вынужден признать, что это будут не деньги, не коллекция статуэток эпохи Цинь, не парные стулья конца девятнадцатого века и даже не его личная трость, кожаный портфель или плащ.

Чертова женщина. Почему из всех возможных претенденток именно Элоиза оказалась причастной к делу всей его жизни?

Он выходит из машины, чтобы подышать свежим воздухом и вернуть себе самообладание, как раз когда Клеменс возвращается из супермаркета с пакетом в руках. Теодор идет ей навстречу, мимолетно думая о том, что солнце скрылось за плотными тучами и, возможно, их поездка затянется, если они попадут под дождь.

Клеменс говорит по телефону, держа его между ухом и плечом, и выглядит встревоженной.

– Мама, я сказала, что не вернусь до конца месяца, мы же догово...
Что?!

Она замирает посреди пешеходного перехода, подхватывая телефон рукой. Из-за угла «Сайнсберис» медленно выруливает красный «Ситроен» и, будто шпион, подкрадывается к девушке. Теодор прибавляет шаг, каким-то шестым чувством ощущая тревогу.

– Зачем тебе приезжать, ты же обещала мне, что...

– *Клеменс!*

Машина с визгом набирает скорость, оставив на асфальте черные полосы. Клеменс вздрагивает и оборачивается, глаза ее распахиваются от удивления и – через мгновение, которое кажется вечностью, – страха. Теодор преодолевает разделяющее их расстояние за секунду, но тело его не слушается, как во сне, когда бежать нет ни сил, ни возможности, когда сам воздух кажется плотным и вязким, как желе.

Несущийся прямо на Клеменс автомобиль превращается в повозку с обезумевшими лошадьми, все вокруг становится декорациями, несуществующим миром – узким переулком, а не просторной автостоянкой перед супермаркетом, с деревянным настилом вместо асфальтированной дороги, с французскими горожанами вместо испуганных англичан. Клеменс становится Клементиной, ее волосы становятся огненно-рыжими косами и закрывают бледное лицо, искаженное страхом.

Время сжимается до размеров мгновения: Теодор бросается к Клеменс и в последний миг успевает ее оттолкнуть. «Ситроен» с визгом проносится мимо и исчезает. Кто-то пронзительно кричит.

Теодор лежит на земле, прижимая к себе Клеменс, и слышит, как

громко стучит ее сердце, как тяжело, рвано она дышит и как его собственное сердцебиение отдается болью в груди.

– Ты цела? – Голос его плохо слушается. Он с трудом разжимает руки, чтобы отодвинуться. Клеменс бьет крупная дрожь, но она на него не смотрит.

– Лондон, – сипло говорит она и закрывает глаза, утыкаясь лбом в шею Теодора.

– Что?

Она ударилась головой, потеряла рассудок, не справилась с потрясением. Ее рыжие волосы падают ему на лицо, выжигают клеймо, и такое уже было прежде, в другой, совсем позабытой жизни, о которой он больше не хочет вспоминать.

Теодор садится и помогает подняться Клеменс: она держится за его плечи, ее волосы облепили его щеки и шею, зацепились за пуговицы рубашки. Чипсы и сок из лопнувшего пакета заляпали их джинсы одинаковыми оранжевыми пятнами.

– Лондон, – повторяет Клеменс. – Я запомнила номер. Машина из Лондона.

Камень размером с Эверест падает с его души. Теодор обхватывает лицо Клеменс руками, отодвигает от себя и всматривается в абсолютно живые рассудительные глаза. Серо-зеленые, не болотные. И лицо у нее не бледное, а чуть загорелое, с пылающим на щеках румянцем.

– Ты цела?

Клеменс кивает и вновь обнимает его за плечи. Кто-то из прохожих вызывает «скорую».

Шум городской жизни двадцать первого века накрывает Теодора с головой. Прошное постепенно покидает его разум, оставляя горький привкус во рту и запах лавандовых трав.

Трехчасовой путь они преодолевают в два раза быстрее. Теодор то и дело ловит в зеркале заднего вида грустный взгляд своей спутницы.

Серо-зеленых, не болотного цвета, глаз. И волосы у нее русые, а не рыжие.

Она Клеменс, а не Клементина.

И ему больше не нужно ее защищать.

* * *

– Ты уверена, что доедешь сама?

Ответом ему становится ее красноречивый взгляд.

– Я все еще сомневаюсь в твоей адекватности, – говорит он.

– То, что я молчу, еще не значит, что у меня поехала крыша.

Он усмехается и кивает.

– Уговорила, не стану спорить.

Теодор выходит из машины, Клеменс перебирается в водительское кресло. Он некоторое время стоит рядом и задумчиво смотрит на нее сквозь боковое стекло. Она молчала до этого несчастного – такого ли уж несчастного? – случая, молчит и после. В ней словно что-то перегорело и теперь доживает последние часы или даже минуты. Он не может понять, что изменилось.

И теперь ему нужно это знать.

Теодор корит себя за вспыхнувший интерес – так не вовремя, так не к месту, ведь ему бы нужно сосредоточиться на Элоизе и ее семейных связях с ведьмами, а не на дочери смотрителя галереи, имя которой встает поперек горла всякий раз, как он хочет его произнести.

– Ты точно доберешься до дома самостоятельно? – спрашивает он в который раз. Вот бы откусить себе язык, чтобы не пороть чушь!

Клеменс опускает стекло и тянет руку к его локтю. На рукаве его пиджака зияет дыра – он пропахал им полфута по асфальту, когда падал. У самой Клеменс ссадина на плече и грязные джинсы.

Она сжимает его запястье.

– Со мной все в порядке благодаря тебе, Теодор. Спасибо.

Он кивает и рассеянно, даже не задумываясь, произносит:

– Мы в расчете.

На секунду она замирает, удивленно открывает рот и тут же кривит губы в слабой улыбке.

– Да, пожалуй. Видишь, как удачно все сложилось.

Клеменс заводит двигатель.

– Можешь выдохнуть, – говорит она вместо прощания. – Я больше не буду к тебе приставать.

Она больше не улыбается, ее голос пуст и безжизненен. Теодору по-прежнему кажется, что в ней что-то сломалось. Разбилось на кусочки, а затем соединилось силой ее воли, но некий важный осколок, составляющий суть, концентрат ее эмоций, остался лежать на дороге между трассой М5 и магазином «Сайнсберис».

Теодор вернул обратно не Клеменс, а ее оболочку. Это пугает, но спросить вслух, вытянуть из нее, пустой, истинную причину таких

разительных перемен он не смеет.

– До свидания, мисс Карлайл, – говорит Теодор и чуть заметно улыбается. Она на него даже не смотрит.

– Прощайте, мистер Атлас.

«Форд» Генри Карлайла трогается с места и растворяется в вечернем сумраке. Теодор остается посреди пустой улицы один.

Вздыхнув, он идет к себе в лавку, сегодня запертую на все замки. Бен уехал на конференцию и должен вернуться только через две недели. Еще с утра Теодор был этому рад – однако теперь желание поговорить и поделиться новостями едва ли не выворачивает его наизнанку.

Форменное сумасшествие.

Дверь оказывается незапертой.

Теодор с легким недоумением поворачивает дверную ручку, и она поддается. Свет уличных фонарей едва очерчивает обстановку комнаты. Вещи стоят на своих местах, с витрин нагло улыбаются все те же фарфоровые куклы и китайские статуэтки, индийские слоны из слоновой же кости тянут свои хоботы вверх с полок у стены. Его любимое кресло с забытым пледом, деревянный столик, стулья в дальнем углу и старинный комод, доски которого высохли и почернели – все, как и прежде, неподвижно и покрыто пылью.

Он уверен, что запирает лавку с утра.

Теодор прикрывает за собой дверь, бросает в кресло пальто и медленно, не включая свет, пересекает зал. Возле двери, ведущей в коридор, он замирает, не глядя нащупывает шнур торшера и тянет за него. Теплый свет напольной лампы выхватывает из темноты чью-то сгорбленную фигуру.

– Говори, – сухо отрезает Теодор, даже не оборачиваясь, чтобы взглянуть на нежданного гостя. А тот отделяется от стены, неслышно скользит мимо комода и столиков и останавливается в двух шагах от Теодора.

– Я-то думал, ты хотя бы сделаешь вид, что удивлен.

– Я удивлен, – отвечает Теодор, – но показывать тебе этого не собираюсь, *Палмер*.

Мальчишка смеется, поправляет сползшую с худого плеча кожаную куртку и трет рукавом обкусанные сухие губы. Когда они виделись в последний раз, волосы скрывали его глаза, теперь же Теодор не может разглядеть за ними и половины лица. Палмер обходит одно из парных кресел двадцатых годов и бесцеремонно садится в него, закинув ноги на подлокотник.

– Зачем ты здесь? – спрашивает Теодор, не отставая от него ни на шаг. Палмер неопределенно хмыкает.

От него веет странной тревогой – он весь напряжен: трясет ногой, пальцами перебирает бахрому торшера, но взгляд его спокоен и устремлен на Теодора.

– Зачем пришел, Палмер? – повторяет Теодор. – Получить еще денег? Мы с тобой рассчитались месяц назад, но если желаешь большего – возьми.

Весь его вид вызывает неприязнь: начиная с кончиков мышинового цвета волос и заканчивая тонкими бледными пальцами, весь его облик, серая кожаная куртка, грязные мешковатые джинсы, поношенные кроссовки – весь он. Теодор достает из кармана брюк пачку купюр и швыряет ее мальчишке.

Тот вскакивает, отмахиваясь от денег, как от проказы.

– Мне от тебя ничего не нужно, ублюдок! – рычит он, мгновенно сбрасывая маску холодного равнодушия. Теодор видит, как с него сходит наигранность, как глаза стекленеют и становятся почти черными от гнева.

Бинго.

– Зачем тогда ты явился? – Теодор растягивает слова и манерно проговаривает каждый звук. Палмер трясется с головы до ног.

– Передать тебе послание.

Он выдергивает из кармана клочок бумаги – Теодор уверен, что это пергамент, – и бросает ему под ноги. С деланным равнодушием и видимым отвращением.

– Что это?

– Сам поймешь, *фоморов прихвостень*.

Даже голос у мальчишки ломается от напряжения.

– Ты больше похож на их слугу, – сухо бросает Теодор, – раз выполняешь чьи-то приказы, *мальчик*.

– Да пошел ты!

Он рычит и не трогается с места, охваченный злостью. Читать его проще простого. Напряжения и тревоги больше нет – одна ярость. Теодор спокойно наклоняется, чтобы поднять записку.

– Не против, если я прочту при тебе?

Он уверен, что Палмер готов кинуться на него с кулаками, но его останавливает чья-то невидимая рука – та, что направляет его, та, что выводит фразы на пергаменте красивым каллиграфическим почерком. Та, что наверняка ведет и самого Теодора.

– Может, мы оба с тобой лишь марионетки в умелых руках мастера,

а? – спрашивает он. Мальчишка сжимает зубы и молчит. – Видимо, ты со мной согласен.

Он успевает развернуть бумагу и увидеть в тусклом свете напольной лампы первое слово: «*Навеки*», когда над дверью лавочки звенит колокольчик.

– Мистер Атлас! – раздается звонкий голос Клеменс Карлайл, и сама она появляется за спиной Палмера. – Думаю, нам нужно поговорить.

Мальчишка бледнеет сильнее прежнего, нервно оборачивается и тут же прячет лицо в вороте куртки. Теодор буквально слышит, как в натянутом напряжении воздухе лопается струна гитарного рифа. В мозгу вспыхивает, точно тысяча солнц, тревожная мысль: «*Только не Клеменс!*».

Она замирает.

– Шон?..

Тот выдыхает и открывает лицо.

– Это ты во всем виноват, – цедит он сквозь зубы.

Затем оборачивается к Теодору, в один прыжок оказывается рядом и выхватывает из-за пояса джинсов нечто, что невозможно разглядеть, – только золотистый отблеск длинного и острого, точно острого предмета, – и оно жалом впивается Теодору под ребра.

Боль пронзает до самого позвоночника. Теодор коротко вскрикивает.

– Шон! – кричит Клеменс.

– Это тебе за поломанную жизнь, бессмертный дьявол! – рычит мальчишка и отпускает Теодора.

Он оседает на пол, в голове шумит кровь, в правом боку, под ребрами, пульсирует и разливается по всему телу боль, ноги и руки леденеют, в глазах становится темно; мир опрокидывается навзничь, пляшет разноцветными бликами, теряет очертания.

Лицо Палмера исчезает, на смену ему приходит лицо Клеменс, искаженное страхом и болью.

Почему болью?

Кажется, кровь хлещет из застарелой раны, той самой, которую он безуспешно пытался скрыть под рубашками и пиджаками своих строгих костюмов.

– Теодор! Нет-нет-нет, только не закрывай глаза, я сейчас!

Клеменс кричит, но слова почти неразличимы.

Боль охватывает грудную клетку и забирается в самое сердце. Ему нечем дышать, а в голове стонет на одной ноте женщина.

Единственная, кого хочется слышать. Единственная, кого слышать не хочется.

– Теодор!

Теодор опускает веки, отдаваясь темной ночи со всполохами искр огромного костра.

– *Серлас!*

IX. Отойти в сторону, иноземец

Жаркий воздух сушит глаза. Серлас устало вытирает со лба пот, но тот, похоже, испаряется, не успевая намочить рубаху. Косить траву в такую погоду – суцая пытка. Да и трава уже не трава.

Все иссохло, пожелтело и превратилось в седое покрывало. Река обмелела окончательно, океан отошел, отступил и оголил белые от соли глыбы. Теперь они острыми клыками скалятся в небо, нежно-голубое, без единого облачка. Иногда Серлас, проходя по берегу, смотрит вниз, в обрыв, видит жестокую улыбку океана, но не может послать ему ответную.

В городе беспокойно. Рыба мельчает, овощи сохнут и не доживают до урожая, зерновые гибнут на корню. Люди становятся злее: до Серласа то и дело доходят слухи о драках, жестоких побоях, о том, что сыновья мельника избili сына кузнеца, кузнец забил до полусмерти мельника, а жена одного повздорила с дочерью другого из-за мешка муки, и обе теперь не досчитываются пары зубов.

Серлас больше не ходит в город.

Он косит траву за домом, чтобы отнести к вечеру на берег океана и оставить там, не давая засухе возможности сжечь все дотла. На той неделе пожарища вспыхнули в роще неподалеку и в полях. Спалили два сарая с запасами, вызвали новые волнения, испугали детей и женщин.

Несса хмурилась больше обыкновенного, кивала его рассказу и долго смотрела в тлеющий в очаге огонь, прежде чем сказать:

– Дожди придут нескоро, Серлас. Мы должны быть готовы к испытаниям.

Он только фыркнул и ушел на задний двор – покормить исхудавшую козу и завести в стойло лошадь. Речи речами, а ждать обещанных испытаний ему нельзя: времени слишком мало, чтобы предаваться тяжелым думам.

Теперь на Серласе весь дом. Несса, рыжая, как закатное солнце в тумане, с ржавыми худыми косами, словно подернутыми мутной поволокой, почти не спит из-за Клементины. Девочка плачет ночами, не дает сомкнуть глаз ни матери, ни Серласу, и ему приходится украдкой сбегать из дома, чтобы пару часов подремать перед рассветом в хлеву. Днем жена баюкает дочь, а Серлас следит за хозяйством: кормит скотину, причесывает жухлую траву за домом, выметает сор за порог. Даже меняет веточки крапивы над дверьми и вереск у окон. Даже готовит на двоих.

Выходит у него из рук вон плохо. Усталость и тяжесть каждого прожитого дня подкрадываются и нападают на него незаметно, и он втайне восхищается умением женщин держать дом в чистоте и порядке. Теперь, когда все силы Несса тратит на свое дитя, дом стоит неприбранным, но никто не обращает на это внимания.

Никто к ним и не приходит.

С того злосчастливого дня, когда Серлас невольно – нет, он не хотел, не желал девочке злой участи! – открыл Мэйв правду, она перестала даже оглядываться на него, если они вдруг сталкивались посреди площади. Она перестала ходить к ним еще раньше, но теперь, после нескольких недель тягостного молчания, Серласу чудится в этом что-то тревожное.

Суровая засуха губит поля. Суровое молчание подруги берedit старые раны.

Он возвращается с поля, где выкосил половину сухой травы, и сразу сталкивается с бледной Нессой: жена пьет микстуру Ибхи, ее последние запасы, и задумчиво смотрит в окно.

– Знаешь, Серлас, – вздыхает она, когда он шагает к ней и, боясь испачкать нежную кожу лица, целует в худую руку. – Знаешь, а ведь горе пришло в город.

Такие речи Несса заводит раз в день, и Серлас уже даже не удивляется и не спорит. Только кивает, загоня в глубь пугливого строптивного сердца страх.

– Мэйв идет к нам, – продолжает Несса. Ее загадочный тон, краткие разговоры, печальные глаза – все это Серлас мучительно долго наблюдает и сейчас вдруг осознает, что ничто в ее словах и действиях больше не отзывается в нем тянущей болью. Будто ее болезненный вид и рыжие косы больше его не пугают.

Вот отчего ему становится все страшнее. Вот почему он отводит взгляд и не смотрит ей в лицо, если она говорит с ним.

Не оттого, что боится ее странных, порою жутких речей. Не оттого, что сказала ему Мэйв – ей он не верит, решил не верить.

Бледная, уставшая, печальная Несса теперь не страшит его, и даже если Серлас замечает влажные дорожки слез на ее щеках, они не сводят его с ума.

Наверное, сердце его черствеет и превращается в камень, так ведь?

За стеной, в маленькой душной комнате просыпается Клементина. Сначала Серлас слышит упрямое сопение, но тут же оно, набирая силу, выливается в детский плач. Вздохнув, Несса поднимается из-за стола и спешит к дочери.

– Сейчас, моя милая, – тихо говорит она. Серлас отходит в сторону и мимолетно успевает коснуться пальцами ее голой руки.

Он не замечает, но губы Нессы тут же изгибаются в улыбке.

Мэйв стучит в их дверь ближе к вечеру. Удивленный и обескураженный, Серлас отпирает ей: закатное солнце бьет ей в спину. Тревога настигает его мгновением позже.

– Мэйв, что стряслось? Почему ты плачешь?

Она стоит перед ним, утирая бегущие слезы рукавом ситцевого платья. Босоногая, как и всегда, с растрепанными волосами – они вьются по спине и спадают ниже по широкому подолу ее платья...

Лицо ее покраснело, она тяжело дышит, будто бежала к ним от самого города.

– Мама, – сипло шепчет Мэйв. – Мамы не стало утром, Серлас!

Она кидается ему на шею, а он даже не может поднять руки, чтобы обнять ее: внезапная горькая новость лишает его тело сил, а голову – мыслей. Серлас стоит, сраженный, не способный сказать ни слова. Мэйв плачет, заливая рукав его рубахи слезами.

– Мне жаль.

Это говорит не Серлас. Он оборачивается. Мэйв замирает и шмыгает носом: перед ними в солнечных лучах появляется Несса с ребенком на руках. Дитя смотрит на гостью с интересом, но девушка будто не замечает Клементину, которой помогла появиться на свет.

– Я знаю все, что ты скажешь, – вздрогнув, говорит Мэйв. Ее руки стискивают плечи Серласа, и он невольно отступает назад. – Твое лживое сердце не способно на жалость, оставь притворство!

– Мэйв! – ахает он.

– Это правда, Серлас! – восклицает она. Маленькая Клементина заходится плачем. – Ты знаешь правду! Она обманщица, лгунья! Как можно ей верить?

Серлас никогда не видел ее такой озлобленной. Мэйв злится так, что багровеют уши, вздуваются вены на шее, пылают, как огонь, руки. Даже смерть матери не могла бы сделать ее такой.

Что случилось с милой Мэйв, дочерью знахарки? Ее голос должен успокаивать малышей, а руки – лечить больных и несчастных.

В Мэйв будто вселился фомор.

Девочка на руках Нессы боится ее и плачет.

– Ты готов боготворить ее, – рычит Мэйв, обращаясь к Серласу, – а ведь она врет и тебе! Ты ослеп и не видишь того, что вижу я – она несет беды!

– Прекрати, – обрывая ее горячие речи, шипит Серлас. Несса качает головой и не пытается все опровергнуть. Почему она не остановит это безумие?

Безмолвная, кроткая, она не похожа на себя прежнюю. Серлас мечется между нею и Мэйв, и посылает обеим немой вопрос. *Почему? Почему вместе с утратой одного близкого человека Мэйв готова потерять и других? Почему Несса не прекратит это одним только словом?*

Мэйв с болью и яростью оглядывается на Серласа. Никогда прежде она не смотрела на него такими глазами, а сейчас пугает до глубины души; пылающая гневом и горечью, обозленная, уязвленная, несчастная. Все в ней смешалось. Серлас видит это и не может помочь.

– Она погубит тебя, Серлас, уже ведь губит... – обессиленно шепчет Мэйв. Качает головой, оседает, словно кто-то вытянул из нее последний нерв и оставил пустую безжизненную оболочку.

– Ты... ты не знаешь, что говоришь, – отвечает Серлас. Он тянет к ней руки, но она не принимает их, ведь теперь со своими объятиями, с этой жалостью он опоздал.

– Наоборот, – говорит Мэйв. – Теперь мне все ясно, как белый свет. А ты слеп и бродишь в потемках. И она... – Тонкий палец указывает на замершую Нессу. – Она не выведет тебя. Только не эта женщина.

Называть ее по имени Мэйв... боится? Серлас видит, как лицо ее кривится от боли, злости и страха, все вместе отбирает у нее все силы.

– Мэйв... – тихо произносит Серлас. – Оставь эту ненужную злобу. Так ты не вернешь Ибху.

Мэйв вдруг кивает и выпрямляется. Руки перестают дрожать, в глазах появляется ясность. Клементина на руках Нессы прекращает плакать.

Слышно, как на заднем дворе жует сено старая Матильда.

– Ты прав. – В неожиданной тишине твердый голос Мэйв звучит приговором. – Мама мертва и уже не вернется. Но я не дам ей...

Она не договаривает. Обрывает себя на полуслове, всхлипывает и бросается вон из дома, задев Серласа острым плечом. Он даже не пытается остановить ее, только печально смотрит, как удаляется ее нескладная фигура. Закатные лучи солнца впитывают ее вместе с тенями и тонут в океане.

В доме, потревоженном внезапной гостьей, остается легкий аромат тревоги и ярости. Они тают вместе со слезами на щеках Клементины.

– Мне жаль, – повторяет вдруг Несса. Серлас, не зная, что думать, только качает головой.

* * *

Неисчезающий след присутствия Мэйв терзает его, и даже колодезная вода, согретая духотой комнаты, не смывает волнений. То, что говорит эта девушка...

Неправда.

Серлас решает, что это неправда, что горе лишило милую Мэйв доброты и света, которые всегда его восхищали. Он должен пойти в город, наплевав на беспокойства горожан, и отыскать ее. Поддержать, протянуть руку помощи. Ведь она всегда была ему верной опорой в трудные времена, даже когда он ни о чем не просил. Особенно когда не просил.

Добрая светлая Мэйв. Ее слова – ни что иное, как безумие горя.

Серлас думает об этом, когда укрывает спящую Клементину, и украдкой, пока не видит Несса, целует в лоб. Теплый, нежный. Маленькая девочка, какой бы беспокойной она ни была, несет радость и свет. Клементина, дочь колдуна.

Несса зовет ее Клеменс и снова поет свои песни. Те льются реками и ручьями, тихо сбегают через открытые окна во двор и тонут в водах океана, чтобы вместе с течением унести вдалеку, за горизонт, и осесть в мыслях случайного странника смутными мелодиями.

Клеменс, дочь Нессы, дарит счастье. Серлас верит в это.

Только вера не спасает его от нагрянувшей беды. Едва последняя свеча гаснет в его руках, едва он переступает порог спальни Нессы, чтобы присоединиться к ее недолгому сну, в их двери стучат.

Громко, требовательно, так что дрожат и стены, и пол.

Тревоги и страхи вмиг возвращаются. Серлас мчится через весь дом, чтобы открыть страшным гостям.

На пороге стоят Конноли – пугающий Дугал и его младший брат Киеран. Они возвышаются над худым Серласом черными тенями, мрачно смотрят на него сверху вниз и тяжело дышат.

– Отойди, иноземец, – грохочет Дугал. Один его голос способен пригвоздить к земле, и Серлас не двигается с места.

– Что вам нужно в такой поздний час?

Он бы хотел, чтобы и его голос был таким же грубым и жестким, но, увы, он может только шептать.

Если они пришли за ним, ему придется бежать из города.

Дугал сдвигает его к стене, будто Серлас – пушинка. За его спиной в лунном свете виднеются худые плечи Мэйв.

– Мы пришли за ведьмой, чужак, – рычит Дугал. – Отойти в сторону.

Х. Каменный оскал и костер на площади

Серлас успевает метнуться в спальню, но его хватают за ворот рубахи и оттаскивают назад. Это рука Киерана, такая же огромная, как и у брата.

– Нет, вы не посмеете! – давится криком Серлас. – Несса!

Дугал с факелом в руках идет дальше, на стенах пляшет его чудовищная темная тень. Слышится короткий вскрик, следом – плач Клементины.

– Несса! – Серлас рвется из крепкой хватки Киерана. Тот разворачивает его лицом к себе и коротко, точно бьет в грудь. Воздух со свистом выходит из его легких, Серлас сгибается, взгляд утыкается в сапоги на ногах ирландца.

На носках у него – пыль и сухие травинки, а еще остатки мха из лесной чащи.

– Тебе бы сидеть в углу и тихо скулить, пес, – рычит над ним Киеран. Серлас никогда не сталкивался с ним раньше, не говорил – только видел в городе рядом с братом или отцом. Отчего младший Конноли так зол на него? Или вся их семья считает Серласа врагом?

Он ничего им не сделал, не сотворил зла. Но сейчас они вырывают из его ослабевших рук то единственное, ради чего он готов бы сражаться до смерти.

Несса появляется в дверях первой. За ней огромной черной тенью следует Дугал. Он даже ее не держит – жена сама спокойно шагает вперед. Лицо ее блее белого.

– Несса! – Серлас снова пытается вырваться, хотя внутри все горит еще от первого удара Киерана. Жена смотрит вперед, в окна, выходящие к берегу океана. В лунном свете, сутулая и босая, там виднеется Мэйв. Она глядит на Нессу с усталой злостью.

Их выводят обоих, женщину и мужчину. В доме остается только их плачущее дитя.

Лицо Мэйв, полное горя и упрямой, костенеющей прямо на скулах злобы, становится восковым.

– Это ты сгубила ее, – бросает она. – Если бы не ты...

Несса молчит, будто лишилась голоса. Серласа, упирающегося и рвущегося из лап Киерана, ставят на колени. Мэйв опускает к нему взгляд и сжимает губы в тончайшую, едва заметную линию.

– Колдунов не бывает, – повторяет она тяжело. Эти слова разбивают,

ломают, крошат в Серласе то последнее живое, что еще теплится на дне рассудка и не дает окунуться в яростное забытие.

– Неправда, – шипит он.

Душная ночь таит в себе страхи. Несса молчит. Мэйв вздыхает.

– За все твои деяния тебя сожгут на костре.

– *Нет!*

Серлас кричит, мечется, рвется из рук Киерана, и кулак ирландца обрушивается на него вновь. Удар приходится в спину; Серлас выгибается дугой.

– Несса!.. – хрипит он сквозь кашель.

Она вся белая: белая сорочка до пят, белые тонкие руки, сжимающие ситцевую ткань подола, белая шея, щеки, лоб. Даже рыжая коса на плече тускнеет – страх будто лишает ее цвета.

– Вы не можете, – цедит Серлас сквозь стиснутые от боли зубы. – Вы не посмеете...

– Готов за нее заступиться? – рявкает Дугал и, отойдя от Нессы, наступает сапогом на его руку. – Ты, иноземец, готов выгораживать ведьму, которая тебя пригрела?

– Оставь, – коротко говорит Несса. Дугал тут же выпрямляется и поворачивается к ней. Замерев, смотрит прямо на нее, но Серлас не видит того, что видит ирландец.

– Оставь его, – повторяет Несса. – Он ничего не сделал. Он невиновен.

Дугал сплевывает ей под ноги. Серлас силится встать, подняться хотя бы с колен. Сил совсем не осталось, ибо страх сжимает в своих объятиях все его существо, душный воздух давит на плечи, а в голосе Нессы звучит обреченность.

– Я не убивала Ибху, – говорит она. Мэйв вздрагивает, как от пощечины.

– Врешь! Моя мать помогла тебе, а за это ты прокляла ее, и Бран^[30] забрал себе ее душу! Ты молилась ему, я слышала!

– Я молилась Бригид^[31], – качает головой Несса. – Твоя мать уже была тяжело больна, она умирала...

– Ложь! Ты прокляла ее, наслала на нее смерть!

Мэйв дрожит и всхлипывает. Смахнув с лица злые слезы, она кидает Серласу, будто и его винит в смерти Ибхи:

– Все еще веришь ей? Чья дочь плачет в доме?

Несса впервые дергается в руках Дугала.

– Не трогайте ее! Только не ее!

Серлас стискивает зубы до скрежета, до боли.

– Она же ребенок, Мэйв, – шепчет он. – Всего лишь ребенок.

– Чей?

Вскрикнув, Несса падает на колени.

– Серлас, – плачет она, – прошу тебя...

Он ловит ее умоляющий взгляд. Бледное лицо, слезы на острых скулах. Дрожащие губы – искусанные, покрасневшие, – алеют ярким пятном.

– Клеменс моя дочь, Мэйв, – говорит Серлас. – Не трогай ее.

* * *

Клеменс кидается к Теодору мимо стеклянных витрин, полок с крошечными статуэтками и кривоногих стульев – кажется, все вещи в антикварной лавке вдруг ожили и встают у нее на пути. Теодор же с выдохом оседает, как дырявый воздушный шар.

Шон растворяется в темноте за пределами той реальности, где он все еще ее друг и помощник, а не взъерошенный мальчишка с ножом в руках. Шона в мире Клеменс больше не существует.

– Теодор! Нет-нет-нет, только не закрывай глаза!

Клеменс падает на колени, подавляя вопль, – ему сейчас гораздо труднее дышать, и не ей кричать от страха. По белой рубашке растекается алое пятно, но в сумраке антикварного магазина оно кажется черным, будто вместо крови в теле Теодора чернила, смола, застывающая лава из жерла вулкана.

Зажать рану, не дать ему потерять слишком много крови, дождаться врачей. Вызвать «скорую». Вытащить нож. Нет, не так! Все не так, все надо сделать наоборот! Какая же ты дура, Клеменс!

Не выдержав, она всхлипывает – вместе со слезами наружу рвется паника.

– Теодор! Я сейчас, сейчас...

Вызвать «скорую», ему нужен врач. Кто-нибудь, хоть *кто-то*, умеющий держать себя в руках, чья голова не пойдет кругом от вида крови. Клеменс с трудом заставляет себя смотреть в лицо Теодору и не опускать глаз ниже. Страшно, Боже, как страшно. Он выглядит бледнее своей светло-голубой рубашки.

Он открывает глаза.

– Никуда не звони, – говорит он. – Просто помоги мне.

– Как?

Теодор тяжело дышит.

– Расстегни рубашку. Нужно вытащить нож.

Он слишком спокоен. Клеменс слушается его только потому, что он спокоен: смотрит прямо, не стонет, несмотря на то что лицо блестит от испарины, как же ему, должно быть, больно, а она будто разваливается на части, ломается, не чувствует ни рук, ни ног. Ничего.

Они справляются вдвоем: Клеменс кое-как расстегивает нижние пуговицы, Теодор – медленно – верхние. Нож застрял между одиннадцатым и десятым ребром. Стараясь не дышать, Клеменс сдвигает мокрую от крови ткань рубашки. Рукояткой ножа служит фигурка идола, подобного статуям с острова Пасхи.

– Тут у тебя... – заикается Клеменс. – Боже, у тебя ребра сломаны.

Три нижних справа – ложные, это ложные ребра, *costae spuriae*, и зачем она сейчас об этом вспоминает? – торчат под неправильным углом, это заметно под кожей, и вокруг...

– Клеменс.

...Гематома, или же ткани отмирают, или...

– Клеменс, посмотри на меня.

Она не может отвести взгляд от его изувеченного тела.

Теодор втягивает воздух через стиснутые зубы и медленно поднимает руку, чтобы дотянуться до замершей Клеменс и коснуться ее кончиками пальцев.

Она вздрагивает. Кожа у него горячая-горячая, по венам течет не кровь, а лава.

– Сейчас ты встанешь, – шепло говорит Теодор, – дойдешь до лестницы, поднимешься наверх... – Клеменс мотает головой. – Нет, ты сможешь. Поднимешься наверх и найдешь комнату Бена. Клеменс!

Ее руки живут своей жизнью и хватают упавший на пол смартфон. Выпачканные в крови пальцы скользят по экрану, оставляя на стекле бурые штрихи.

– Нет.

Теодор успевает накрыть ее руку своей – почему так много крови, откуда? – и качает головой.

– Нет, мы не станем вызывать медиков.

– Тебе нужна помощь!

Голос Клеменс крошится и звенит, точно хрустальный ангелок, которого сжал в пухлой руке неуклюжий мальчишка.

– Не их. Твоя.

Они смотрят друг на друга – истекающий кровью мужчина и дрожащая бледная девушка. Клеменс зажмуривается и кивает.

– Хорошо.

Бояться нельзя, только не теперь. Клеменс вскакивает на ноги – голова идет кругом, стены норовят навалиться прямо на нее и погresti под собой.

– Найдешь комнату Бена, – повторяет Теодор, – там, на полке в шкафу, стоит голубой контейнер из-под «Лего».

Что?

– Принеси его.

Клеменс ни о чем не спрашивает. Теодор сошел с ума, и она тоже, раз слушается его указаний, а не звонит врачам. Теодор сошел с ума и умрет от потери крови, если она ему не поможет.

Она кивает и спешит в коридор. Оттуда – налево, запинаясь о пыльные полупустые коробки, до винтовой лестницы на второй этаж. В темноте ей почти ничего не видно, но, подстегиваемые страхом, все органы чувств работают слаженно. Клеменс видит, как изгибаются деревянные ступени, и мчится вверх.

Черт бы тебя побрал, Теодор Атлас, черт бы тебя побрал!

Второй этаж, узкий коридор, двери. Одна, вторая, третья – дальше, в тупике, еще дверь. Все одинаковые, не разобрать, где чья комната, никаких опознавательных знаков. Клеменс заглядывает в каждую; на затворках сознания трепещет полубезумная мысль, что от такого грохота у Теодора начнется мигрень, а еще сюда сбегутся соседи и увидят его раненым.

Если это отрезвит его голову – пусть!

За первой дверью – ванная, дальше – комната Теодора, темная, с плотно задернутыми шторами, одинокой кроватью в углу и креслом напротив. Спальня Бена оказывается третьей, и Клеменс, выдохнув, спешит к платяному шкафу с резными дверцами... Перепачканные руки Клеменс оставляют на лакированной поверхности некрасивые следы. Простите, Бенджамин.

Верхние полки забиты рубашками, ниже аккуратно развешены костюмы-тройки. Полка с коробками оказывается в самом низу. Клеменс выискивает в полутьме голубую «из-под «Лего»», но ничего не находит. Паника нарастает.

Стиснув зубы, она выгребает из шкафа все коробки подряд. Они обиты тканью и подписаны, словно Бен готовится к переезду или только недавно приехал. Голубой нигде нет!

С первого этажа раздается сдавленный стон.

– Пожалуйста! – почти плачет Клеменс. – Найдись, *пожалуйста!*

Пластиковая коробка с подписью «Лего» задвинута в дальний угол шкафа. Клеменс видит ее – и чувствует невыразимое облегчение: от этой вещицы зависит жизнь Теодора.

Стон внизу повторяется.

Стон перерастает в крик, и Клеменс, наплевав на беспорядок, мчится вниз. Коробка в ее руках грохочет, внутри что-то позвякивает: что-то мелкое, металлическое.

Нелепо споткнувшись, она запинается и налетает плечом на стену. Похоже, она задела выключатель – под потолком загорается одинокая лампа, и сразу становится светлее. Некая высшая сила помогает ей преодолеть оставшееся расстояние.

До того места, где лежит Теодор.

Клеменс вваливается в зал и видит его: он успел перебраться поближе к стене и сесть, прислонившись спиной к креслу, и рукоятки ножа в его боку больше нет.

Она валяется тут же, на полу, в луже крови. Каменный идол бессмысленно скалит темные зубы.

– Что случилось? – Клеменс роняет коробку, та с грохотом падает ей под ноги, но она уже опускается на колени, и догадка, страшная, как сам нож, вспарывает ей сознание.

– Нож для бумаг, – хрипит Теодор, вдыхая и выдыхая через стиснутые зубы, как чертов Дарт Вейдер. – Этот фоморов ублюдок хотел убить меня моим же ножом для бумаг. Двадцатый клятый век. Вулканический туф, резьба, клинок из стали. Я привез его из Америки.

– Теодор! – всхлипывает Клеменс. – *Что случилось?*

Он морщится и медленно отодвигает полу рубашки.

– Лезвие сломалось и осталось внутри. Ты сможешь мне его вытащить.

* * *

– Я не могу, – отвечает Серлас. – Не сумею, только не так.

Его и Нессу привезли в город, втокнули в погреб заброшенного паба и забыли об их существовании. Снаружи кричат горожане, всю ночь раздается шум и грохот. В воздухе стынет угроза. Страх и паника въелись в кожу, закрались в сердце. Вдох – они ширятся. Выдох – сужаются и на

мгновение гаснут.

– Серлас, – зовет Несса. – Ты должен пообещать мне.

Их заковали в цепи и растащили по разным углам. Серлас содрал запястья, пытаясь стянуть с рук оковы, вывихнул ногу и разбил подбородок о железный поручень, держащий его на привязи, точно пса. Пес он и есть – слабый, безвольный.

Сидеть ему в углу и тихо скулить.

В погребе одно узкое окно. Свет, разделенный на три квадрата железными прутьями, падает на ноги Нессы. Больше Серлас ничего не видит – только босые ноги, сбитые в кровь долгой дорогой до города.

Их привели прямо в ночных сорочках и бросили сюда, как жалких зверей.

По виску Серласа стекает пот вперемешку с кровью. Он получил по голове дубиной от кузнеца Финниана и впал в забытие, как только шагнул в город через главные ворота. Сонные горожане уже наводнили улицу, в толпе, поджидавшей их, даже показались дети. Очнулся Серлас уже в погребе, закованный в металл, словно фомор.

– Ты должен пообещать мне, – повторяет Несса твердым, не в пример ему, голосом. – Дай слово мне, Серлас!

– Лучше погибнуть! – кричит он в ответ темноте. Постылые слезы уже застилают ему глаза и мешают рассмотреть даже то небольшое, что осталось.

– Нельзя, – шепчет темнота. – Тебе теперь нельзя умирать.

– Несса...

– В том, что случилось, нет твоей вины, – говорит она тихо и ласково, как ребенку. *Как Клементине.* – И не тебе за все отвечать.

– *Пожалуйста, Несса.*

Наверху что-то грохочет, гремят тяжелые шаги. В потолке открывается деревянный люк. Звучит одно только слово:

– Пора.

* * *

Боль одолевает такая, будто на нем не одна глубокая рана, а сотни. Тело горит, как в огне. Его кинули в костер и сожгли под одобряющие крики толпы?

Вряд ли он хоть когда-то испытывал страдания, схожие с теми, что

обрушились на него в августовскую ночь 1800 года, но сейчас вдруг кажется, что все, происходящее теперь, отзывается в нем гораздо сильнее.

Чертов ублюдок Палмер. Его удар пришелся на старый незаживающий шрам, в излом ребер, всегда срастающихся неправильно. В самое слабое его место.

Как знал, куда бить, гаденыш.

– Ты больной, – припечатывает Клеменс, утирая пот. Или это слезы блестят у нее на щеках? – Я не стану этого делать, я не врач.

Ее смартфон Теодор затолкал под кресло, но если вдруг она решится позвонить по городскому, он не успеет ее остановить. До телефонной трубки – десяток футов. Клеменс в два прыжка одолеет это расстояние, а вот Теодор не сможет сделать и шагу.

– Послушай...

– Не проси о таком! – взвизгивает она. Даже в теплом свете ламп ее лицо бледнее самой луны. Фокусироваться на нем все сложнее: реальность растекается, точно вода, мутнеет и гаснет, становится незначительной. Он уже потерял достаточно крови, чтобы понимать: забытье близко, а в нем, как в темном омуте, уже поджидают прошлые страхи и ужасы.

Крики горожан ирландского городка. Душная ночь, пылающий в центре площади костер. Ведьма, ведьма! Он вновь увидит все это сквозь оконную решетку и будет биться в истерике и метаться по иссушенному засухой погребу. И выть, словно пес.

– Клеменс, – с трудом выговаривая ее имя, цедит Теодор. – Кроме тебя я никого не могу просить о помощи. Ты это понимаешь?

Она замирает и, всхлипнув, прижимает руку ко рту. На миг вынырнув из щупалец мрака, он видит, что у нее дрожат пальцы.

– Ты меня понимаешь?

Клеменс. Бледная девушка со строгим взглядом, целеустремленная упрямица, острая на язык. У нее русые волосы, смугловатая кожа, серо-зеленые глаза. Она не похожа на Клементину. Ни взглядом, ни жестом.

За что высшие силы послали ее Теодору? У судьбы странное чувство юмора.

– Клеменс, послушай, – шепчет он. – Я не умру. Слышишь меня? Я не умираю, я уже говорил тебе. Но ты должна спасти меня от мучений. – Она морщится, мотает головой. Не понимает. – Вытащи из меня этот чертов нож.

По холодеющим пальцам рук и ног, по ознобу, пробирающему до костей, он знает, что потерял литр крови. Прижатый к открытой ране старый плед уже насквозь пропитался ею, и она не останавливается. Если

извлечь лезвие, рана не закроется, но от потери крови он не умрет – такое уже случилось однажды и не убило его.

– Одному мне не справиться, – говорит Теодор. – Клеменс. Пожалуйста.

Она судорожно вздыхает и поджимает губы.

– Хорошо, – кивает она. И добавляет, будто себе: – Окажись бессмертным, Теодор, иначе...

Он облегченно закрывает глаза. Голову тут же наводняют все видения прошлого разом – боль, крики, дым, стертые запястья рук, запах гари – так что приходится вытаскивать себя из их тягучего омута.

– Что мне делать? – спрашивает Клеменс. Ее бледное лицо маячит перед Теодором, голос помогает не свалиться в обморок. Он медленно съезжает на пол.

– В коробке поищи. Скальпель и ножницы. И пинцет.

Клеменс гремит металлическими инструментами Бена. Звук, как ни странно, не отрезвляет, а делает только хуже: вместе с дребезжащим лязгом дрожит и зал магазина, и подсвечники, канделябры, статуэтки на полках, чернильницы, даже трость с позолоченной стальной головой льва.

– Я не умею резать людей, – всхлипывает Клеменс. Теодор вымученно улыбается.

– Тебе и не надо.

Он отнимает руку с зажатым промокшим пледом и отбрасывает его в сторону. Кровь вокруг раны подсохла бурым пятном, и он думает, что это пугает ее куда сильнее скальпеля в руке. Она сжимает его с такой силой, что синеют костяшки пальцев.

– Только один надрез, – говорит Атлас.

Проси он мягким, бархатным голосом, это все равно бы не помогло. Поэтому Теодор даже не пытается. Короткие отрывистые фразы звучат приказами, но ведь она не военная медсестра – она вообще не медсестра, чтобы творить нечто подобное.

– Только вытащить лезвие? – заикаясь, спрашивает она. – А зашивать...

– Не нужно. Само срастется.

Если раньше Теодор и казался ей сумасшедшим, то теперь в ее глазах он попросту идиот. Но Клеменс слишком занята, чтобы обращать внимание на его глупые речи.

– А вдруг заражение, – бормочет она и поднимает на него заплаканные глаза. – Есть спирт?

Если бы у него хватило сил, он бы рассмеялся. Но получается только

слабый выдох:

– В письменном столе у входа. В нижнем ящике.

Клеменс кивает и вскакивает на ноги. Сквозь глухой стук крови в ушах Теодор слышит топот ее легких ног. Она пробегает мимо телефонного аппарата, с которого могла бы позвонить в «скорую». Гремит ящиками стола. Чертыхается, ругается по-французски. И возвращается обратно – не обращая внимания на телефон.

Умная девочка.

– Будет больно, – говорит Клеменс, садясь перед ним с бутылкой виски в одной руке и скальпелем – в другой. Теодор кивает. Можно, Клеменс. Тебе можно.

Она вздыхает, откупоривает бутылку зубами, как капитан замшелого пиратского судна, кидает пробку на пол, и та закатывается под кресло. Теодор едва заметно кивает. Клеменс, вздохнув, щедро поливает рану виски.

Боль обжигает. Атлас стонет – и с облегчением замечает, как голова проясняется и крики горожан, эхом звучащие в подсознании, затихают. Становится легче дышать.

– Плесни на скальпель, – выдыхает Теодор. Клеменс послушно обливает инструмент, замирает, словно о чем-то вспомнив, и вдруг, целуя горлышко бутылки, делает несколько быстрых глотков.

Смех раздирает ему грудную клетку.

– Правильно, – кашляя, говорит он. – А теперь – режь.

Чтобы вытащить лезвие, одного надреза не хватит. Они оба это понимают, но Клеменс все равно молча смотрит ему в лицо и боится опустить взгляд ниже.

– Давай, – подбадривает Теодор. – Это не страшно.

– Будет больно, – повторяет Клеменс.

– Да, но это ничего не значит. Я привык к боли.

Зажатый в ее руке скальпель дрожит все сильнее. Клеменс закрывает глаза, отворачивается, мотает головой. Тяжело и глубоко дышит.

– *Пожалуйста*, Клеменс, – говорит Теодор. Кровь шумит в ушах и вновь перерастает в гул – это грохочет ночная площадь маленького Трали, ведьму ведут на костер.

* * *

Под ропот горожан – недовольных, сердитых, злых – из погреба паба «Кабаний рог» выводят сперва Нессу. Бледную, уже почти неживую и молчаливую. Она прячет глаза от людей, с которыми делила порой еду и воду, которым помогала в трудную минуту, носила в город целебные травы, способные прогнать хворь. Только они обо всем позабыли, едва им предоставился повод свалить все беды этого лета на беззащитную женщину.

За ней, споткнувшись, падает под ноги толпе Серлас. Тонкая рубашка его порвана на одном плече и открывает синеющий след от тяжелого кулака Киерана. Спина его в грязи, хлопковые штаны из серых превратились в черные и тоже зияют прорехами. Он поднимается с колен и ступает босыми ногами по холодным камням базарной площади, и дергается от треска факелов в руках сына кузнеца, мельника и старика Джошуа.

– Ведьма, – раздаётся с обеих сторон живого коридора. Нессу, связанную по рукам, ведет впереди Дугал, и тень его огромной фигуры скачет по лицам зевак.

– Ведьма, – шепчутся женщины, их мужья вторят им эхом.

Серласа подталкивает перед собой кузнец Финниан.

– Будешь дергаться, – пробасил он еще в погребе, снимая с его запястий оковы, – и тебя убьют.

Если бы его смерть спасла любимую женщину, он бы с радостью принял ее.

– Она невиновна в смерти Ибхи, – слабым голосом повторяет Серлас – просит даже. Его никто не слышит, недовольный ропот горожан нарастает, как приближающийся гром. Только молний не видно, небо ясное и звездное, с полной луной, которая ярко освещает монету площади. В центре ее, точно напротив ратуши с одной стороны и дома судьи – с другой, уже поставили колесо со старой мельницы, истлевшее и почерневшее, изъеденное трутнями, настелили соломы, натаскали сухой травы.

– Забирайся, ведьма, – рычит Дугал. – Твое ложе готово.

– У нее есть имя! – из последних сил кричит Серлас. – У нее есть имя, и ты его знаешь, Конноли! Она спасала твою младшую сестру от простуды три десятка раз! Как можешь ты!..

Договорить ему не дает кулак Финниана: кузнец обрушивает его на спину Серласа с такой силой, что выбивает из него весь дух. Закашлявшись, Серлас падает на колени; ноги подгибаются и не держат, руки не слушаются.

– Несса!..

Она оборачивается к нему всего раз. Смотрит долго, пристально, и

Серлас не видит в ее глазах ни страха, ни отчаяния – должно быть, он выпитал их за двоих и теперь разрывается на части, видя, как босыми, перепачканными в земле ногами жена поднимается на шаткое колесо в ворохе хвороста. Как цепляется тонкая ночная сорочка за каждую веточку. Как все в ее облике излучает спокойную отрешенность.

Несса.

Слезы застилают ему глаза, отчаяние не дает подняться с колен и кинуться наперерез Дугалу, который уже подносит факел к вороху сухой травы.

– Ведьма! – увереннее кричат горожане. – Ведьма, гореть тебе в аду!

Нос обжигает алкогольными парами – так пахло в погребу паба, так пахнет от пьяниц в темном переулке Трали. От криков со всех сторон, от собственного вопля, что рвется из груди, Серлас почти теряет рассудок.

– Серлас, – тихо зовет Несса. Голос звучит как будто у него внутри, в нем самом. В темноте и тишине – и нет вокруг ни злых горожан, ни палящего жара костра, ни городской площади. Нет ничего, и Серласа тоже нет.

– Серлас, – настойчиво бьется в нем голос Нессы. – Ты должен пообещать мне. Дай мне слово.

Истерзанный муками рассудок больше не желает сопротивляться неизбежному. Серлас проваливается в темноту вместе с выдохом:

– *Обещаю.*

16. Слово бессмертного

Клеменс хватает только на одну сотую дюйма. Лезвие скальпеля касается кожи на секунду, не более, прежде чем она отнимает руку.

– Нет, я не могу, это слишком!

– Клеменс!

Она снова прикладывает к бутылке. Когда Клеменс брала ее из ящика письменного стола, разве виски в ней было всего наполовину? Теодор взглядом указывает ей на скальпель.

– А теперь вытащи нож из моего чертового тела, – говорит он. У него уже блестят и лоб, и скулы, и шея, и грудь, и весь он покрыт испариной и тяжело дышит, и то и дело – Клеменс заметила – впадает в короткое забытьё.

– Пинцет, девчонка, – цедит Теодор сквозь зубы. Он точно стер их до десен, раз столько терпит и не издает ни стоны. – И прекрати плакать.

Клеменс быстро-быстро кивает и хватается за пинцет. Ладно, она справится, она сможет. Иначе этот безумный умрет у нее на руках.

Пальцы не слушаются, алкоголь не спешит избавлять ее разум от паники. Адреналин, должно быть, победил опьянение в неравной борьбе и только расшатал нервы.

Она склоняется над раной и медленно, затаив дыхание, погружает кончик скальпеля в распухший порез.

– Клеменс, прекрати плакать, – тихо просит Атлас. – Твои слезы как кислота.

– Прости, – шмыгая носом, извиняется она. – Я сейчас, я только легонько...

И тут Теодор вскрикивает, дергается так, что Клеменс от страха роняет пинцет.

– Господи! Прости, Теодор, я не хотела!..

Он коротко выдыхает – грудь вздымается и опускается в такт неровному дыханию – и закрывает глаза, напряженно морща лоб.

– Вытащи его, ради всех святых! И не упоминай уже Господа, он тебя все равно не слышит.

– Откуда тебе знать! – вскрикивает Клеменс. Ее голос становится выше и трепещет, как слабый огонек свечи на сквозняке. Она сердито сдувает со лба выбившиеся из хвоста волосы и снова хватается за упавший на пол пинцет. – Лежи смирно. Сейчас вытащу.

О том, что она определенно сделает еще больнее и хуже, Клеменс не думает. Старается не думать, хотя мысленно вопит так, что закладывает уши.

– Я знаю, что Господь глуховат к мольбам мелких людишек, – тихо и медленно произносит Теодор. Клеменс вздыхает и снова поднимает руку.

На этот раз он почти не двигается. Сдавленно стонет, когда Клеменс поддевает пинцетом лезвие ножа, ржавое и наверняка заразное до безумия, и резко выдыхает, как только она выдергивает его целиком.

– Готово! – восклицает она и победоносно глядит на Теодора, но ее тут же охватывает новая волна паники. Белый и безжизненный он закрывает глаза, как в замедленной съемке. – О, нет! Нет-нет-нет, Теодор!

В коробке Бена как по волшебству обнаруживаются бинты, спиртовой раствор, жгуты. Жгуты! Нужно было воспользоваться ими сразу! Глупая, глупая Клеменс!

Она до половины разматывает бинт и прикладывает скомканную рубашку Теодора к его боку. Двух рук явно не хватает.

Он вдруг выныривает из своего обморока, будто из-под воды. Глубоко вздыхает, так что излом ребер натягивает кожу под тупым углом, рвано выдыхает горячий воздух. И смотрит на Клеменс странными мутными глазами.

– Ты так похожа на мать, – шепчет он. – Так похожа... Такая живая, такая добрая... Я не спас ее, Клементина.

У него жар. Галлюцинации, обморочный бред. Клеменс старается сохранять спокойствие, но выходит с трудом.

– Не говори ерунды, – отрезает она решительно и твердо. – Моя мать в полном порядке и в данный момент уже пакует чемоданы.

– Зачем? – хмурится Теодор. Такого наивного лица она никогда у него не видела, и на миг это ее веселит.

– Хочет прилететь сюда и забрать меня самолично. А теперь помощи-ка мне, я попробую тебя перевязать...

Теодор с трудом приподнимается на локтях, и Клеменс приходится склониться над ним как можно ниже, чтобы протянуть бинт за спиной. Вся ее футболка перепачкана в крови, придется ее выбросить. Остается надеяться, что хотя бы волосы и кожа не сохранят этого солоноватого запаха. Он напоминает об опасности, тревоге, всем том, что пугает людей.

И пугает Клеменс.

– Со мной ничего не случится, – будто прочитав ее мысли, выдыхает Теодор. – Я бессмертный, я уже говорил тебе.

– Ты идиот! – рявкает Клеменс. – И сейчас ты умрешь от потери

крови, если не поможешь мне тебя перевязать!

Он словно обижается. Пыхтит, снова привстает на локтях, даже пытается сесть. Она мотает головой, но он не слушается и только упрямо подтаскивает себя к спинке кресла. Если то было кресло Бена, он наверняка расстроится – мебель загублена, никакая волшебная чистка ему не поможет. Как и паркету.

Спустя десять минут – для Клеменс они растягиваются на целый час – Теодор оказывается забинтованным, точно мумия.

– Тяжело дышать, – жалуется он, все еще наполовину пребывая в бреду. Пока она с ним возилась, он бормотал о кострах, ведьмах, погребках, в которых пахнет алкоголем, и базарных площадях.

– Зато кровь больше не хлещет из тебя, как из крана водица! – сердито шикает Клеменс. Она все еще уверена, что им стоит позвонить врачам и силком отвезти этого безумца в больницу, но что-то заставляет ее оставаться на месте и слушать его бредни о бессмертии.

– Хорошо хоть шину накладывать не стала, – приговаривает он. – Бен вот всегда порывается...

– У тебя перелом ребер, ты вообще в курсе?

– В конце восемнадцатого века мне переломал их один ирландец. Кости срослись неправильно. Злой, жестокий был человек.

У Клеменс голова идет кругом.

Он удивленно замолкает со склоненной набок головой и смотрит на нее, словно пытается прочесть мысли.

– Ты мне не веришь.

Каким образом он сегодня угадывает все, что она хочет сказать? Клеменс подозрительно щурится и качает головой.

– Рассказать, что со мной случилось?

Она все еще хмурится. Вокруг царят сплошной мрак и хаос. Перепачканные в крови бинты, рубашка, плед и инструменты Бена валяются на окровавленном полу, и сама Клеменс чувствует себя разбитой вдребезги.

Но молча кивает, потому что противиться прямому взгляду такого непохожего на себя Теодора она не способна.

– Я дал обещание женщине, которую сожгли на костре за ведьмины наговоры. Я дал ей слово и обрек себя на долгое-долгое существование.

* * *

Из беспамятства Серласа грубо вытаскивают прямо за глотку. Он еле открывает глаза и видит темное пятно, от которого несет гарью и паленой плотью.

Нет. Это воздух пропах гарью, в нос забивается зола, а дым до слез застилает глаза. Серлас надсадно кашляет.

– Уходи отсюда, иноземец, – басит над ним грубый голос Финниана. Он гремит в ушах, в самой голове, во всем, кажется, теле.

Нечем дышать.

– Ну! – повторяет кузнец. – Поднимайся на ноги, проваливай из города!

Он лежит на земле за воротами Трали. Лицом в пыли. Финниан нависает над его телом, словно карающая длань.

– Убей, – сипло выдыхает Серлас.

– Что?

– Убей меня, – настойчиво шепчет он. Финниан отскакивает и отрещивается.

Вокруг царит ранее утро. Жизнь продолжает свой неспешный бег: шумит у берегов гавани океан, шелестит листва большого тенистого дуба перед городскими воротами, вдалеке щебечут редкие птицы. Только воздух пропитан полынной горечью, гарью и копотью, что заползла прямо в легкие и осталась там чернотой, которая не исчезнет никогда.

Кузнец сплевывает себе под ноги и глядит на него устало, вымученно. Но совсем не злобно.

– Вставай, Серлас Из Ниоткуда. Здесь тебе больше не рады.

Серлас не желает вставать. Не желает идти куда-то, не желает жить. Лучше убить его, слабого, трусливого и безвольного. Лучше забвение, чем существование в мире без цели.

Имя Нессы он боится произнести даже в мыслях.

– Твой дом сожгли, – кроша его последние надежды, говорит Финниан. – Но Мэйв сберегла дитя. Она ждет тебя у побережья на западе. Иди туда.

Образ маленькой Клементины с трудом удерживается в сознании Серласа. Ребенок. Дитя женщины, которую он сгубил своим страхом.

Ты дал слово, Серлас.

Он поднимается с земли медленно и неуверенно; встает сначала на колени, опускает руки в дорожную пыль, выдыхает. В последний миг, едва Серлас чувствует, как его ведет в сторону от слабости, грубый кузнец неожиданно мягкой рукой помогает ему удержать равновесие.

– Чтобы ты знал, – говорит он неуклюжими, ломаными фразами, – ее

могли бы пытаться. Отвезти в Дублин и там... Уж лучше здесь, без лишних страданий.

Серлас ничего не отвечает. У него нет слов, чтобы сказать хоть что-то. Горожане Трали не заслужили ни звука, а Финниан, держащий его, связанного, все то ужасно долгое время, что пылал костер, не заслужил даже взгляда.

Но он был единственным, кто сказал ему напоследок доброе слово.

– Она любила тебя, иноземец, – говорит Финниан, коверкая звуки. Серлас идет в сторону западного берега на встречу с Мэйв и ребенком Нессы, которого отныне поклялся оберегать от участи ее матери.

Предсмертные слова Нессы, точно барабанная дробь, звучат в его мыслях при каждом тяжелом шаге.

Дни сольются в года в нескончаемой круговерти.

Ты дал слово, Серлас, не знать тебе больше смерти.

* * *

Клеменс вздыхает. Зал антикварной лавки залит робким утренним светом, вежливый ветер теревит дверной колокольчик, врываясь в открытые окна. Теодор с удивлением обнаруживает, что свет уже проник во все углы его магазина, согрел его самого и приласкал плачущую девушку.

Перепачканная кровью, вся в слезах, уставшая и измученная, она красива.

– Это больно? – несмело спрашивает Клеменс. – Не умирать, жить так долго... Это больно?

Больно ли? Теодор не может не улыбнуться. Наивная маленькая девочка. Бессмертие – это яд.

– Не плачь, Клеменс, – слабо кивает ей Атлас. – Все уже в прошлом.

У него кружится голова и нестерпимо хочется спать.

Наверняка она тоже готова отключиться прямо на полу, но такой роскоши Теодор позволить ей не может.

– Поднимайся вверх, в мою спальню. Поспи.

– А ты?

– Я останусь здесь. Вряд ли меня хватит на винтовую лестницу. – Он хмыкает и прикрывает глаза. – Чертова лестница. Я говорил Бену, что не стоит ее оставлять. Иди же. Я не умру, пока ты будешь спать.

Клеменс кусает губы и морщится, делаясь похожей на маленького

ребенка. Иногда в ее чертах проскальзывает облик Клементины – то взрослой девушки, то малышки лет пяти, то угловатого подростка. Теодор не может понять, каким образом эта девушка из настоящего раз за разом вызывает к жизни самые потайные его воспоминания.

– Когда ты проснешься, я буду почти в порядке, – утешает он. Сон накатывает все настойчивей, удерживать себя в сознании становится невыносимой мукой. – Даже рана затянется, даю слово.

– Ты не боишься давать обещания? – хриплым голосом спрашивает Клеменс. – Я бы боялась...

– Ты не ведьма, девочка, – через силу усмехается Теодор. – Тебе не страшно обещать такую мелочь.

Она с минуту размышляет над его словами. Теревит прядь волос, часто моргает. Теодор успевает провалиться в неглубокий сон и даже увидеть краешек сновидения – какой-то далекий теплый берег, Индии, должно быть, – когда Клеменс со вздохом поднимается на ноги.

– Я приму душ. И посплю недолго. А потом, когда ты проснешься тоже... – Она делает несколько неуверенных шагов к двери в коридор и оборачивается, ладонью прикрыв от солнца глаза. – Я расскажу тебе свою историю.

* * *

Пробуждение приходит неспешно. Сперва из тягучего сна выныривает уставший разум, потом все тело. Оно тут же отзывается болью, тупой и теплой. Правый бок, перебинтованный до корсетной утяжки, неприятно ломит.

Теодор открывает глаза. Он лежит на софе, куда перебрался после ухода Клеменс, но вокруг него не антикварный магазин. Вокруг – стены его спальни: в углу стоит стол и одинокое кресло, в котором валяется женская сумка. Он укутан в одеяло и переодет в пижаму. С удивлением приподнявшись, Теодор отмечает, что бинты больше не стягивают его грудь так сильно, как прежде. Они свежие и, судя по всему, заменены совсем недавно.

Теодор опускает ноги на теплый пол. Шевелит пальцами. Руки двигаются, ноги готовы его держать. Сердце стучит в груди. Кровь бежит по артериям и венам.

Его тело живет и здравствует.

Удостоверившись в этом, он встает. В изголовье кровати замечает заботливо оставленный кем-то халат и надевает его.

Ноги еще слабы, а бок все еще его беспокоит. Стараясь не потревожить заживающую рану, Теодор идет к двери, держась за стены, и заранее клянет винтовую лестницу, по которой ему придется спуститься.

Он преодолевает всего три ступени, когда слышит негромкий разговор. На веранде тихо переговаривается с кем-то Бен. Должно быть, вернулся раньше, увидел Теодора и поднял панику на полгорода. Хорошо, что Теодор спал и ничего не слышал.

Бену отвечает обеспокоенный женский голос.

Клеменс.

Последние ступени он преодолевает значительно легче. Проходит мимо кухни, в которой витает аромат кофе, и шагает на залитую приветливым солнцем веранду.

Бен замечает его сразу же. Облегченно вздыхает, улыбается, будто каждый день видит друга измученным и бледным от потери крови. Клеменс сидит к нему спиной, в ее волосах, воруя легкий запах духов, играет ветер.

Она оборачивается вслед за Беном: румяные щеки, сияющие глаза. Клеменс широко улыбается.

Сердце Теодора падает в желудок, а потом спешит дальше, вниз, в самые пятки. Не потому что вдруг отзывается на улыбку спасшей его девушки. Не оттого, что видит ее целой и невредимой. Не оттого, что Бен оказался сегодня здесь, а не на материке, и тоже ему улыбается.

За спиной Клеменс Теодор замечает стопку фотографий и отпечатанных копий картин. Данте, Уотерхаус, Берн-Джонс. Черно-белые фотографии эпохи Второй Мировой войны, цветные размытые снимки времен войны во Вьетнаме, копии фотографий из американских газет: суд над Лаки Лучано, открытие выставки в Нью-Йорке. Все они подписаны датами, но не теми, что нужно.

С каждого снимка, с каждой картины на Теодора смотрит его лицо, обведенное красным маркером в толпе других, ничего не значащих лиц.

Улыбка Клеменс тает, руки сами собой тянутся к запечатленным на бумаге мгновениям жизни Теодора.

– Думаю, – медленно говорит он, подбирая каждое слово, – вы должны объясниться, мисс Карлайл.

1

Дурень, балбес (гэльск.)

2

Англичанин (гэльск.)

3

Blue Mountain – любимый кофе Джеймса Бонда. Дорогой редкий высокогорный сорт. Перевозят его в бочках из-под рома.

4

Британская сеть супермаркетов.

5

duine (гэльск.) – человек, мужчина.

6

Имеется в виду «Невеста» Габриэля Россетти.

7

Британская галерея Тейт – художественный музей в Лондоне, самое крупное в мире собрание британского искусства с 1500 года до наших дней. Была основана промышленником сэром Генри Тейтом. Сейчас – часть группы музеев Тейт.

8

«Офелия», или «Смерть Офелии» – картина английского художника Джона Милле, одно из известнейших произведений прерафаэлитов.

9

Джозеф Уильям Миллорд Тернер – британский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист. Предтеча французских импрессионистов.

10

Галерея Клор – открытая в 1987 году галерея британского музея Тейт, в которой выставлена самая полная коллекция работ Дж. У. М. Тернера, завещанная им государству.

11

Берглэри (burglary) – специфичный институт английского и американского уголовного права, не имеющий аналогов в правовых системах других государств. Согласно уголовному кодексу Великобритании простое берглэри, совершенное без отягчающих обстоятельств, наказывается по Закону 1968 г. лишением свободы на срок до четырнадцати лет, тяжкое берглэри – пожизненным лишением свободы.

12

Ллир – в кельтской мифологии бог морей.

13

Rup – любимая (гэльск.).

«Deus ex machina» (с *лат.* «Бог из машины») – выражение, означающее неожиданную, нарочитую развязку той или иной ситуации, с привлечением внешнего, ранее не действовавшего в ней фактора.

«Сон и его сводный брат Смерть» – одна из ранних работ Джона Уотерхауса, которую он представил в возрасте двадцати пяти лет на выставке 1874 года и которая была хорошо встречена критикой и впоследствии выставлялась практически каждый год, вплоть до смерти художника.

Книга цветов – серия из тридцати восьми круглых акварелей английского художника Эдварда Берн-Джонса, создававшаяся с 1882 по 1898 год. Работы выполнены в круге небольшого размера (около 15 сантиметров) и рассказывают сюжеты из Библии и античной мифологии.

«Золотое приветствие» (*англ.* Goldengreeting) – акварель, основанная на знаменитой поэме Данте Габриэля Россетти «Blessed Damozel» и его же одноименной картине. На русский название поэмы принято переводить как «Благословенная (или Блаженная) Дева».

18

Время с девяти до одиннадцати вечера.

19

Строчка из песни британской рок-группы Arctic Monkeys – I wanna be yours: «Позволь мне быть твоим электрическим счетчиком, и я никогда не сломаюсь. <...> я хочу быть твоим». (перевод Laura K)

«Пламенная Пустошь» – одна из акварелей Берн-Джонса из «Книги цветов». Вариация на сюжет о Спящей Красавице, а также еще одно обращение художника к своему знаменитому циклу «Шиповник».

Цикл «Шиповник» состоит из четырех картин по мотивам сказки Шарля Перро «Спящая красавица» и поэмы Теннисона «Греза», написанной на похожий сюжет. В серию входят, кроме упомянутых, «Заколдованный лес» и «Комната совещаний».

У акварели нет перевода. Судя по всему, это еще одно из возможных названий ариземы. В этой акварели художник снова обратился к сюжету своего знаменитого цикла «Шиповник».

«Бар в Фоли-Берже» – картина французского живописца Эдуарда Мане.

Проблема вагонетки – мысленный эксперимент в этике, впервые сформулированный в 1967 году английским философом Филиппой Фут. «Тяжелая неуправляемая вагонетка несется по рельсам. На пути ее следования находятся пять человек, привязанные к рельсам сумасшедшим философом. К счастью, вы можете переключить стрелку – и тогда вагонетка поедет по другому, запасному пути. К несчастью, на запасном пути находится один человек, также привязанный к рельсам. Каковы ваши действия?»

Луг – один из наиболее значительных богов племени Туата Де Дананн в ирландской мифологии, имеющий природу трикстера, схожего со скандинавским Локи.

Апостол Павел, Первое послание к Коринфянам.

Вокалист и гитарист британской инди-рок группы «Arctic Monkeys».

Люк Причард – солист британской инди-рок группы «The Kooks».

Чарльз Лучано по прозвищу Счастливчик (англ. Charles «Lucky» Luciano) – итальянский преступник, один из лидеров организованной преступности в США, организатор «Большой семерки» – супертреста гангстеров по продаже спиртного в годы Сухого закона.

Бран – в кельтской мифологии: бог потустороннего мира.

Бригид – богиня плодородия и врачевания, помогавшая женщинам во время родов.

Table of Contents

[Ксения Хан Хозяин теней](#)

[1. Кофе из Шалотт и пино-нуар](#)

[2. Ирландский виски со льдом](#)

[I. Пороховой дым в тумане](#)

[II. В сердце Тра-Ли](#)

[3. Офелия у пруда](#)

[4. Цитрусовый пирог с мятой](#)

[III. Базарная площадь в полдень](#)

[5. Дьявол в антикварной лавке](#)

[6. Племена богини Дану](#)

[IV. Гадалка и господин](#)

[V. Ведомый](#)

[7. Белые стены в серой комнате](#)

[8. Леди и мисс](#)

[VI. Молчаливый страх](#)

[9. Deus ex machina\[14\]](#)

[10. Час вепря](#)

[VII. Солнце в русых волосах](#)

[11. Разбитые сердца](#)

[12. Холодные воды Гудзона](#)

[13. Биполярное расстройство](#)

[VIII. Дочь колдуна](#)

[14. В дороге](#)

[15. Тот Самый](#)

[IX. Отойди в сторону, иноземец](#)

[X. Каменный оскал и костер на площади](#)

[16. Слово бессмертного](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31